

- **СМЕРТЬ НАЗЫВАЕТСЯ ЯНУКА** –
продолжение детективного романа Джона Ле-Карре “Маленькая барабанщица”
- **ИЗ ГАЛУТА С ЛЮБОВЬЮ, ГАЛУТУ – С НАДЕЖДОЙ** –
полемика между защитниками галута и “новыми израильтянами” с участием Е. Фиштейна, А. Воронеля, Н. Гутиной и В. Богуславского
- **ИОВ ПО-СОВЕТСКИ И ИОВ ПО-КИТАЙСКИ** –
статья Дмитрия Шляпентоха о судьбах и разочарованиях китайской интеллигенции

40

22

№ 40

МОСКВА И ЕРУСАЛИМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле.
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингера за 1984 год.

Год издания VII

№ 40

январь-февраль 1985

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ЛЕОНИД ЦЫПКИН. Мост через Нерочь (повесть, окончание)	3
НАУМ САГАЛОВСКИЙ. Чужой в раю (поэма)	52
ВЛАДИМИР ХАНЕЛИС. Рассказы	60
ДЖОН ЛЕ-КАРРЕ. Маленькая барабанщица (роман, продолжение; сокращенный перевод с английского Н. Воронель)	66

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЕФИМ ФИШТЕЙН. Из галута с любовью	109
АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Иаков остался один.	116
НЕЛЛИ ГУТИНА. Реплика в споре	127
ВИКТОР БОГУСЛАВСКИЙ. Галуту — с надеждой	132

ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

ДЖОРДЖ БЕЙЛИ. Германия сорок пятого года	139
----------------------------------------------------	-----

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ФРЕД КАЦ. Катастрофа как бюрократическая рутина	161
-----------------------------------------------------------	-----

ЗАПАД—ВОСТОК

ДМИТРИЙ ШЛЯПЕНТОХ. Иов советский и Иов китайский	173
ЦЗЯО ШУ-ДЖЕН. С товарами в село (комическая опера)	189

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

КЛОД ЛЕВИ-СТРОСС. В поисках смысла мифа (интервью)	197
--------------------------------------------------------------	-----

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

СЕРГЕЙ ШАРГОРОДСКИЙ. Игры в саду	205
--------------------------------------------	-----

ЛЮДИ И КНИГИ

Ю. ШВАРЦМАН. Фундаментальный труд по еврейской мистике. 214

ПИСЬМА

Л. ГУРАЛЬНИК, В. ПОЛЬСКИЙ, Г. БУТМАН. 216

На последней странице обложки: диплом лауреата Фонда имени Р. Н. Этингер, полученный журналом "22" на церемонии 6.1.1985 года в Иерусалиме; отчет о церемонии и произнесенные на ней речи читайте в следующем номере.

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва-Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский	Ю. Меклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	М. Хейфец
Э. Кузнецов	Я. Цигельман
И. Чаплина	

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор

технический редактор — Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:

"22", Р. О. В. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва—Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

Отпечатано в типографии
"ЯКОВ ПРЕСС"
ул. Рош-Пина, 22
Тель-Авив

ЛИТЕРАТУРА

Леонид Борисович Цыпкин (1926-1982) – доктор медицинских наук, автор ряда научных работ, уволен после подачи заявления на выезд, и через несколько месяцев скоропостижно скончался от инфаркта. В течение ряда лет писал "в стол", и его произведения так и не были опубликованы в СССР. Л. Б. Цыпкин – автор романа "Достоевский в Бадене" (частично напечатанного в русских эмигрантских газетах), повестей "Мост через Нерочь" и "Норартакар" и двух сборников рассказов. Издательство "Москва–Иерусалим" готовит к печати сборник произведений Л. Цыпкина.

* * *

Ранней весной из подворотни одного из домов на Кропоткинской улице не торопясь вышел мужчина среднего роста, полный, с лицом не то помятым, не то обрюзгшим и, остановившись в воротах, обвел улицу взглядом человека, только что родившегося на свет. В его добротном портфеле рядом с папками и книгами стоял пузырек со спиртом – черта с два! – он правильно сделал, что не отдал его этому пьянчуге-слесарю – таким типам, как он, вперед ничего нельзя давать, а, кроме того, тот все равно забыл до завтра – и так ему пришлось собственной рукой записать на грязном листе бумаги, покрывающем стол, на котором стояли опорожненная поллитровка и граненый стакан

Леонид Цыпкин

МОСТ ЧЕРЕЗ НЕРОЧЬ

(окончание; начало см. "22", № 39)

и лежали остатки луковицы и корка хлеба, свое имя и отчество и время, на которое он назначил свой приход, — имя он написал свое, потому что на вопрос пьянчуги: “Как тебя дразнят?” он в первую секунду растерялся, а отчество — первое попавшееся, но оно оказалось производным от имени пьянчуги, так что тот, скверно улыбнувшись, сказал ему: “Значит, сыном мне будешь?” — они были примерно одного возраста — и, многозначительно покосившись на портфель, не поворачивая головы, потому что он лежал вдрызг пьяный, да еще с гриппом, спросил: “Чего там у тебя в чемодане?”, но черта с два дал он ему этот пузырьек, а когда он услышал про точное время даже с какими-то минутами, которое назначил пришедший, он все так же брезгливо улыбнувшись, сказал: “Как скорая помощь”, но пришедший по своей профессиональной привычке положил кончики пальцев на тяжелое мускулистое запястье лежащего — рука у него была горячая — наверное, у него действительно был жар, — а пульс жесткий, как туго натянутая струна, — пульс склеротика и гипертоника. Впрочем, все это могло быть и на следующий день, когда, наконец, произошло то, чего он так хотел, — женщина ушла чуть раньше, чтобы не выходить вместе, а он зашел в котельную, где тот, уже выздоровевший, возился с чем-то или делал вид, что возится, — уже хмельной, он посмотрел на вошедшего тяжелым любопытным взглядом — пока они были там, он несколько раз подходил к двери и один раз даже, кажется, попробовал ее — вошедший отдал ему пузырьек, а тот увязался за ним и просил подлечить его приятеля — все это могло быть и на следующий день, потому что, с чего бы он стал смотреть вокруг себя глазами только что родившегося человека, хотя, с другой стороны, когда выходишь из комнаты на улицу или дажеходишь в трамвай, или вообще переходишь из одного состояния в другое, всегда смотришь вот так вот.

Войдя в метро, человек влился в поток людей — люди спускались по эскалатору в несколько рядов, тесно прижатые друг к другу, словно обреченные, которых по конвейеру доставляли к месту уничтожения, и среди них человек в добротной, но уже не очень новой шубе, с каракулевым, как у артистов, воротником и в каракулевой шапке-конфедератке с опущенными наушниками, придающей ему, несмотря на лицо еврейского типа, странное сходство с пленным немцем — уже с самого верха эскалатора взгляду его открылся подземный вестибюль станции метро, киша-

щий людьми, и одновременно стали видны тяжелые, чуть покачивающиеся от движения воздуха люстры — все ближе и ближе, словно с самолета, идущего на посадку, — наверное, это было метро “Автозаводская”, потому что только там такие высокие своды, позволявшие сразу же увидеть всю платформу, — никакой весны еще не было — зима в самом разгаре, на улице мело — человек просто возвращался с работы домой. Опустившись вниз, он попал в человеческий круговорот — встречный поток людей то и дело увлекал за собой его портфель, он с трудом выдергивал его. Пройдя подземный вестибюль, человек начал подниматься по ступенькам, ведущим к переходу, — скорей всего это было метро “Таганская” или “Площадь Свердлова” — значит часть пути он уже проехал, а, может быть, только что спустился в метро и сразу же направился к переходу — навстречу ему спускались портфели, хозяйственные сумки, авоськи с апельсинами и батонами, брюки, в меру и не в меру узкие, расклеванные, потрепанные, женские сапожки всех видов и фасонов, ноги, обтянутые чулками, мини-юбки. Среди спускающихся он увидел стройную, модно одетую девицу в очень короткой меховой шубке, брюках на молнии, идущей сбоку, в замшевых низких сапожках, тоже на молнии, с сумкой через плечо — человек чуть замедлил шаг, провожая ее взглядом, — еще минута, и она исчезнет. Расталкивая идущих, он догнал ее, что-то шепнул ей на ухо, она засмеялась, он взял ее под руку, и вот они уже в полутемной комнате, она сидит в кресле в своем костюме, стилизованном под комбинезон, подчеркивающим ее фигуру, а он устроился на ковре у ее ног — замшевые полусапожки он уже снял с нее и теперь начал расстегивать молнию, идя снизу вверх, — чем выше поднималась его рука с застежкой, тем медленней становились его движения, а когда, достигнув ее бедра, он наклонился к прорези и приблизил свои губы к ее телу, словно погружаясь в теплую ванну, его толкнули, кто-то раздраженно сказал ему что-то, он стоял на ступеньках, мешая проходу. Теперь он шел по мостику с перилами, а внизу проплывали крыши вагонов — поезд, быстро наращивая скорость, с грохотом исчез в тоннеле — в черноте его еще виднелись красные сигнальные огни — человек подошел к противоположной стороне мостика, и, опершись на перила, посмотрел вниз на черную колею со стальными накатанными рельсами — на них пока еще неуверенно дрожали блики — из черноты тоннеля надвигались два прожектора — поезд стоял, далеко не

дотянув до конца платформы, и это казалось странным — стоящий поезд и длинный неприкрытый отрезок пути — возле одного из вагонов темнела небольшая толпа — со всех сторон бежали люди — толпа увеличивалась на глазах — человек тоже побежал — протиснувшись сквозь толпу, он увидел лежащего на асфальте в луже темной крови мужчину с отрезанными ногами — лохмотья одежды были впрессованы в мясо, а кисть руки судорожно сжимала портфель, лицо трупа было черным — наверное, его убило электричеством, но все это было не сейчас, а однажды летом, поэтому ему так легко было бежать, а сейчас человек спускался по лестнице в своем тяжелом добротном пальто, с портфелем в руках — маленькая частица среди огромного потока подобных себе. Вдоль края платформы в несколько рядов стояли ожидавшие поезда, и он влился в этот новый, на секунду остановившийся поток — взгляд его невольно упал на облицовку стены — белый мрамор, пересеченный по горизонтали черной кафельной лентой — автобус с траурной каймой медленно двигался по главной улице города, за ним целый кортеж машин — на каком-то перекрестке милиционер даже перекрыл движение, чтобы пропустить похоронный проезд.

10

“Какая у него мягкая рука... как у живого” — сказала какая-то женщина, поправив руку отца, — траурная процессия остановилась напротив серого дома — из автобуса хорошо были видны окна квартиры — четыре окна и балкон с пузатыми колоннами из ноздреватого известняка — “Говорят, это бывает только у тех, кто прожил свою жизнь очень чисто” — сказала другая женщина, а кто-то третий постучал в кабину водителя: “Поехали”, и автобус тронулся, а за ним вся процессия.

На кладбище было полно снега — на улицах он уже таял под лучами весеннего солнца, а здесь люди утопали по колено в снегу. Вокруг свежевыкопанной могилы, на земляной насыпи плотным кольцом разместились провожающие, кто-то попытался влезть на насыпь, но, не удержавшись, сполз назад, некоторые примостились на соседних оградах, остальные небольшими кучками или поодиночке стояли поодаль на утопанных местах, вполголоса ведя деловой разговор. Над гробом один за другим выступали ораторы, они говорили громко — это было видно по их арти-

куляции и жестам, но не было слышно ни одного слова, а в промежутке между выступлениями ораторов во всю мощь звучал фальшиво исполняемый траурный марш Шопена — человек стоял рядом с матерью возле самого гроба, поддерживая ее под руку, однако, делал он это как-то неестественно — чувствовалось, что это для него непривычно. Остальные близкие — его жена, родственники, друзья — находились тут же, возле самого гроба, однако улавливалась какая-то невидимая дистанция, отделявшая их от человека с матерью, — тем самым как бы молчаливо подчеркивалась наибольшая близость этих двоих к покойному и их право на особое положение. Небо заволокло тучами, шел редкий снежок — он ложился на лицо покойного, на его костюм — отец всегда боялся холода — выходя зимой на улицу, он поднимал воротник своей старомодной шубы, и мать тоже боялась, что он простудится, — во время болезни отца форточку открывали в соседней комнате, а из той комнаты открывали дверь в комнату, где лежал отец, — новую шубу с удлинненным, как у артистов, каракулевым воротником, отец успел поносить всего несколько месяцев, она очень шла сыну, и сегодня он надел ее под предлогом кладбищенского ветра, исподтишка бросив на себя взгляд в зеркало, стоящее в передней. Он беспокойно искал кого-то глазами, иногда даже вытягивая шею или приподнимаясь на цыпочки, — он старался делать это незаметно, потому что в такую минуту это не полагалось, — пока не встретился глазами с высокой девушкой с чуть раскосыми глазами и пышными черными волосами, выбивающимися из-под меховой шапочки, — она стояла чуть поодаль, позади толпы, окружавшей могилу, — поймав на себе его взгляд, она опустила глаза, а потом и вовсе отвернулась в сторону, как будто они даже не были знакомы.

Низкое утреннее солнце заглянуло через ветровое стекло, ослепив его, так что он опустил защитный козырек — обычно на этом месте, рядом с водителем, сидел отец — весь уйдя в свою шубу с поднятым воротником, он сидел, чуть повернувшись к сыну, слушая и не слушая его, потому что он всегда был занят своими мыслями, а может быть, ему просто мешал поднятый воротник — он то и дело протирал рукой запотевшие очки, не снимая их, когда же он снимал их, было видно, что у него глаза навывкате —

в них сквозило выражение беспомощности, а с подбородка свисали две дряблые складки, как у боксера, — лицо его уменьшилось за последние годы, так что оно совсем пряталось в поднятом воротнике, — сын рассказывал ему о столичных новостях, небрежно называя фамилии ученых, чьи доклады он слушал или с которыми встречался на заседаниях, и с таким же чувством превосходства он рассказывал отцу об открытии новой станции метро или о какой-нибудь театральной премьере, как будто это было его собственной заслугой, а отец протирает очки и рассеянно покачивал головой, не то в такт речи сына, не то в такт собственным мыслям — сукно его каракулевого воротника снаружи было прострочено множеством стежков. В этот ранний час воскресного зимнего дня улицы города были почти пустынные — в воскресные дни в это время мать обычно еще не вставала, Настя, уже побывав на рынке, возилась на кухне, делая заготовки к обеду, меню которого было тщательно обсуждено уже с вечера, а они с отцом уже выходили из дома — в магазинах у отца были знакомства, наверное, потому что он лечил кого-нибудь из работников прилавка, — сын нес сумку с продуктами, потому что отцу нельзя было носить тяжести, хотя портфель, с которым он ходил на работу, а потом на обратном пути заполнял его бутылками с кефиром или банками с консервированным компотом, был, наверное, намного тяжелее этой сумочки, но сын считал своим долгом носить ее, потому что больше он ничем не мог помочь отцу, — войдя в магазин, отец протирает очки — даже когда он входил с улицы домой, у него был вид человека, только что вошедшего в трамвай, а на обратном пути сын переходил улицу в неположенном месте, потому как, что такое была эта улица по сравнению даже с самой окраинной улицей Москвы, а отец делал крюк и дожидался на переходе зеленого света, а потом они поднимались по лестнице на пятый этаж — отец останавливался на каждой площадке, чтобы отдохнуть, а сын чувствовал себя в эти минуты особенно здоровым и сильным и молодым — он еле сдерживал себя, чтобы не взмыть пулей на пятый этаж, — он тоже останавливался где-нибудь, на один или два лестничных марша выше отца и делал несколько громких выдохов, чтобы показать отцу, что он тоже устал. Сквозь защитный козырек, который он опустил, небо казалось густосиним, словно перед грозой или где-нибудь на юге, и точно такое же небо — не то предгрозовое, не то южное, увидел он однажды сквозь застекленную

крышу троллейбуса — это было уже в разгаре болезни, он возвращался домой с диабетическим хлебом и лекарствами для отца — безоблачное небо, предвещавшее весну еще в разгаре зимы, и странно потемневшие дома, как будто солнце вдруг спряталось за тучу, новые, чужие дома, выросшие здесь без него, в его городе.

Машина остановилась напротив старого дома — прежде чем войти в подъезд, он постоял несколько секунд на тротуаре, вглядываясь в темные окна пятого этажа — три квадратных и одно узкое с прилепившимся к нему каменным балконом, и только очутившись на площадке перед знакомой дверью, он услышал, как бьется его сердце, — дверь была заперта — это немного успокоило его, потому что в таких случаях, он знал, двери оставляют открытыми, и люди свободно входят в квартиру — еле справляясь с прыгавшим сердцем, он осторожно нажал на кнопку звонка. Ему открыла мать — она была в своем байковом халате, как всегда по утрам, а из-за ее спины, из кухни выглядывала Настя со своим скуластым и хмурым лицом — словно фигура с картины “Сватовство майора” или “Арест пропагандиста” — в передней все было по-старому — немецкая трофейная вешалка с зеркалом посередине, высокий неуклюжий шкаф, в котором висело старое платье, холодильник, стремянка, стенной шкаф, в котором, как всегда, наверное, шпалерами выстроились банки с консервированным компотом, которые отец закупал в неисчислимом количестве, и две-три бутылки вина, — вино ему было запрещено, но он очень сердился, когда сын, приезжая, откупоривал бутылку в его отсутствие. “Ну, что?” — хотел спросить он, но мать, предупредив его, сказала: “Ночь он провел спокойно, только аритмия”, как говорят врачи о больном, и так же спокойно добавила: “Можешь пройти к нему”, и он понял, что раз от него этого ждут, то он должен это сделать и что, вместе с тем, он облечен каким-то особым правом, и это ощущение своего привилегированного положения не оставляло его уже во все время болезни отца и потом на похоронах, — осторожно приоткрыв дверь, он вошел в комнату. Над обеденным столом, непривычно заставленным лекарствами, горела лампочка под оранжевым абажуром, а сквозь неплотно прикрытые шторы в комнату проникал дневной свет, и от этого двойного света создавалось странное ощущение еще не прошедшей ночи и уже наступающего утра, пахло камфарой, а на тахте, отодвинутой от стены так, что-

бы можно было подойти к ней с обеих сторон, лежал отец в белой ночной рубаше, на которой слева, на груди, там, где было сердце, темнело расплывшееся пятно крови — отцу накануне ставили пиявки — он лежал на спине, дыша тяжело и неровно, словно подстреленный зверь, — сын подошел к нему вплотную — от постели отца отделилась фигура медсестры в белом халате — она отошла куда-то в угол комнаты — наверное, чтобы не мешать свиданию сына с отцом, и он снова ощутил какие-то свои особые права, которые сполна признаются всеми и даже подчеркиваются, — выпуклые рачьи глаза отца были устремлены куда-то вверх, словно он пытался различить что-то на потолке, а на щеках, под глазами, отчетливо выступала сеть красных прожилок — такие же прожилки на этих же местах стали недавно появляться у сына, но пока их было еще мало — теперь, когда отец был без очков, было видно, что у него орлиный нос, даже, пожалуй, красивый — сын молча взял руку отца и стал щупать его пульс, частый и слабый, — отец силился все разобрать что-то на потолке — его нисколько не удивило появление сына, словно они расстались только вчера, а может быть, он просто не узнал его. “Попался”, — неожиданно сказал он. Он сказал это в пространство, по-прежнему не замечая сына. “Ничего, все будет хорошо”, — сказал сын — он сказал так, потому что знал, что в таких случаях принято говорить такие вещи, а на обеденном столе среди лекарств, ампул и шприцев лежали очки отца и его плоские карманные часы.

12

Они приходили и уходили каждый день, по несколько раз в день, вечером, днем, утром, сменяя друг друга, — из их легких, полупрозрачных сумок, которые они небрежно клали на пол, под пальто, выглядывали учебники, веточки вербы, разноцветные клубки шерсти и еще какие-то необязательные женские вещи, назначения которых он не мог понять, — смяв шубу и меховую шапку или пушистую косынку, они надевали на себя вынутый из сумки белый халат, мимоходом поглядевшись в зеркало, — прощальный взгляд перед тем, как войти в комнату, где лежал больной, — птицы с подрезанными крыльями, ложные смиренницы — они меняли больному простыни, поворачивали его, кололи его в тощие, желтые от йода ягодицы, прикасаясь к его телу, — к запаху камфоры примешивался еле уловимый запах духов,

а перед тем, как уйти, они становились особенно усердными, чтобы скрыть еле сдерживаемую радость приближающегося освобождения, и даже после прихода сменщицы оставались еще на некоторое время в комнате больного, словно они никуда не торопятся и считают для себя главным то, что происходит здесь, а все остальное, происходящее вне стен этого дома, не имеет для них никакого значения — свою меховую шапку или косынку они надевали перед зеркалом, не торопясь, как не торопятся выпить первую рюмку на праздничном обеде, но из окна он видел, как, выйдя на улицу, они бежали к троллейбусу или к трамваю, легко и грациозно приволакивая ноги, как это делают все девушки.

13

Он по обыкновению своему делал карандашные наброски или, может быть, сидел просто так, опершись подбородком на руки, когда она вошла в комнату — высокая, в белом халате и в накрахмаленном колпачке, надетом на ее пышные черные волосы, — лекарства уже не помещались в комнате отца, и она пришла в эту комнату, чтобы набрать шприц для инъекции.

— Поешьте что-нибудь, — сказал он ей, потому что столовая переместилась теперь в эту комнату и потому что ему очень хотелось угостить ее чем-нибудь, но она отказалась — тогда он подвинул к ней вазочку с конфетами, но она отрицательно покачала головой — отломив горлышко ампулы, она набирала ее содержимое в шприц — когда часть жидкости ушла в шприц, она одним движением повернула его иголкой вверх, продолжая набирать жидкость из насаженной на него ампулы, даже не придерживая ее, — просто удивительно, как это ей удавалось!

— Бережете фигуру? — спросил он ее с деланной иронией.

— Ну что вы — она сказала это так просто и с таким удивлением, что ему сделалось неловко за ту пошлость, которую он только что сказал.

Она уже стояла возле двери, со шприцем в руке, — еще секунда, и она выйдет из комнаты.

— Хотите семечек? — он вдруг вспомнил, что накануне от нечего делать купил их, и теперь они лежали у него в кармане.

— С удовольствием, — она улыбнулась и неожиданно покраснела, наверное, от той поспешности, с которой она согласилась.

Он подошел к ней и протянул горсть семечек.

— Я же стерильная, — сказала она, кивнув на шприц, и тогда он осторожно положил семечки в карман ее халата — пока он ссыпал их, она стояла, не шелохнувшись, словно ожидая чего-то и вместе с тем боясь этого.

14

Она спускалась вниз, по улице, ведущей к речке, а он стоял возле моста — он уже давно стоял здесь, нетерпеливо поглядывая на часы, — она спускалась вниз, чуть раскосая, с высоко взбитой прической — он пошел ей навстречу — она приближалась, словно спускаясь откуда-то с высоты — он уже не видел ни домов, ни улицы, ни людей — только ее фигуру и лицо в ореоле высоко взбитых темных волос. Они остановились друг против друга в неловком молчании — ему казалось, что она слышит, как бьется его сердце.

— Я так ждал вас... тебя.

Они пошли по направлению к речке, туда, где он только что стоял, ожидая ее, потом по узкому деревянному мосту и подошли к перилам его — мелкая речонка, затянута льдом, вдруг стала широкой и быстрой, темная вода с плывущими по ней льдинами достигала почти настила моста, а по улице, ведущей к реке, выбивая друг у друга портфели, неслись школьники, целая ватага их, и среди них он. Они бежали, оглашая всю окрестность радостными возгласами: "Река вошла в свои берега! га-га, га-га, га-га, га-га!", хотя наводнение было еще в самом разгаре — весь парк, находившийся по ту сторону речки, был залит водой, так что деревья росли прямо из воды, и только за парком, между деревянными домиками, блестели озера — остатки начинающей сходить воды. Вбежав на мост, школьники рассыпались, повиснув на его деревянных перилах — черная быстрая вода несла крупные льдины — они ударялись о сваи моста, так что мост вздрагивал, и мальчику, тоже повисшему на перилах, казалось, что это не вода движется, а плывет мост, рассекая льдины, и это уже был не мост, а ледокол "Седов" или "Красин", и он был капитаном этого ледокола.

— Удивительно, — сказал он, — почти все в городе сгорело, а этот мост уцелел. — Помолчав немного, он посмотрел на девушку:

— Сколько Вам лет?

— Я с сорокового года.

— Значит, все-таки довоенного издания, — он снова поймал себя на пошлости, но ему почему-то приятна была мысль, что она родилась до войны, и потом, когда они шли по парку, он расспрашивал ее о ее детстве — во время войны они с матерью жили в маленьком городишке, но немцев она не помнила, да и вообще, что она могла помнить в свои три или четыре года? — но он все время пытался представить себе, как мать носила ее на руках и раздобывала где-нибудь в соседней деревне картошку и тащила на себе этот мешок, а дома у них было холодно — заиндевшее окно, на улице ни души и темно — только вышагивающие немецкие патрули, но все-таки им ничего не грозило — немцы проходили мимо их дома и даже несколько раз заходили к ним в дом, чтобы узнать, не прячутся ли у них евреи, — на газонах снег был рыхлым и кое-где почернел уже под лучами весеннего солнца, а на дорожках было скользко, текли ручьи, местами образуя озерца, — он держал ее под руку, а она осторожно ступала своими открытыми замшевыми туфлями, выбирая сухие места и, вместе с тем, стараясь идти в ногу с ним, хотя во всей фигуре ее и в ее движениях все время чувствовалась какая-то настороженность. Он дал ей конфету — она долго мяла обертку, не решаясь ее бросить, пока он не вынул бумажку из ее холодной руки. Они проходили теперь мимо летних павильонов с облупившейся краской и со снеговыми шапками, с которых бахромой свисали сосульки, — он исподтишка поглядывал на ее профиль — чуть разругавшаяся щека и выбивающиеся из-под шапочки темные волосы, то на ее ноги, обтянутые прозрачными чулками, — она все так же осторожно ступала, идя в ногу с ним, — на туфлях ее не было ни единого мокрого пятнышка, и на минуту он представил себе, как бы он переехал в этот город и поселился с ней, и они гуляли бы по главной улице города, и она поступила бы в институт, и по вечерам он объяснял бы ей анатомию, потому что все это он прекрасно знал. С велотрека доносился вальс “Дунайские волны” — наверное, через репродуктор — по залитому льдом полю скользили на коньках подростки — мальчики и девочки — на девочках были надеты высокие белые шнурованные ботинки, облежавшие их ноги до самых икр, а по наклонным дорожкам мчались велосипедисты — никакого ледяного поля не было — просто ровная, утрамбованная площадка, посыпанная желтым песком, и по наклонным дорожкам мчатся велосипедисты, но звучит тот же вальс “Дунайские волны” — несостоявшийся-

ся вечер летнего дня — ведя велосипед за руль, он подходит к наблюдающим за катаньем — среди них девочка в ситцевом платье, хорошо обрисовывающим ее небольшие, но выпуклые груди, и с выпуклыми водянистыми глазами — она уже давно стоит здесь — увидев его, она устремляется к нему, он берет ее за руку, а другой рукой он ведет велосипед, придерживая его за седло, — они идут по парку в быстро сгущающихся сумерках, от речки тянет прохладой и запахом тины, но они направляются в самый отдаленный уголок парка, где все заросло высокой травой, и, наверное, даже по вечерам пахнет разогретой хвоей — нет, это, конечно, было не тогда, потому что этот назначенный вечер был первым вечером войны — они шли по улице, держась за руки, ее ладонь была горячая и шершавая, и она спросила его: “Ты женишься на мне?”, а, может быть, сказала: “Ты все равно на мне женишься” — они возвращались из кино — когда в зале погас свет, он осторожно положил руку на ее колено, а потом рука его поползла выше, и вот он уже преодолел тугую резинку — девочка сидела, не шелохнувшись, — она даже, кажется, не дышала, и он тоже не дышал, только сердца их колотились, как бешеные, — он даже не помнил, какой фильм они смотрели — нет, с сердцами было раньше — она убирала их квартиру, потому что мать ее в этот день заболела, и он неотступно следовал за ней из комнаты в комнату — на ней был красный свитер из какой-то дешевой шерсти — наверное, его переделали из чего-то старого или во всяком случае перекрасили, потому что мальчик никогда раньше не встречался с таким запахом — острым, почти ядовитым, — сколько раз потом ему мерещился этот запах — у него прерывалось дыхание, и тогда он решал, что вернувшись в свой город, он прежде всего разыщет девочку, которая убирала у них квартиру, — он следовал за ней по пятам, из комнаты в комнату — ядовито пахнувший красный свитер обтягивал две выпуклости на ее груди — когда они остались вдвоем в комнате, он подошел к ней вплотную и взял ее за руку — она испуганно смотрела на него своими бесцветными рачьими глазами — одуревший от запаха красного свитера, он потащил ее к дивану со словами: “А вот я сильнее тебя”, — он не узнал своего голоса, как будто эти слова произнес кто-то другой, — они барахтались на диване, приминая его выпирающие пружины — он выхватил из ее руки тряпку, которой она вытирала пыль, и отбросил ее в сторону — “Вот видишь, я сильнее”, — голос его прерывался, они неподвиж-

но лежали, ее выпуклые бесцветные глаза смотрели на него с выражением тупой покорности — “Не надо”, — тихо сказала она, но она не вырывалась, а лежала неподвижно, прерывисто дыша, и сердца их бешено колотились. Велотрек остался позади, музыка доносилась откуда-то издалека — все те же “Дунайские волны” — они проходили мимо большого круглого павильона, засыпанного снегом, дверь его была полуоткрыта — он подал девушке руку, и пройдя по оледеневшему сугробу, они оказались внутри павильона — это была комната смеха, заброшенная, с кучами мусора на полу, с зеркалами на стенах, многие из них были разбиты. Они пошли вдоль стен, останавливаясь у зеркал, словно осматривая выставку картин, превращаясь то в Дон-Кихотов, то в оплывшую жиром семейную чету, — возле одного из зеркал она достала расческу и стала поправлять себе волосы — он попытался привлечь ее к себе, но она выскользнула из его рук — в зеркале, перед которым он стоял, отразился карлик с руками, беспомощно повисшими в воздухе, — схватка между мальчиком и девочкой возобновилась, но он снова оказался наверху — она дышала тяжело, рот ее был полуоткрыт, выражение ее выпуклых, водянистых глаз было бессмысленным — это были глаза умирающего — они лежали неподвижно, и только слышалось биение из сердец — удары их, вначале быстрые и ровные, постепенно потеряв свою ритмичность, стали беспорядочными, галопирующими — сын, стоя возле постели отца, выслушивал его сердце.

15

Он выслушивал отца, приложив к его груди фонендоскоп, — была глубокая ночь, он только что проснулся и его пробирав легкий озноб, рядом стояла мать — она считала пульс, возле изголовья сидела медсестра, вытирая пот с лица больного, — кажется, именно она дежурила в день приезда сына — невысокая полная, молодая женщина. “Сколько?” — “Шестьдесят два”. — “У меня девяносто”. — “Большой дефицит”, — мать и сын разговаривали вполголоса, почти шепотом, но это было излишне — выпуклые, близорукие глаза больного были устремлены на потолок, так, как и в день приезда сына, словно он все время силится там прочесть что-то, иногда он пытался повернуться на бок, но ему не позволяли это, и тогда он начинал выкрикивать: “Я гвардии капитан!”, а иногда он выкрикивал эту фразу, лежа на

спине и все так же глядя в потолок, — он выкрикивал ее так, как будто хотел кого-то подразнить, а сестра терпеливо разъясняла ему, что он профессор и она работает у него в клинике и даже называла свое имя — на несколько минут он затихал, но потом с еще большим азартом принимался за прежнее — в женщине было что-то домовитое, хозяйственное, и он вспомнил, что ему кто-то говорил, что она замужем. Мать ушла к себе, потому что было уже очень поздно и потому что она всегда плохо себя чувствовала, когда не высыпалась, — оставшись вдвоем, они стали менять отцу простыню — когда на минуту открылись желтые ноги отца с тощими исколотыми бедрами, ему стало неловко, что она видит их в его присутствии, словно это были его ноги, и он старался не смотреть на них, а когда они стали приподнимать его, чтобы подстелить свежую простыню, пальцы их на мгновение соприкоснулись где-то под телом больного, и он вспомнил, что ему говорили, что она недавно развелась с мужем. Он уселся в кресло, положив на колени книгу, а она снова уселась в изголовье отца — он был теперь спокойнее — минутами даже казалось, что он засыпает, — и принялась что-то вязать, но клубок несколько раз выпадал из ее рук, — он читал механически, не понимая смысла фраз, — даже когда он не смотрел на нее, он видел ее, — под белым халатом на ней была легкая кофточка — ее ничего не стоило расстегнуть — и шея ее была шейей молодой женщины — густые каштановые волосы ее были собраны на затылке в тяжелый узел — он представил себе, как стоя перед зеркалом, она лениво расплетала их, держа в зубах шпильки, — где-то он даже видел такую картину — женщина, расплетающая волосы перед зеркалом, а где-то там, в глубине комнаты, смятая постель — его тело пробирал легкий озноб — во всем доме и, может быть, даже во всем городе, только они не спали.

— Вы прилегли бы, — сказал он ей, — у меня там все постелено, — и когда она ушла, мысль о том, что она сейчас ляжет в его постель, которая еще не успела остыть от его тепла, целиком захватила его — он вспомнил, что оставил в своей комнате сигареты. Он вышел в темную прихожую — из кухни доносился храп Насти — он тихонько приотворил дверь в свою комнату — на спинке стула что-то смутно белело — наверное, ее халат или одежда — он слышал ее спокойное, ровное дыхание молодой спящей женщины — не снимая пижамы, он лег рядом с ней, укрывшись тем же одеялом — она тихо застонала во сне и повернулась к нему —

рукой он уже ощущал ее горячее упругое тело — она вся потянулась к нему и прижалась, потому что уже давно ждала этого момента, — он продолжал стоять в двери, отсветы уличных фонарей лежали на потолке и на чем-то смутно белевшем, небрежно брошенном на стул, — мальчик и девочка неподвижно лежали — ее выпуклые водянистые глаза с тупой покорностью смотрели на него, сердца их бешено колотились, оглушая его, а из комнаты больного снова послышалось прежнее, озорное: “Я гвардии капитан! Я гвардии капитан!”

16

Он поджидал ее на темном пустыре, напротив здания больницы. Ветер раскачивал фонарь, висевший возле проходной будки — каждую женскую фигуру, появлявшуюся оттуда и попадавшую в колеблющийся конус света, он принимал за высокую девушку и даже выбегал из своего укрытия, но когда появилась она, он сразу почувствовал это по тому, что сердце его куда-то провалилось, а потом запрыгало — не теряя ее из виду, он пошел по своей стороне улицы, но на углу перешел на ее сторону и пошел рядом с ней — она даже не удивилась, как будто они шли вместе с самого начала. Они свернули в какую-то боковую улицу — здесь было меньше фонарей — и он остановился и поцеловал ее в щеку, но ему показалось, что он поцеловал пушистый воротник ее шубы, и потом, когда они снова останавливались и он целовал ее не то в щеку, не то в шею, лицо его снова погружалось в этот воротник, пахнувший духами и мехом, так что ему даже не хватало воздуха, — она останавливалась, когда он этого хотел, словно чуткая партнерша по танцу, но все-таки она шла своей дорогой, и у какого-то людного перекрестка они, не сговариваясь, разошлись — он вышел на главную улицу города и пошел за ней, влившись в толпу людей, фланирующих по тротуару, — по асфальту бесшумно скользили троллейбусы и машины, витрины магазинов были ярко освещены, под ногами хрустел вечерний мартовский лед — пройдя немного, он свернул на боковую улицу, и они снова встретились и пошли вместе, опять по той же плохо освещенной улице — ни он, ни она не удивились этой встрече, как будто это было вполне естественно, — они сворачивали в какие-то незнакомые улицы — целуя ее, он думал о том, что, вот, он целует ее и что это, наверное, и есть счастье, потому что он так долго об этом мечтал, но, с другой стороны, какое же это сча-

стве, если он не чувствует это, а понимает разумом? Неужели это та самая девушка, которая спросила его: "У вас такой взволнованный голос, — что-нибудь случилось?" — это было несколько дней тому назад — он позвонил ей, чтобы узнать, когда она будет у них дежурить, — он не помнил, как вышел из автоматной будки и очутился на середине тротуара — он все еще слышал ее голос, чуть распевный — она беспокоилась о нем и об его отце, и он, понимая всю немыслимость этого и оттого еще больше пьянея, думал о ней как о своей жене — отец поправился, и она поселилась у них, и он устраивается на работу в этом городе, из которого он когда-то уехал, и получает законное право радоваться этим новым домам и магазинам, потому что он теперь житель этого города, и он торопится с работы домой, и на работе все время думает о ней — он стоял посередине тротуара, мешая проходу, и небо над городом было синим и безоблачным — он забыл, что должен был купить в аптеке, и вот теперь он целовал ее, и она позволяла ему это, и это была она, это ее голос он слышал по телефону, но почему для того, чтобы понять, что он счастлив, он должен был припоминать все это — разве ему мало было этого ветреного мартовского вечера и ее душного мехового воротника? — они стояли возле какого-то красного кирпичного здания — может быть, какой-нибудь фабрики или школы, на пустынной улице, под фонарем, и он вдруг понял, что она сейчас уйдет, потому что, хотя они и не разбирали улиц и шли наугад, она все-таки шла своей дорогой, а, может быть, он просто должен был взять машину, отвезти ее домой и остаться у нее, и ему вдруг стало легко и приятно от мысли, что они сейчас расстанутся, — он представил себе, как он будет сейчас, возвращаясь домой, думать о ней и о том, что он целовал ее, — наверное, его ладони еще пахнут ее духами, и он будет прикладывать их к своим губам и к носу, погружаясь в воспоминания, которые пока еще были реальностью, и надо было ценить эту минуту, вот сейчас, когда он снова целует ее, и у нее чуть раскосые глаза и пышные волосы, выбивающиеся из-под меховой шапочки, и румянец на щеках — она позволяет себя целовать, она стоит молча, словно ее это вовсе не интересует и иногда даже рассеянно поглядывает по сторонам — самка, которую нужно взять, — и вот он уже едет в трамвае и нюхает свои ладони, которые пахнут надушенным мехом ее воротника, а, выйдя из трамвая, бежит к дому, потому что ему всегда кажется, что это может случиться в его отсутствии.

“Все-таки это необузданно — сидеть столько времени”, — сказала мать — они с сыном находились в маленькой комнате, превращенной теперь в столовую, а у отца сидела их соседка, ровесница сына — она жила этажом выше, как раз над их квартирой — у нее было красивое лицо, обрамленное тяжелой русой косой, и чуть подкрашенные губы — о чем они разговаривали с отцом — даже медсестра вышла из комнаты отца, а сын старался не смотреть на мать, но она, кажется, не испытывала никакой неловкости — просто во всем надо знать меру — ему вредно разговаривать и волноваться, и неужели она этого не понимает? — а он испытывал такое же чувство, как когда отец при нем провожал взглядом молодых женщин — она преподавала французский язык, но, кроме того, кончила консерваторию, и отец с некоторых пор стал усиленно покупать пластинки и часто ставил их, но почти всегда забывал снимать их, так что они продолжали крутиться вхолостую, и это раздражало сына, когда он приезжал к ним, — он слышал, как по утрам она стучала каблукками по полу, торопясь на работу, а иногда она разыгрывала какие-нибудь пассажи или музыкальные пьесы, а два раза в неделю она спускалась к ним, чтобы позаниматься музыкой с внуком, который жил у них, потому что бабушка считала, что ребенок должен жить там, где были лучшие бытовые условия, — придя с работы, отец первым делом интересовался, был ли сегодня урок музыки, а иногда он прямо после работы, не заходя домой, поднимался на шестой этаж — он постоянно дарил ей какие-нибудь вазы или чашки или еще что-нибудь в этом роде под видом благодарности за уроки, которые она давала внуку, — мать говорила, что во всем надо знать меру и что он просто потерял голову и что это стыдно — перед сном сын снова слышал, как она стучала каблукками — его комната находилась как раз под ее комнатой, а потом все затихало — ее кровать стояла над его диваном — она укладывалась спать, и он часто мечтал о том, чтобы ночью провалился потолок — ведь все-таки они были ровесниками — интересно, разрешила ли она отцу хотя бы раз поцеловать себя? — однажды, усевшись в кресло в комнате сына — он любил заходить к нему перед сном, чтобы побеседовать, — сын уже обычно лежал в постели и с нетерпением ждал, когда отец уйдет, потому что ему хотелось спать, — усевшись в кресло, он долго молчал, а потом сказал,

что если бы он был другим человеком, то мог бы решиться на что-то, но сыну очень хотелось спать и, кроме того, у него было такое ощущение, как будто он читает чужие письма, а теперь, во время болезни, отец, уже не стесняясь, повторял ее имя, часто давая ей всякие ласковые прозвища, и просил, чтобы ее позвали к нему, и вот теперь она сидела в комнате отца и, может быть, даже гладила его руку или держала ее в своей руке — после ее ухода отец впервые за все время своей болезни спросил у сына, как подвигаются его дела с диссертацией.

“Мы еще выпьем с вами шампанского”, — сказал отцу профессор Зайцевич — он все еще не мог отдышаться после подъема на пятый этаж, сидя в кресле, положив ногу на ногу, покачивая острым носком своего не по сезону легкого черного полуботинка, утопая в кресле, из которого торчала лишь его глянцевиная лысая голова, то и дело подрагивавшая, словно он от чего-то упорно отказывался или хотел согнать надоевшую муху, — его жена была вдвое моложе его — она работала у него ассистентом, хрупкая блондинка, носившая меховое манто, — они занимали отдельный коттедж, который он окружил высоким глухим забором, но рассказывали, что у нее не переводились какие-то военные, которых она принимала у себя дома, иногда даже в его присутствии, но он считался лучшим специалистом в городе и продолжал все так же подергивать головой и поблескивать стеклами своего пенсне — он только что выслушал отца, с удивительной легкостью переставляя по его спине, покрытой красными пятнами и тщательно оберегаемой от охлаждения, запотевшую от мороза металлическую трубку фонендоскопа, как будто он играл в шашки, небрежно сбивая их одна за другой, — остроумная комбинация, которая должна была привести его в дамки. Отца посадили, задрвав кверху его рубаху, поддерживая его, потому что сам он сидеть уже не мог, — ему не хватало воздуха, и он заходился приступами кашля — сначала казалось, что он просто откашливается, и это было вполне естественно, так что, находясь в соседней комнате, можно было вполне подумать, что отец просто немного простужен, но он откашливался намеренно громко, как будто нарочно хотел досадить кому-то, а потом покашливание переходило в лай, но этот лай снова был каким-то неестест-

венным, натужным, словно отец передразнивал собаку и ему это не совсем удавалось, но постепенно он входил в роль, все больше и больше распаяя себя, и уже не мог остановиться, и вот уже сам оказывался жертвой своего озорства — он закатывался сухим, трескучим кашлем, как будто в комнату ссыпали горох или свинцовую дробь, а в перерывах между приступами кашля он судорожно хватал ртом воздух, словно выброшенная из воды рыба — его близорукие, выпуклые глаза придавали ему еще большее сходство с рыбой, но когда Зайцевич стал выслушивать его, он почти перестал кашлять — значит, он все-таки мог сдержать себя, так что Зайцевич, переставляя фонендоскоп, несколько раз даже говорил ему: “Покашляйте”, и он покашливал — запотевшая металлическая шашка Зайцевича явно просилась в дамки, так что сын, стоявший тут же рядом, чувствовал на себе прикосновение этого холодного металла, но раз Зайцевич делал это, значит это можно было — может быть, отец просто слегка занемог, и к нему вызвали Зайцевича, и он осматривал больного. Сидя в кресле, держа в руках пенсне, покачивая острым носком своего ботинка, все еще не отдышавшись от крутого подъема, Зайцевич диктовал назначения, а отец, которого снова уложили, зашелся приступом кашля, но на это не обращали никакого внимания, потому что главное теперь заключалось в тех назначениях, которые делал Зайцевич, а кашель отца был лишь помехой этому. “Мы с вами еще будем пить шампанское”, — сказал Зайцевич отцу, надев пенсне и кивком головы сгоняя с себя воображаемую муху — он пережил отца на три месяца — его похоронили рядом с отцом, но все-таки чуть поближе к центральной аллее — когда на могиле отца оставались только ржавые остовы венков и истлевшие ленты, на могиле Зайцевича еще возвышался шалаш из венков, перевитых красными и белыми лентами, и шалаш этот был чуть пышнее и ярче отцовского, потому что было уже лето и потому что Зайцевич лечил всех ответственных работников города.

Была глухая ночь. Он стоял возле окна, а на его диване лежала мать, потому что в ее комнате ночевали теперь врачи из клиники отца — они сменяли друг друга — это были хирурги, ничего не смыслившие в болезни отца, но мать считала, что в виду ухуд-

шения состояния больного у его постели должны были дежурить врачи, и они приходили — светловолосые мужики, молодые ординаторы — они старательно вытирали ноги, долго топтались в передней, прежде чем войти к отцу, с преувеличенной готовностью и оттого неловко помогали вносить и выносить кислородные баллоны, ходили курить на лестничную клетку, зажав, словно школьники, сигарету в кулаке, а по ночам спали беспробудным сном дежурных врачей — мать была в своем синем байковом халате с разводами — она даже не лежала, а полусидела, облокотившись на подушку, — из комнаты доносился кашель — теперь это уже были не приступы кашля, а сплошной кашель, так что непонятно было, когда отец умудрялся сделать вдох, чтобы запастись воздухом, требовавшимся для поддержания в себе такого кашля — его озорство обернулось теперь трагедией для него же самого — кашель заполнял всю его грудь, всю квартиру, так что, когда он хоть на мгновение прекращался, сын заходил в комнату отца, чтобы выяснить, не случилось ли чего — теперь отец уже все время полусидел, поддерживаемый сестрой или врачами, и это никого не беспокоило, хотя раньше ему запрещалось даже ворочаться, — значит, теперь это уже не имело никакого значения — слово “пневмония” впервые произнесла мать — сын мысленно видел, как серовато-синее уплотнение распространяется все выше и выше, свободными от него оставались только верхушки легких, но и их ждала та же участь, и это были легкие его отца, а они с матерью находились в отдаленной комнате, вдвоем, словно спасаясь от кашля отца, предоставив его другим, — где-то внизу виднелись цепочки фонарей, черная пустынная улица была словно покрыта лаком — чуть приоткрыв форточку, сын прислушивался к звуку шагов на тротуаре — час назад мать позвонила своей приятельнице и попросила ее прийти — приятельница эта была педиатром, но мать считала, что она вообще очень хороший врач и буквально выходила своего мужа, недавно перенесшего ту же болезнь, что и отец, правда, в значительно более легкой форме, и вот теперь они ждали ее прихода, как будто он мог что-то изменить, — иногда сын даже становился коленями на подоконник и высовывался в форточку — в этот момент ему казалось, что кашель отца стихает.

“Он же погибает”, — сказала мать. Она сидела на диване в своем байковом халате, уже не опираясь на подушку, обняв руками колени, укрытые одеялом, — на ее пальце тускло поблескивало

золотое кольцо с небольшим бриллиантом — она надела его, когда они уходили из города, охваченного пожаром, и с тех пор не снимала его. Она сказала это так, как говорят о постороннем человеке или как будто отец это делал нарочно — весьма возможно, что в эту минуту она чем-то напоминала фигуру из надгробия Мартоса, хотя впоследствии сыну не раз казалось, что мать не сидела, а стояла — у ног ее размотались простыни, белые, как облака, и она восставала из них, словно негибкая патриотка в застенках гестапо или ракета, стартующая в космос.

20

Кислородную палатку ликвидировали, а конец резинового шланга, протянутого через всю комнату, положили возле рта больного — сначала конец этот оборачивали влажной марлей, чтобы кислород не обжигал губы и рот больного, но потом марлю перестали надевать, чтобы увеличить приток кислорода, — отец лежал на боку, его уже не поворачивали — только слегка придерживали шланг, чтобы конец его приходился возле рта, — губы отца распухли и обуглились от кислорода — подачу же кислорода регулировали с помощью металлического зажима, надетого на шланг, потому что нельзя было давать кислород без перерыва — сын, сидя в кресле, то открывал, то закрывал зажим и, когда он закрывал его, отец начинал судорожно хватать губами воздух, лицо его синело, — дни уже давно превратились в ночи, а ночи — в дни, занавес на окне в комнате отца не открывали и не закрывали, лампочку под оранжевым абажуром не гасили и даже на письменном столе отца была зажжена настольная лампа, а из комнаты сына, куда переставили теперь телефон, доносились непрерывные звонки — со стола, стоящего там, не убрали китайскую вазу с сухим киевским печеньем, которым угощали всех приходивших, — на телефонные звонки бросались сразу же, как будто все ждали какого-то важного известия, которое должно было прийти извне и изменить ход событий, и так же поспешно все бросались в переднюю, когда там раздавался звонок. Отца непрерывно кололи, но он уже не реагировал на это, а потом пришел профессор Залманзон, тоже хирург, — он часто бывал у них дома, и они с отцом обсуждали последние медицинские новости и Залманзон в лицах изображал свой разговор с больными или врачами, и все смеялись, потому что он делал это очень остро-

умно, но он всегда рассказывал о своих операциях, перелистывая бумаги, лежавшие на столе отца, или снимал на середине пластинку с мессой Генделя, — продолжая рассказывать о своей последней операции на мочеточнике, все более увлекаясь и входя в роль, он расхаживал по комнате взад и вперед, открывая и захлопывая книги, переставляя хрустальные вазы, — очки, которые он носил, нисколько не искажали выражения его серых лучистых глаз, которые всегда оставались серьезными, да и сам он почти никогда не смеялся — иногда позволял себе лишь улыбнуться вскользь, но тут же сгонял улыбку, никого не удостаивая ею, даже себя, — и вот теперь его крупные обросшие волосами руки, привыкшие к самым сложным операциям, пытались сделать прокол в грудной клетке отца, чтобы выпустить накопившуюся в плевральной полости жидкость, — это могло дать небольшое облегчение на два-три часа, но почему-то все очень надеялись на это и окружили постель больного, словно сейчас должно было совершиться чудо. Он сделал прокол, но, видимо, неудачно, потому что на канюли капнули лишь две-три капли кровянистой жидкости, — вынув иглу, он сделал прокол в другом месте — отец даже не стонал, да и вообще, какое отношение к отцу имело это исколотое, ни на что не реагирующее тело с посиневшими руками, с обугленными от кислорода губами и почерневшим лицом? — но ведь это был его отец, это он дал ему жизнь, обнимая его мать — свою жену, а теперь он умирал, и они с матерью стояли среди других, окруживших постель отца, как простые наблюдатели, словно все происходящее не имело к ним никакого отношения, — Залманзон, наконец, попал в плевральную полость, потому что из иглы в подставленную сестрой литровую банку полилась струя жидкости, направляемая волосатой рукой Залманзона, — все сразу облегченно вздохнули и даже немного отступили в сторону от постели — не то потрясенные магией Залманзона, не то просто боясь забрызгаться, — Залманзон передал теперь канюлю, через которую лилась жидкость, кому-то из врачей, как это он делал во время операции, когда самое сложное и ответственное было уже позади и оставалось только наложить лигатуры, — он тоже отступил несколько в сторону и даже, пожалуй, чуть больше, чем остальные, — заложив руки за спину, он смотрел на вытекавшую струю жидкости, словно художник на только что оконченную картину, — в литровой банке из-под консервированного компота вскипала пена, словно ее наполнили

пивом, — она наполнилась почти до краев — кто-то поднял банку и посмотрел ее на свет, и мать сказала, что жидкость надо бы отправить в лабораторию для исследования.

21

Лицо девушки с чуть раскосыми глазами и с пышными черными волосами, выбивающимися из-под белоснежного накрахмаленного колпачка с красным крестиком, появлялось перед ним на фоне белой кафельной стены — появлялось, потом снова исчезало — она все так же аккуратно делала отцу инъекции и так же, как и раньше, кипятила шприц и движением фокусника поворачивала шприц иглой вверх с насаженной на нее ампулой, не придерживая ее, и жидкость из нее не выливалась — она протирала спиртом исколотые тощие ягодицы отца, чтобы не внести инфекцию, и затем ловким движением метателя копья погружала иглу в его бесчувственное тело — отец даже не шевелился и не стонал — она была очень хорошей медсестрой, аккуратно выполнявшей назначения врача, и, наверное, была бы такой же хорошей женой, — ее дежурство подходило к концу, в комнате отца резиновый шланг тянулся через всю комнату к посиневшему телу с распухшими обугленными губами, оттуда не выходили врачи, горели обе лампы — кажется, действительно, был вечер — через два часа должна была прилететь из Москвы его жена — ее решили вызвать — только что он сам говорил с ней по телефону — он упорно дозванивался в Москву, и мать то и дело входила в комнату, чтобы поинтересоваться, дозвонился ли он, и когда он говорил с женой по телефону, мать стояла рядом с ним, словно отец находился не здесь, а там, в другом городе, и жена могла сообщить им, как обстоят дела, и он тоже ждал от жены каких-то новостей о состоянии отца, и когда они дозвонились его тете, сестре матери, чтобы вызвать ее, и потом двоюродному брату, они снова испытывали такое же ощущение, как будто им сейчас сообщат какую-нибудь утешительную новость, но никаких новостей не было — находившиеся на том конце провода сами спрашивали и даже боялись спросить, но все-таки казалось, что их приезд может что-то изменить, и сын упрямо дозванивался на вокзал и в аэропорт, чтобы узнать расписание поездов и самолета, — ему очень хотелось увидеть жену — они собрались бы все вместе в этой квартире, как бывало прежде в дни их приезда, —

всей семьей — отцу становится лучше, он поправляется, и они с женой, как и в прежние приезды, или, как в то время, когда они еще жили здесь, занимают маленькую комнату, превращенную в столовую, из которой он сейчас звонил; по утрам, когда они еще спят, дверь их комнаты осторожно приоткрывает отец — осторожно, но все-таки с таким расчетом, чтобы разбудить их, — он только что побрился, и щеки у него совершенно гладкие, как у младенца, — жена любит погладить отца по щеке, когда они такие гладкие, и так же любит погладить пушок на голове отца, заливаясь при этом звонким смехом, — от него пахнет одеколоном, он позавтракал и собирается идти на работу, к запаху одеколона примешивается запах овсяной каши, которую он, согласно диете, установленной матерью, ест каждое утро, смешивая ее с кефиром, — они просыпаются — отец с виноватой улыбкой окончательно входит в комнату и, обдавая сына запахом одеколона и овсяной каши, сообщает ему, что Яковлев там уже больше не работает, и не хотел ли бы сын зайти туда, побеседовать с ним — отец все еще не потерял надежду, что сын устроится где-нибудь здесь, и они переедут сюда, к ним — и это раздражает сына, потому что он сам уже давно хочет вернуться в свой родной город, и, кроме того, ему неприятно, что отец видит их с женой, лежащими в одной кровати, — неужели обязательно сейчас надо было затевать разговор на эту тему? — у отца виноватое и грустное выражение лица, и он потихоньку ретируется из комнаты, и вот уже щелкнул замок входной двери — отец ушел на работу — подходил к концу последний день жизни отца — высокая девушка с чуть раскосыми глазами должна была скоро уйти — сначала он караулил ее в передней — она ходила взад и вперед в ванную с какими-то посудинами в руках, что-то выливала и полоскала там, и он нарочно старался попасться ей на глаза, но она почти не замечала его, и, кроме того, в переднюю то и дело входили посторонние, и тогда он пошел в ванную комнату и стал там, а она уходила и снова приходила туда — ее дежурство подходило к концу, потому что время шло, и ей, наверное, непонятно было, зачем он стоит здесь, в ванной, когда рядом в комнате умирает его отец. Она вошла в комнату с каким-то очередным сосудом, кажется, с уткой, в которой было немного темной концентрированной мочи — она держала в руках эту стеклянную прозрачную утку, и он, воспользовавшись этим, положил свои ладони на белый кафель стены, как будто хотел оставить на нем отпечатки

пальцев, — он положил их по обе стороны от девушки, так что она оказалась как бы в западне — лицо ее заметалось, в глазах появилось выражение растерянности и ужаса, но он прижал ее лицо к белому кафелю и поцеловал ее губы, несколько раз — они оказались жесткими, но пока он целовал ее, она не сопротивлялась.

22

Шампанское достали из стенного шкафа в передней — бутылка почему-то оказалась откупоренной и неполной — наверное, отец кого-нибудь угощал, а, может быть, попробовал даже сам — и когда вино наливали в столовую ложку, в нем даже не оказалось пузырьков газа, но кто-то из врачей сказал, что это даже хорошо, потому что образование газа может отрицательно сказаться на работе сердца, — отец теперь обходился без кислорода, он лежал на спине, спокойно и ровно — казалось, что он спал, — вино порекомендовали, чтобы поднять сосудистый тонус, потому что с помощью инъекций этого сделать не удалось, — он дышал спокойно и ровно и даже не слишком часто — возле его изголовья сидела врач, уже немолодая женщина — держа в руках часы отца, она считала у него пульс и говорила, что состояние больного не такое скверное, как она ожидала, судя по рассказам, — шампанское попытались влить отцу в рот, но оно стекло по его подбородку на подушку, образовав там пятно, — губы и рот отца, наконец, отдышали от кислорода, и это было очень важно, и уже обсуждались планы лечения больного на завтра — наверное, они поторопились с телефонными звонками — многие из присутствующих разошлись по домам — подходил к концу последний день жизни отца, но пожилая женщина — врач, сидевшая возле изголовья отца, была опытным врачом — она, наверное, не один раз видела, как умирают, и когда в передней послышался голос жены, он выбежал ей навстречу, обнял ее и поцеловал — губы ее мягко поддались его поцелую — они не виделись больше месяца — и пока она раздевалась и он вешал ее пальто, ему на минуту снова показалось, что все по-прежнему — она прилетела вечером, чтобы пробыть два-три дня, и они, может быть, даже вместе улетят обратно, — просто самолет пришел вечером, а сейчас они сядут ужинать за круглый обеденный стол в комнате отца, и он, как всегда, будет поглощать ложками сметану, и отец скажет ему:

“Сколько можно есть сметаны?”, потому что самому ему этого нельзя, а жена будет звонко смеяться, теребя пушок на голове отца, — в комнате отца горела только лампа на его письменном столе, жена стояла возле постели отца, она осторожно перебирала его пальцы и говорила, что они у него такие же толстенькие и мягкие, как всегда, и что он узнал ее — в этом она совершенно уверена! — еще немножко и она стала бы поглаживать пушок на его голове или трогать волосы, растущие у него из ушей, и, может быть, даже засмеялась, и ему показалось, что отец действительно узнал ее, и к его горлу подступил какой-то комок, потому что отец с женой любили вместе ходить по комиссионным магазинам и делать покупки, за которые отцу всегда попадало от матери, и потому что отец называл жену сына “белой рабыней” за то, что она наливала сыну ванну и даже помогала ему мыться — может быть, он даже чуть завидовал сыну и называл его жену ласковыми именами, а иногда он называл ласково свою жену, переделывая при этом ее имя на еврейский лад и грустно покачивая головой, как будто он боялся, что его жена, мать сына, умрет раньше его и, может быть, даже она уже больна, и он ее заранее хоронит, а иногда он говорил о том, что было бы с ним, если бы они попали в гетто, и всем неприятно было это слушать, потому что это была правда, — за последние дни у сына отросла мучительная щетина — с такой щетиной он бы не смог заснуть — он пошел в ванную, чтобы побриться, а мать и жена делились где-то там своими новостями, а отец, слава Богу, спал, — и когда он побрил одну щеку, а вторая еще оставалась намыленной, он вдруг услышал голос матери, обращенный к нему: “У папы остановилось дыхание!” — она сказала это так, как будто сообщила ему, что его к телефону, или что суп на столе. Он вбежал в столовую: над изголовьем отца склонились две фигуры — кажется, ординаторы из его клиники — они что-то пытались сделать с отцом — один из них вводил резиновую трубку в рот отца, погружая ее все куда-то глубже и глубже, а другой изо всей силы дул в эту трубку, как будто хотел разжечь потухший самовар. “Ровно двенадцать” — сказала мать, посмотрев на часы отца, и они с сыном ушли из комнаты отца, как уходят с затянувшегося спектакля, а те еще продолжали возиться с резиновой трубкой, жена же принялась успокаивать медсестру — женщину, дежурившую в день приезда сына и затем в ту ночь, когда отец выкрикивал: “Я гвардии капитан!” — к ней присоединились мать и сын — они усадили ее

на диван в комнате сына — она расстегнула верхние крючки своей кофточки, потому что ей было душно, а они обступили ее — мать давала ей валериановых капель, и они с сыном стали объяснять ей, что ей как медицинскому работнику нельзя бояться того, что произошло сейчас, что это был вполне естественный исход болезни, что этого надо было ждать, и сын даже открыл форточку, чтобы она скорее пришла в себя, но, по-видимому, ничего страшного с ней не было, потому что она сидела, обмахиваясь носовым платком, хотя и немного бледная, но они уговаривали ее остаться ночевать, потому что нельзя же было ей вот так сразу выходить на улицу, а потом все стали торопливо укладываться спать, но долго никак не могли разобраться, кому где лечь, потому что в последние дни все спали не на своих местах, и места эти постоянно менялись, и сын очень беспокоился, что они с женой окажутся в разных постелях и даже в разных комнатах, но в конце концов им удалось все-таки устроиться в его комнате на диване, на котором они обычно спали, приезжая сюда, и когда они остались вдвоем, он обнял ее и сказал ей: "Я так хотел тебя". Это были не его слова — он слышал их от кого-то или взял из книжки, но они показались ему естественными и еще сильнее разожгли его желание.

23

Фонари туннеля располагались на значительном расстоянии друг от друга — наверное, не меньше, чем через каждые сорок или даже пятьдесят метров, а чуть пониже их, по серой ноздреватой стене туннеля в два или в три ряда тянулись черные жгуты кабеля — фонари были похожи на лампы синего света, только лампочки в них были не синие, а обыкновенные и очень яркие, — фонарь уплывал к следующему вагону, просвечивал через его окна, пропадал и почти в тот же момент, а, может быть, даже чуть раньше появлялся новый, откуда-то спереди проплывая мимо окон, заменяя прежний и снова исчезал за следующим вагоном, — черная дверь тамбура не позволяла проследить его дальнейший путь, навсегда отрезая его, как только поезд наращивал свой ход, фонари начинали мелькать перед глазами, один за другим, все быстрее и быстрее — казалось, что кто-то невидимый швыряет их, словно снежки, все более и более ожесточаясь, пока, наконец, их полет не превращался в сплошную огненную черту, проши-

вающую черноту окон и фигуры людей, словно в действие вступал огнемёт, — человек в добротной, хотя и поношенной шубе с удлинённым каракулевым воротником и в каракулевой шапке-конфедератке с опущенными наушниками сидел чуть сгорбившись, опустив голову, держа на коленях добротный портфель, — он и ходил так — немного согнувшись, втянув голову в плечи, словно хотел спрятать от кого-то свое лицо или боялся удара.

На платформе станции, где он сошел, у подножья мраморной колонны, за низким столиком, покрытым свисающими до пола пестрыми афишами, сидела продавщица лотерейных билетов. Возле нее не было ни одного человека, но она крутила свое колесо словно шарманку, — он замедлил шаг и даже полез в карман за мелочью, но потом раздумал.

На площади возле метро горели фонари, шел мокрый снег, женщины с корзинами, прижимаясь к стене ближайшего дома, бойко торговали цветами — подснежниками, фиалками и еще какими-то другими, желтыми, которых он никогда не видел, а может быть, и видел, но забыл, как они называются. Он решил купить один такой букет, но какая-то старушка, уступив полтинник, вручила ему сразу два таких букета, и он положил их в портфель, потому что не любил носить цветы в руке.

Возле подъезда дома, где он жил, дети заканчивали лепить снежную бабу, похлопывая ее лопатками по туловищу и голове.

Ему открыла жена. Он протянул ей цветы, она недоверчиво осмотрела их и спросила, не с кладбища ли они.

24

Целую неделю он не мог дозвониться — то не отвечали, то было занято, то говорили, что такого здесь нет. Наконец, трубку взяла женщина, и по ее голосу он понял, что это была уборщица общежития, которое обслуживал этот пьянчуга — ему даже показалось, что он узнал ее.

— Какого такого Алексея Тихоновича? — переспросила она — она всегда переспрашивала, и ей всегда приходилось разъяснять, но он упорно продолжал называть его по имени и отчеству.

— Да он работает у вас... слесарем.

Как всегда последовала пауза — уборщица, видимо, сопоставляла факты.

— Алешку-слесаря? — обрадованно сказала она, уяснив в чем дело. — Так бы и говорили.

— Да, да — еще больше обрадовался звонивший, потому что уже несколько дней, просыпаясь по утрам, он мысленно видел перед собой узкую комнату с широкой кроватью и пуховой периной, и чистым полотенцем, которое пьянчуга оставлял для гостей, и рядом с собой, на пуховой перине, женщину и ее мученически-блаженное выражение лица, и легкость во всем теле, с которой он после этого идет по улице и почти на ходу вскакивает в троллейбус...

— Та его выносят сейчас, — сказала женщина — она сказала это так, как будто сообщила, что он переехал в другую квартиру.

— Как так выносят? — спросил звонивший, хотя он уже все понял.

— Помер он, — втолковывала ему женщина на том конце провода. — Три дня, как помер, перед самым праздником, — и человек сразу вспомнил жесткий, как натянутая струна, пульс лежавшего на кровати и столик, покрытый грязной бумагой, на которой стояли опорожненная поллитровка и мутный граненый стакан и лежал остаток луковицы — когда с ним случилось это, он, наверное, вот так и лежал один в комнате, вдрызг пьяный, и человек представил себе, как не выдержал, разорвался в мозгу пьяного сосуд и как кровь хлынула в мягкое, податливое вещество мозга, превратив его в кашу, и как у пьяного начались судороги и он захрипел, и его тяжелая рука отвалилась, свесившись с кровати до пола, и одетый он лежал мертвым до самого вечера, пока к нему не пришла его сожительница — она работала санитаркой в какой-то больнице и иногда приходила к нему на ночь.

Вечером он отдыхал на тахте, подложив под голову мягкую подушку, — в стекле книжного шкафа, стоявшего возле его ног, поперек к тахте, он увидел свое отражение — лицо, приподнятое подушкой, туловище, оказавшееся почему-то очень коротким, и несоразмерно длинные неподвижные ступни — словно не его, а чужие — они закрывали собой лицо и туловище, как будто его несли ногами вперед, — потянув шнурок торшера, он погасил свет.

Я стою посередине кухни в одной ночной рубашке и ем халву — ночью меня неодолимо тянет к сладкому, и я могу съесть

его в огромном количестве, что чрезвычайно нежелательно при моей склонности к полноте, — я сам купил маленький замочек, прикрепил петли, и каждый вечер, когда уже сделаны последние приготовления ко сну — трещина на моей губе помазана рыбьим жиром, потому что для ее заживления необходим витамин "А", поставлена геморроидальная свеча и из кухни взята литровая банка воды и рядом с ней на моем письменном столе разложены яблоко и две конфеты, как на могиле сельского кладбища, потому что надо же что-то есть ночью, и принято снотворное — когда все это уже сделано, я защелкиваю замочек на кухне — ключ от него жена припрятывает в какой-то тайник в коридоре, и пока она это делает, я добровольно закрываюсь в комнате, как это мы делали в детстве, играя в спрятанные вещи, и даже затыкаю уши, чтобы не услышать, в какой части коридора она орудует — несколько раз ночью, руководимый безошибочным чутьем, которым обладают, наверное, только лунатики, я находил этот ключик — дрожащими от нетерпения руками я открывал замок, словно искатель клада, вскрывающий заветный сундучок, — сегодня же я просто потянул замочек, и он раскрылся, потому, что уже несколько дней, как он не совсем в порядке, но я громогласно еще не заявил об этом, а сделал лишь несколько намеков на этот счет, чтобы совесть у меня была все-таки чистая, — хотя почти еще ночь, на улице совсем светло и в кухне тоже, потому что сейчас еще только начало лета — самые длинные дни и самые короткие ночи — ровно тридцать шесть лет тому назад в этот же самый день или, точнее, в эту же самую ночь я ехал в Москву с бабушкой — я вспомнил это, как только оказался на кухне. В черноте окна виднелся только синий фонарь — вернее его отражение — и фонарь этот, не уставая, за какие-нибудь два-три часа покрыл огромное расстояние — мальчик не выдержал бы и одной минуты такой гонки — купе было освещено призрачно-синим цветом, а из-за стука колес не было слышно даже бабушкиного храпа — он прижимался лицом к холодному стеклу, но за окном все равно ничего не было видно — только его собственное лицо, когда он чуть-чуть отдалял его от стекла, и все призрачно-синее купе с голубоватыми пикейными одеялами, под которыми спали двое незнакомых людей и бабушка, и под одним из них он сам, но он не спал, — купе мчалось, прорезая черноту ночи, отбрасывая назад невидимые километровые знаки, как мячики, и он мчался вместе с этим сине-призрачным купе, сквозь

ночи и темноту, без всяких усилий, отдавшись этой невыносимой скорости, — в окне отражалась зеркальная дверь купе и синеголубой шар, а в отражавшейся зеркальной двери отражалось черное окно, и в этом отражении снова виднелась зеркальная дверь с матово-синим шаром, и дальше уже невозможно проследить за этими взаимными отражениями, которые становились все меньше и меньше, но не исчезали — по-видимому все это имело какое-то отношение к бесконечности, но тогда мальчик еще не понимал этого, а когда он проснулся, было светло, фонарь уже не горел, за окном убегал назад мелкий ельник, высаженный вдоль насыпи, чтобы защитить путь от снежных заносов, в низинах стоял туман, а над самым горизонтом вместе с поездом, не отставая от него, катился оранжево-огненный шар — мальчик лежал на животе на верхней полке, втиснув голову между краем полки и оконной рамой, придерживая рукой отодвинутую занавеску, словно он заглядывал в другой мир, стремясь охватить взглядом сразу же все, — от убегавшей назад встречной колеи с черными просмоленными шпалами и мелькающими километровыми столбами — больше половины расстояния уже осталось позади — до пылающе-огненного шара, плывущего вместе с поездом, ни на шаг не отставая от него, — ночь была позади, можно было уже не спать, и не когда-нибудь, не завтра, а сегодня он приедет в Москву — двор наш и переулочек, куда выходит окно кухни, по ночному пустынно, в расположенном напротив двухэтажном деревянном доме створки окон распахнуты настежь, как будто его обитателям не хватает воздуха, но сами оконные проемы темны — дом этот уже давно предназначен на снос, но в нем все еще живут, хотя недавно в самый угол его врезался грузовик — он проломил стену дома и, говорят, даже въехал в комнату, но там никого в это время не оказалось — разрушенную стену заделали за государственный счет и в очень короткий срок, и поэтому угол дома выглядит новее, чем остальная его часть, хотя каждый год его красят, и так же пустынен переулок, начинающийся от этого дома и идущий вверх — он как бы вливается в наш двор — переулок застроен разноэтажными старыми каменными домами — начиная со второго этажа, окна в них распахнуты, на первых же этажах открыты только форточки — они открыты до отказа и похожи на указующие персты — ночью прошел дождь, а может быть, улицы уже успели полить — кажется, что они покрыты лаком, — сейчас самое время выходить из подъездов людям, ноче-

вавшим вне дома, но улицы пустынные и светлы, а на полу, возле моих босых ног валяются крошки халвы, и кухонный стол, на котором я разворачивал халву, тоже усыпан крошками, и руки у меня тоже липкие. Из коридора доносится характерный звук, чем-то похожий на щелканье кастаньет, — это отряхивается наша собака, вылезшая из стенового шкафа, нижнюю полку которого по моему замыслу приспособили ей для жилья, — дверцы шкафа разрезали по горизонтали, так что части их, закрывающие собачье логово и остальные полки, независимы друг от друга, и я очень горжусь этой своей выдумкой и требую, чтобы все домашние подтверждали, что это мое изобретение и что оно остроумно, но псу там тесно, и поэтому несколько раз за ночь он выходит оттуда, чтобы потянуться и отряхнуться, — рано состарившийся боксер с провисшей спиной и с пролежнями — каждый вечер я гуляю с ним, и путь наш всегда один и тот же: из подъезда направо по двору вдоль нашего дома до земляного откоса, летом поросшего пыльным чертополохом с валяющимися обрывками газетной бумаги и пачками из-под сигарет, зимой покрытого снегом с рыжими ноздреватыми углублениями — следами от собачьей мочи, весной же и осенью превращающегося в скользкое глинистое месиво, — уже с половины расстояния пес начинает меня тянуть, так что мне даже приходится бежать за ним, — он бросает на это всю силу своих задних ног, а я всячески стараюсь противодействовать этому, — иногда даже отклоняюсь всем корпусом назад, словно наездник, пытающийся поднять лошадь на дыбы, — кто-то сказал мне, что это укрепляет силу мышц задних конечностей собаки, а, кроме того, я считаю, что таким способом воспитываю у нее силу воли, — по утрам я тоже делаю зарядку, а потом ощупываю мышцы плечевого пояса и, скрестив руки, похлопываю себя по плечам, словно спортсмен, успешно выполнивший программу упражнений и теперь спокойно ожидающий решения судейской коллегии, а увидев открытые двери вагона метро, я иногда специально сдерживаю себя, чтобы не побежать, — дорвавшись до откоса, чуть приподняв заднюю ногу, словно это не является необходимостью, а лишь пустой формальностью, данью устаревшей традиции, он выпускает из себя струю мочи — зимой она пробивает снег, оставляя после себя желтую ноздреватую ворону, в остальные же времена года струя со шлепающим звуком ударяет в землю — часть ее стекает на асфальт, часть же превращается в брызги, и поэтому я стараюсь стоять

подальше, но все-таки я приседаю, чтобы рассмотреть цвет мочи, потому что уже несколько раз в моче у собаки была примесь крови, и мы все беспокоились, не опухоль ли это, — идя из ванны к себе в комнату в одной ночной рубаше, я стараюсь уклоняться от встречи с ней, потому что боюсь заразиться от нее опухолью, и, чтобы скрыть от домашних всю серьезность моих опасений, потому что пока еще никто не доказал, что опухоль заразна, я стараюсь превратить все это в шутку: с преувеличенной осторожностью, словно это не собака, а заряженная мина, на цыпочках обхожу ее, держась притом за подол своей рубашки, так чтобы она возможно плотнее облегла мое тело, а миновав опасную зону, с визгом бегу и ныряю в постель, как в блиндаж, закрываясь одеялом с головой, — только у директора нашего института такая сильная струя мочи — после него в унитазе еще долго держится пена, как будто туда вылили ведро пива, — он никогда не закрывает за собой кабинки, потому что правая рука у него парализована в результате заболевания, которое он перенес в молодости во время экспедиции, заразившись микробом, который он искал, и засунута в карман брюк — иногда он вынимает ее здоровой левой рукой и кладет на стол, как постороннюю вещь, — наполовину высохшую, со скрюченными неразгибающимися пальцами, чем-то напоминающую недоношенного младенца, а в левой руке он держит портфель, потому что в уборную он заходит обычно по пути в свой кабинет или уезжая куда-нибудь, — левая рука у него очень крупная, хотя и белая, — я сам видел, как во время банкета, проходя мимо новой сотрудницы, он ущипнул ее за грудь этой рукой — он сделал это походя, мимоходом, и, вместе с тем, как бы озорничая, словно подкрутил какую-то недозволенную гайку, — сотрудница продолжала сидеть за столом, как будто ничего не случилось, — может быть, именно в этом кроется секрет его успеха у женщин? — к этому времени из угла его рта уже стекала струйка слюны — следствие перенесенного заболевания и первые признаки начинающегося опьянения — он танцевал, выпятив вперед грудь, не разбирая музыки, прижимая к себе партнершу левой рукой, чуть наклонив и сособочив голову, теряя слюну, а в перерывах между танцами он подходил к какой-нибудь группе сотрудников, врезаясь в них плечами словно ледокол, — они тут же почтительно расступались, а он отдавал какую-то команду, потому что тут же начиналась беготня сотрудников от одной группы к другой, и иногда даже

прекращалась музыка — высокий, прямой, чем-то похожий на Петра Первого, он принимал в левую руку услужливо принесенную ему кем-нибудь из сотрудников рюмку с коньяком, которого к тому времени на столах уже не оставалось, — музыка смолкала, и он произносил здравицу в честь кого-нибудь из иностранных гостей — лицо его светилось блаженством и добротой — он обходил столы, наклоняясь к сотрудникам, он что-то говорил каждому из них, похлопывал по плечу, а иногда даже гладил по волосам — в пятьдесят втором году он отказался уволить врачей, считавшихся неблагонадежными, и его должны были исключить из партии, но он не прекращал воевать с высокопоставленными лицами и даже с министром, и в конце концов, его сняли с директорства и сделали заместителем директора, но даже сейчас, попадая в кабину после него, я испытываю чувство приобщения к каким-то высшим сферам и не спускаю воду из бачка, воображая эту кипящую внизу пену нашим совместным производением или даже лично моим, — он обычно приветствует меня коротким, едва заметным кивком головы, но при последней нашей встрече он, увлекая меня вглубь уборной, потому что я уже собирался выходить оттуда, а он только зашел туда — при последней нашей встрече он вдруг заговорил со мной о моем повышении в должности — тяжелый портфель оттягивая его плечо, и от этого казалось, что его другое плечо, обращенное ко мне, было еще выше, чем обычно, он смотрел на меня сверху, чуть скосив на бок голову, словно рассматривал какое-то неведомое насекомое, впервые попавшееся ему на глаза, — я бормотал слова благодарности и кивал головой раньше времени, не дослушав его аргументов, — он увлекал меня все дальше и дальше и уже начал расстегивать ширинку, держа в той же руке портфель, а я благодарил, но теперь он уже не директор... Я иду вниз по асфальту, а пес семенит по насыпи, обнюхивая кустики, как будто он что-то потерял там, в иных местах пуская такую же сильную, но уже короткую струю, как бы завершая тем самым поиски потерянного и утратив к нему интерес, — его внимание уже целиком привлечено следующим кустиком — нас связывает только поводок, и он не натянут, а волочится по земле, но пес отлично чувствует дистанцию, и, если поводок задевает о куст, он не пытается идти дальше, а обходит куст с моей стороны, — жена уверяет, что собака наша очень умная и добрая — к сожалению, это так, потому что собаки обычно бывают похожи на своих хозяев, хотя в своем уме я не очень

уверен, если под умом понимать способность правильно разбираться в окружающей обстановке и в людях — интеллект же у меня есть — в этом я не сомневаюсь, но ведь ум и интеллект где-то совпадают друг с другом, то есть настоящий ум немислим без интеллекта, и, следовательно, я опять сомневаюсь, теперь уже в интеллекте, впрочем больше для кокетства, потому что на самом деле я убежден в своей сверхинтеллектуальности и требую от жены подтверждать это, тем более, что именно она еще когда-то очень давно, когда мы только поженились, в порыве злобы, поссорившись со мной, выпалила мне, что я не очень умен, — я хорошо помню, мы шли по улице и как раз в этот момент проходили мимо ямы напротив окна подвального этажа — на дне ямы было темновато и в окне, кажется, была решетка, чтобы не влезли воры, — тогда еще жителей не начали переселять из подвалов, и я готов был броситься на дно этой ямы. — “Что же, значит, я дурак?” — спросил я ее, готовый уже ко всему, потому что в тот момент мне терять уже было нечего, и тут она мне пояснила, что я не умен только в практическом отношении, но, когда мы переходили улицу, мне удалось добиться от нее того, что она созналась, что все это она сказала только “со зла”, и в последующие годы эта формулировка совершенно успокаивала меня, но потом я стал раздирать на себе халат или ночную сорочку, потому что, если “со зла”, то, значит, в тот момент, она все-таки так думала, и теперь она готова даже подтвердить, что я Лев Толстой или Миклуха-Маклай, но когда я делаю ей какое-нибудь замечание по хозяйству, особенно в присутствии моей мамы, она не может сдержаться себя: “Катись в задницу!” — кричит мне она из ванной комнаты — она работает в каком-то проектном институте, и когда я звоню ей по телефону, я вежливо прошу позвать ее, и кто-нибудь из ее сотрудниц так же вежливо и почтительно справляется, что ей передать, потому что она сейчас находится у начальника, — “Значит, я дерьмо?” — кричу я, врываясь в ванную, — когда я иду по коридорам института, в котором я работаю, почти все сотрудники здороваются со мной первыми, потому что я состою в комиссии народного контроля — заходя ко мне в комнату, они осторожно присаживаются на краешек дивана, а я, извиняясь, отодвигаю свой портфель, чтобы им было удобнее сесть и чтобы не помялся завтрак, который жена дает мне утром с собой, — она стоит голая, собираясь принимать душ, чуть согнувшись, прикрывая руками грудь, как это делают все голые женщины.

ны, — наверное, они так же стояли в Освенциме или в Майданеке перед расстрелом — “Значит, я дерьмо?” — кричу я, потому что, что же еще может быть в том месте, кроме дерьма, и в этот момент мне совершенно ясно, что она считает меня ни на что не пригодным дерьмом, и я даже вижу форму этого дерьма, и это дерьмо — это я, и все это из-за нее — она собирается открыть воду, как будто ничего не случилось, у нее подчеркнута отчужденное выражение лица — неужели она не понимает, что она наделала? — ведь я теперь не смогу даже почитать перед сном книгу, потому что какая же радость читать книгу, если в это время осознаешь себя дерьмом? — я бы задушил ее собственными руками, и мне нисколько не было бы жаль ее — я ненавижу ее лицо, намазанное каким-то очередным кремом, как будто его заляпали целым тортом, и ее тело, которое одновременно вызывает во мне желание и оттого кажется мне еще более ненавистным, — “Значит, я дерьмо?” — кричу я — мне даже хочется теперь, чтобы она подтвердила это, чтобы иметь законное право задохнуться в своей ярости и задушить ее, и я даже воздеваю правую руку вверх, словно произношу “Рот фронт!”, заклиная ее ответить мне наконец, — она делает испуганное движение всем телом, словно уклоняясь от удара, в глазах ее выражение животного страха, и я вдруг понимаю, что действительно замахнулся на нее — у нее много седых волос и морщины на лице, которые она старается устранить с помощью каких-то кремов, но делает это она нерегулярно, потому что, придя с работы домой, принимается за готовку обеда и потому что я не переносу вида и запаха этих кремов, и она делает это тайком от меня — я иду к себе в комнату, сажусь за стол и стараюсь чем-нибудь заняться, но чего стоят все мои занятия, если я дерьмо — эта мысль мешает мне понять смысл фраз, которые я читаю, а уж о том, чтобы взять в руки карандаш или кисть, не может быть и речи, — я снова вхожу в ванную — она моется под душем, подставляя под него спину так, как будто ее чешут, — “Значит, ты считаешь, что я дерьмо?” — спрашиваю я ее, готовый снова воспламениться, — “Глупости говоришь” — отвечает она мне — эта формулировка наиболее устраивает меня, потому что она уже давно принята женой на вооружение, — именно это я и хотел услышать от нее, но ведь все-таки она же сказала ту фразу — интересно, как она выкрутится из этого положения, хотя я сам уже вижу кое-какой выход и, может быть, именно поэтому решаюсь задать последний, решающий вопрос: “А поче-

му же в задницу?" — "Так ведь дерьмо же из задницы, а не наоборот" — этот логический довод, которого я и ждал, окончательно успокаивает меня, но напоследок на всякий случай я еще раз спрашиваю: "А кто же я в таком случае?" — "Ты талантливый" — отвечает она мне, растирая себе спину длинной мочалкой, и я выбегаю из ванной, как выбегает из магазина покупатель, получивший двойную дозу какого-нибудь дефицитного товара. Земляная насыпь кончается, мы поворачиваем налево и идем вдоль высокого нелепого здания — оно называется "Домом Скульптора" — центральная часть его была построена еще до войны — посередине этой подковы находится огромная арка, через которую свободно могла бы проплыть целая баржа — в этой арке постоянно гуляет ветер — из скульпторов в этом доме почти уже никого не осталось, но к центральной части пристроили два боковых крыла — они ниже центральной части, и их заселили работниками одного очень ответственного министерства — со стороны набережной, куда обращена вогнутость подковы, дом этот напоминает человека, широко расставившего ноги и всей силой удерживающего рвущихся от него двух подростков, — на пустыре перед домом пес начинает петлять и усиленно нюхать землю — я покорно следую за ним, потому что даже арестантам положена прогулка и разрешается отправлять естественные надобности — несколько раз он уже горбит спину и поджимает зад, и я даже останавливаюсь, но нет! — ему для этого обязательно надо влезать на бугор, да еще освещенный фонарем, и хотя на этом пустыре постоянно гуляют собаки со своими хозяевами и он весь покрыт собачьим пометом, в который то и дело вступаешь, официально здесь не положено прогуливать собак — посередине пустыря возвели какой-то аттракцион для детей, а к новому году рядом с аттракционом в утопанный снег втыкают елку с зажженными лампочками и каждую весну на пустыре правильными рядами высаживают какие-то прутики, которые, наверное, должны превратиться в деревья, но они так и остаются голыми до конца лета, а потом вообще куда-то исчезают — пес взобрался на самый высокий и самый освещенный бугор, так что его, наверное, видно даже с противоположного берега реки — жители этого дома, для детей которого предназначена эта площадка, имеют все основания сделать мне замечание или даже сказать какую-нибудь грубость, потому что у нас в стране дети находятся на особом положении — на родительских собраниях и учителя, и родители

говорят "Наши дети" — обе стороны пользуются словом "наши", чтобы поставить себя в неуязвимое положение и в то же время продемонстрировать общность своих интересов, и против этого нечего возразить, — однажды, когда я шел с собакой уже по ту сторону Дома Скульптора, где на уже бесспорно цивилизованных газонах растет зеленая трава, один из жителей бокового крыла сделал мне замечание, когда собака помочилась на бетонный телеграфный столб, стоящий на самом краю газона, — "Здесь гуляют дети" — сказал он, и с тех пор, завидев по ту сторону дома встречную фигуру, особенно если это мужчина, я беру пса на короткий поводок, а он именно в этот момент как раз тянет меня к столбу, мимо которого мы проходим, и я злобно и даже с каким-то радостным ожесточением дергаю его за поводок, так чтобы ему было больно, потому что ведь это из-за него у меня могут быть неприятности, и я готов пнуть его ногой, потому что это мне дозволено, и тут я могу отыграться, но все-таки я стараюсь этого не делать при посторонних, потому что они могут вступить за собаку, и я делаю это исподтишка — он опорожняет свой кишечник на самой вершине бугра, почти на самом скрещении двух снопов света от двух прожекторов, призванных освещать аттракцион для детей, а я стою внизу, почти бросив поводок, глядя куда-то в сторону, с отрешенным видом, как будто пес не имеет ко мне никакого отношения, и уж за действия которого я во всяком случае не несу никакой ответственности, — я бы с удовольствием стянул его с этого бугра, так чтобы он переломал себе ноги — примерно такое же чувство я испытываю к израильтянам, когда они предпринимает какие-нибудь акции. Мы обходим стороной скопление собак, которых выгуливают их владельцы, — мы давно уже обходим их, потому что пес мой отскакивает от маленькой собачки, которая, уже издали завидев его, с лаем бросается к нему под ноги, а он трусливо отскакивает в сторону вместо того, чтобы придушить ее, — хозяин собачки, лица которого я так и не рассмотрел до сих пор, потому что все это происходит вечером, когда уже темно, подзывает ее к себе и даже кричит на нее, но делает это он формально — в глубине души он несомненно торжествует — я испытываю к нему чувство враждебности — мне почему-то кажется, что он бывший полярный летчик, наверное, потому что зимой он носит какие-то меховые сапоги, похожие на унты, — в последнее время, завидев нас, он берет свою собаку на поводок, и это кажется мне еще

более обидным — несколько раз я даже захватывал с собой плетку, которую мы когда-то приобрели, чтобы дрессировать нашего пса, но она так и висит без применения над его логовом, потому что мне достаточно произнести слово "плетка", чтобы он покорно попятился из комнаты в коридор, — припрятав ее под пальто, я строил планы заманивания и избияния собаки полярного летчика, но каждый раз он оказывался рядом — отойдя от собак, я дергаю нашего пса за поводок, стараясь сделать ему больно, или нарочно стараюсь наступить ему на лапу и называю его самыми оскорбительными именами, а он с недоумением и страхом поглядывает на меня — наверное, он думает, что как-нибудь не так идет, — виновато прижав уши, он семенит возле меня трусливой рысцой, а когда поток моих оскорблений достигает апогея и я начинаю пинать его ногой, он уже почти ползет на брюхе — жена уверяет, что поведение нашего пса есть результат благородства, смешанного с чувством собственного достоинства, а что с собаками, равными ему или превосходящими его, он обязательно вступил бы в бой, и что ей самой приходилось даже несколько раз оттащить его от каких-то крупных и свирепых собак, чтобы он не сцепился с ними, — смутно надеясь на это, я стал специально проводить его поблизости от крупных собак и даже потихоньку науськивал его на них, но он проходил мимо, не замечая их, а они не замечали его, пока сын не сказал мне, чтобы я не очень нарывался, потому что пес наш не умеет драться, и его загрызут — в этот момент мы шли втроем — сын, собака и я, и как раз заворачивали за угол Дома Скульптора, миновав какую-то овчарку с хозяином, с которой они вяло обнюхались, — я решил, что это обычный навязчивый страх сына за нашу собаку и даже ускорил шаги, завидев впереди черного терьера, с которым совсем неплохо было бы сцепиться, но одновременно я почувствовал, что что-то во мне надломилось, потому что сын намного трезвее меня, и пока мы обходили угол дома, освещенный фонарем на деревянном столбе, который еще почему-то не сменили на бетонный, он рассказал мне, что они не хотели мне говорить этого, но недавно, когда жена прогуливалась с собакой напротив нашего дома по соседству с деревянным двухэтажным домом, в угол которого въехал грузовик и который я сейчас вижу из окна нашей кухни, они встретились с так называемым армянским боксером — мы так прозвали его, потому что его хозяева армяне — очень крупным псом с некупированными свисающими ушами, что странно

не вяжется с его могучей грудью и придает ему щенячий вид, и он бросился на нашего пса и вцепился ему зубами в шею, и наш пес даже не пытался сопротивляться, а покорно стоял, пока армянский боксер грыз его и пока хозяин не оттащил его, и потом жена смазывала йодом его раны, но они решили все это скрыть от меня, чтобы я не возненавидел окончательно нашу собаку, — на мгновение я даже остановился и закрыл глаза — в далеком уральском городе по высокому берегу реки, состоявшему из белых пород известняка, шел мальчик, почти уже подросток — он гулял не один, а с шефом отца по госпиталю, высоким крупным человеком с крупным мясистым лицом и такими же мясистыми руками — добродушно улыбаясь, он открывал два ряда ослепительно белых зубов, и эта ослепительная белизна его зубов и добродушная улыбка сохранились у него до самой смерти — отец его был охотничьим торговцем и разрубал мясо и кость топором с одного маха — сам же он был лучшим хирургом в стране, и непонятно было, как его огромные руки могли совершать столь тонкие манипуляции — и с его сынишкой, совсем еще мальчиком, — ослепительно светило солнце, отражаясь в чужой и широкой реке, протекавшей где-то внизу у подножья белого известнякового обрыва, — от группы мальчишек, сидевших на куче известняка, отделился один — он был меньше подростка, но он спокойно подошел к нему, как будто хотел что-то спросить у него, и дал ему оплеуху, тоже очень спокойно, словно он хотел убить муху, севшую подростку на щеку, и так же спокойно назвал его двумя самыми обидными словами, с которыми подростку до этого почти не приходилось сталкиваться, после чего он снова отошел к мальчишкам с сознанием выполненного долга — шеф отца с сыном шли чуть впереди, а может быть, они просто ушли вперед, чтобы подростку казалось, что они ничего не видали, — он шел с горячей щекой, втянув голову в плечи, боясь даже оглянуться, чтобы это не повторилось снова, проникаясь постепенно чувством вины, потому что не мог же тот мальчишка сделать это все ни с того ни с сего, да еще с таким спокойствием — каждый раз, когда в автобусе или в электричке мне напоминают об этом, я испытываю такое же чувство вины и лишь потом, когда уже нет возможности действовать, я распляю свое воображение картинками мщения — одна изысканней другой — может быть, это чувство вины — спасительное средство, потому что жить с сознанием неотомщенности оскорбления невыносимо, и

поэтому сам придумываешь себе какую-то вину, а, может быть, просто это свойство, передающееся из поколения в поколение, — в пятьдесят втором году все с той же ослепительно-добродушной улыбкой на мясистом лице лучший хирург страны, ставший к тому времени директором института, постарался освободиться от тех врачей, которые могли рассматриваться как неблагонадежные, а его сын, к этому времени ставший уже подростком, выводил на стенах дома, где они жили, слова, созвучные поступкам отца, — он пошел по стезям отца, стал врачом и в качестве такового совершил одно чрезвычайно экзотическое путешествие, окончательно прославив своего отца, но на его фотографии, помещенной в газете, я никак не мог найти хоть каких-нибудь черт сходства с маленьким белесым мальчиком, который шел со своим отцом чуть впереди меня, под ослепительным весенним солнцем по высокому берегу, состоящему из известняковых пород, над текущей где-то внизу чужой, широкой рекой — открыв глаза, я увидел сына — мы все еще стояли под светом фонаря, между нами собака, с недоумением поглядывая на нас — почему мы остановились — он выше меня ростом, сутулый, тонкий, с неопрятной прической — волосы его уже доросли до плеч и завиваются там колечками — с очень худыми и тонкими, почти детскими руками — лицо его на миг превратилось в футбольный мяч — таким оно было в тот день, когда я приехал с работы, а он лежал в своей комнате с совершенно заплывшими глазами, неузнаваемый, чужой, со сломанными зубами — “Тебя же избили!” — воскликнула жена утром, увидев его, потому что он пришел поздно ночью, когда все спали, и утром сказал, что он просто упал и разбился, — впрочем, он и сам плохо помнил, что было потом, — хозяин дома, высокий худощавый парень в джинсах и в кашне, небрежно переброшенном через плечо и свисающим до самых бедер, лукаво, по-заговорщицки подмигнул ему, словно хотел ему сообщить какую-то очень интересную новость, они вышли из-за стола, оставив там гостей — несколько молодых людей в таких же шарфах, небрежно обернутых вокруг шеи, словно у них у всех была ангина, двух-трех девиц в джинсах с распущенными до пояса волосами и целую батарею бутылок из-под сухого вина — в передней голоса сидевших в комнате заглушались звуком магнитофона — сухой кулак с выступающими острыми костяшками надвигался откуда-то издалека, словно из другого мира, и все это казалось ему неправдоподобным, как будто он

смотрел на сцену через уменьшительное стекло бинокля — все это не могло иметь к нему никакого отношения — пока кулак этот не вырос до гигантских размеров, загородив от него лицо хозяина, на котором теперь почему-то появилась злобная ухмылка, люстру в передней, раскачивающуюся от звуков музыки и хриплых, что-то поющих голосов, погрузив его в странную темноту и глухоту, словно погасло электричество, а уши его забила ватой, — несколько раз ему все же удавалось выплыть из этой темноты, хотя уши его по-прежнему были забиты ватой, — он лежал на чем-то, кажется, на раскладушке, над ним поочередно появлялись чьи-то лица — иногда он узнавал их — кажется, это были те, кто сидел за столом, — они боялись, как бы он не отдал концы и приходили удостовериться в этом — хозяин дома в это время говорил по телефону с бабушкой, позвонившей внуку, что пора домой и что это необузданно сидеть так долго в гостях и пить водку, — поигрывая голосом, потому что он учился на актерском отделении, хозяин в сдержанно-благородных тонах рассказывал бабушке о том, что они немного перепоили его и теперь приводят его в себя, но пусть она не беспокоится, если нужно, они проводят его до дома — кто-то снял с него водолазку и даже майку, потому что они были залиты кровью, и одна из девиц пыталась даже постирать ее — гости почти все разошлись — на него натянули майку и водолазку — он стоял в передней, люстра снова раскачивалась, хотя музыки уже не было, и подруга хозяина дома — одна из девиц с распущенными волосами — угрожала ему уйти, но он почему-то не хотел уходить — лицо его уже вспухло, но еще не было синим, возле угла рта подсохла струйка крови, и девица вытерла ее своим носовым платком, чтобы не было никаких следов крови, и, так как он упорно не хотел уходить, она пригрозила ему, что сейчас явится хозяин дома, и вложила ему в руку рубль на такси — было уже очень поздно, он шел по какой-то очень широкой и темной улице — наверное, это было Садовое кольцо — улица была похожа на ночную реку с плывущими по ней редкими красными огоньками, и ему нужно было переплыть эту реку — потерянный им в ту ночь медальон с изображением распятия, который он носил на груди на тоненькой цепочке, он сменил на другой, а его школьный глобус, стоящий у него в комнате на книжном шкафу, всегда повернут теперь так, что африканский континент кажется самым крупным на всем земном шаре. Обойдя Дом Скульптора

с тыла, откуда он, также как и со стороны набережной, кажется расставившим ноги гигантом с прилепившимися к нему по бокам двумя неслухами-подростками, но только с этой стороны не они рвутся от него, а он волочит их за собой, а они упираются изо всех сил — обойдя этот дом, мы с псом снова оказываемся во дворе нашего дома — по асфальтированной дорожке, проложенной вдоль края газона, взад и вперед расхаживают лифтерши, ревностно охраняющие подъезды нашего дома от вторжения точильщиков ножей, женщин с мешками картошки или с бидонами или ребят из соседних домов, но когда во дворе появляются пьяные или просто подвыпившие, они мгновенно исчезают куда-то, словно их сдувает ветром, — когда я выхожу из подъезда или возвращаюсь домой, они провожают меня почтительным взглядом, словно я занимаю какой-то важный пост или, по крайней мере, известен своей скандальной репутацией и временно нахожусь в опале, и в этот момент я действительно проникаюсь ощущением собственной значительности, но чтобы окончательно не подавить в них чувство собственного достоинства и продемонстрировать свой демократизм, я всегда здороваюсь с ними первым — правда, после некоторой паузы, чтобы это не выглядело заискивающе, — их почтительность распространяется даже на собаку — “Ишь подмерзли, лапки поджимают”, — говорит кто-нибудь из них, придерживая дверь и пропуская рвущуюся домой собаку, и это кажется мне даже немного обидным, потому что прежде надо было бы пропустить меня. Еще идя по двору, я вижу три освещенных окна нашей квартиры и в среднем из них фигуру моей мамы — она смотрит в окно — впрочем, может быть, это не она, а китайская ваза, которая стоит у нее на подоконнике, — я очень часто путаю их — она обычно смотрит в окно, поджидая меня или моего сына, но, увидев, что мы заметили ее, тотчас исчезает, чтобы мы не думали, что она нас ждет и вообще интересуется нами, потому что, уходя из дома, сын не надел кальсон и теперь может простудиться — она назвала его идиотом, а он в ответ запустил в нее ночной тупфлей — от тупфли она увернулась, но крикнула, что он негодяй, хлопнув при этом дверью своей комнаты так, что с потолка посыпалась штукатурка, а когда я вступился за сына, она снова выскочила из своей комнаты и, стоя в дверях с трясущейся нижней челюстью, с дрожащими не то от старости, не то от бессильного гнева руками, ища и не находя какой-нибудь предмет, которым можно было бы запустить в меня, назвала

меня тоже негодяем и снова, теперь уже окончательно хлопнула дверь, так что из двери вывалился ключ, и, кроме того, с тех пор, как глобус в комнате сына находится всегда в одном и том же положении, она стала ортодоксальной марксисткой и нехватку апельсинов объясняет возросшим благосостоянием народных масс — каждый вечер, перед сном, я делаю ей инъекции против гипертонии — спустив трико, она ложится животом вниз на свою тахту, словно опытный пловец на воду, — ее белые не по возрасту ягодички утыканы точками — следами от уколов — но все-таки в значительной мере они потеряли свою эластичность и, кроме того, они слишком узки, чтобы вместить такое количество уколов, — все так же лежа на животе, она шарит рукой по своей ягодичке, указывая мне на наиболее подходящее с ее точки зрения место, — на ее третьем пальце, которым она особенно тщательно прощупывает свою ягодичку, надето золотое кольцо с маленьким бриллиантом — она никогда не снимает его, но оно сидит уже не так плотно, как прежде, и, по-моему, его даже можно повернуть, потому что руки ее похудели, и по-старчески выступают суставы на пальцах — ее сердце работает уже почти восемь десятков лет, и это какое-то чудо — ведь оно точно так же сокращалось еще в прошлом веке — я пытаюсь представить себе его — несколько гипертрофированное от столь длительной работы, оплетенное склерозированными сосудами, словно жгутами, чем-то похожее на муляж, который выдают студентам для практических занятий по анатомии, — оно и сейчас бьется даже во сне, а рядом, возле ее изголовья, на низкой табуретке, чтобы, в случае чего, не надо было тянуться к ночному столику, разложены медикаменты, рассортированные в соответствии со своим назначением: отдельно снотворные, отдельно сердечные, отдельно гипотезивные, и рядом с ними блюдечко с водой и пачка горчичников, срок давности которых не должен превышать трех месяцев, иначе они будут недостаточно эффективны, и тут же чашечка с водой, чтобы можно было запить таблетки, а возле противоположной стены ее комнаты, на письменном столе, под стеклом, освещенным полосой раннего утреннего света, пробивающегося сквозь щель между двумя плотно задернутыми занавесками, в несколько рядов расположились семейные фотографии, словно сцены из жития святых, составляющие общее панно: молодой лейтенант с одним кубиком в петлице и лихо сдвинутой набекрень пилотке с серьезными глазами, в которых, готово, однако, про-

мелькнуть что-то шальное; молодая женщина в высокой меховой шапке и меховом пальто, которые носили в прошлом веке и носят сейчас, снятая на фоне Эйфелевой башни, — вся фигура ее выражает полное и безоговорочное етансірее; она уже в длинном платье, подчеркивающим ее статную фигуру, сидя на стуле с высокой старомодной спинкой, чуть опершись локтем на раскрытую книгу, лежащую на инкрустированном столике, в позе “Незнакомки”, задумавшейся о смысле жизни; сухощавый, но вполне корректный и солидный господин с острой бунинской бородкой и усами, которыми он уколос внука, прощаясь с ним перед тем, как ему ввели морфий; полная низкорослая женщина, прячущая отвисающую нижнюю губу в эпикурейской улыбке, позади нее на втором плане снятые в нарочитом нефокусе корпуса дома творчества художников — когда ее муж, ставший известным академиком, уезжает за границу, она переселяется к нам, потому что с тех пор, как ей пришлось уйти на пенсию, она впала в состояние психической депрессии — она уже не может больше писать статей по искусствоведению и считает, что безнадежно отстала от современной советской живописи — для нее расставляется раскладушка в комнате ее сестры рядом с письменным столом с фотографиями — до обеда она валяется на ней, как куча тряпья, поднимаясь только, чтобы пойти в уборную, — выйдя оттуда, она неуверенно, с оглядкой гасит свет, как будто что-то позабыла там, но готова примириться с этим, потому что теперь это ей все равно, к концу дня она немного оживляется и шаркающей походкой, заложив руки за спину, входит ко мне в комнату — стараясь не замечать моих альбомов и карандашных набросков, лежащих передо мной на столе, она спрашивает, как обстоят дела с моей научной монографией, и переводит разговор на тему о бренности бытия — иногда она пытается взвесить на ладони с искривленными пальцами невидимую головку сыра или сахара, но где-то на середине роняет ее — махнув рукой, она проводит ею по шее, издавая при этом характерный хрипящий звук, но делает это она очень тихо, по-заговорщически подмигивая мне, потому что только мы с ней можем понять друг друга; рядом с этой фотографией пожилой, почти уже старый человек в тяжелом пальто и в профессорской шляпе на фоне больничного здания — снимок запечатлел только верхнюю часть его туловища и лицо, но по наклону его корпуса видно, что он шел куда-то, но его остановили и заставили сфотографировать-

ся — он насмешливо улыбается, как будто собирается состричь по чьему-то адресу, но в улыбке его больше грусти, чем насмешки, так что кажется, что эта его насмешка адресована к нему самому; он же, в предоперационной, в белом колпаке и халате, рукава которого закатаны до локтя, в руках он держит не то марлевую салфетку, не то маску, к отвороту его халата прикреплен корнцанг, который, возможно, заменяет собой отсутствующую пуговицу, с подбородка его свисают дряблые складки, выражение его лица, обращенного куда-то вверх фотографа, скорбно, почти трагично, словно он видит и предугадывает то, чего не видят другие; черноволосая женщина-врач, уже не молодая, но еще не старая, в белом халате и колпачке, у себя в кабинете за столом — руки ее лежат на раскрытой истории болезни, рядом стетоскоп, который и сейчас стоит на ее письменном столе, рядом с фотографиями, на третьем пальце ее левой руки кольцо с маленьким бриллиантом, который не виден на снимке, — выражение ее лица спокойно и рассудительно — она полная хозяйка в своем терапевтическом кабинете, но никогда не использует своего служебного положения и отличается удивительной объективностью по отношению к подчиненному ей персоналу, за что пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди сотрудников всей поликлиники, зримая и незримая хозяйка в своем доме — сын, живущий в Подмоскowie, то и дело звонит ей, чтобы узнать, не опасны ли появляющиеся у него временами незначительные болевые ощущения в левой икроножной мышце или ощущение инородного тела в правом глазу — не опухоль ли это — и ему достаточно услышать ее голос, чтобы успокоиться, но она категорически против того, чтобы он сам водил машину, потому что он может разбиться, муж ее, хоть и страдает диабетом, иногда после работы, не заходя домой, поднимается этажом выше, в основном придерживается предписанной ему диеты — она неукоснительно следит за этим, внук живет с ними, потому что бытовые условия у них лучшие, чем у сына с невесткой, и, кроме того, здесь он имеет возможность учиться в музыкальной школе, куда его отводит Настя и затем приходит за ним — бабушка тщательно следит за его успехами и регулярно беседует по телефону с классной руководительницей, а внук души не чаёт в бабушке — между женщиной-врачом, сидящей за столом в своем кабинете, и старой женщиной, спящей сейчас с полуоткрытым ртом, в черном распахе которого виднеются беззубые

десны, имеется весьма отдаленное сходство, которое, однако, становится более заметным, когда она иногда выходит к гостям, надев зубной протез и синий шерстяной костюм с небольшой золотой брошью — в такие минуты мне хочется рассказать ей, что меня не устраивает моя работа, но она с молчаливым неодобрением следит за тем, как я пью вино, а после четвертой рюмки она вообще уходит из-за стола, чтобы не видеть этой разнузданности и не быть свидетельницей того, как я собственными руками гублю себя и своего сына, подавая ему пагубный пример, и уж совсем никакого сходства нельзя отыскать между спящей старой женщиной и стриженной курсисткой, с которой хочется пофлиртовать и фотография которой лежит рядом с женщиной-врачом в белом халате; на следующей фотографии — болезненно-толстый мальчик с челкой и с нездоровыми кругами под глазами — он стоит, опершись на велосипед, и в центре всего этого большая семейная фотография, словно собор апостолов, — здесь мальчик еще совсем мальчик в матросском костюме, с оттопыренными ушами, обняв дедушку за шею, бабушка с седыми волосами — такой мальчик запомнил ее на всю жизнь, — сидит в первом ряду возле дедушки, она сидит очень прямо, словно не имеет к дедушке никакого отношения, вытянув шею, так что на ней отчетливо выделяются два сухожилия, натянутые, как струны, молодой лейтенант в костюме, с зачесанными на пробор гладкими волосами, — он присел на спинку стула во втором ряду сбоку, чтобы не быть выше остальных, и потому кажется, что он ниже их ростом, и чуть в стороне, тетка мальчика и ее муж в больших круглых очках, чем-то похожий на филина, которого ослепили фотовспышкой, идиллически прижавшиеся друг к другу, стриженная черноволосая женщина, чем-то еще напоминающая курсистку, — она стоит рядом с ними, но отдельно от мужа, потому что семейная фотография сделана как раз в разгар ее романа с врачом-бактериологом — в семье мальчика его называли: “Бэ-Мэ” — по первым буквам его имени-отчества — это сокращение должно было обозначать некую запретность, которая, однако, почему-то допускалась, — у Бэ-Мэ была пышная седеющая шевелюра, широкие, чуть вывернутые ноздри, из которых торчали волосы, и он дышал с сопением, как будто у него были аденоиды, — его сослали куда-то на Север, за полярный круг, и мать мальчика даже ездила к нему туда — мальчик пытался представить себе комнату, в которой он жил, — небольшую, в деревян-

ном доме, — заметенном пургой, с заиндеветшим окном, за которым даже днем была ночь, потому что мать ездила туда дважды и оба раза зимой — когда он уходил на работу, она готовила на керосинке обед и прислушивалась, не идет ли он, а ночью они оставались вдвоем в полной тьме, его мать и чужой мужчина с волосами, росшими из ноздрей, — она видела там полярное сияние и потом рассказывала об этом, даже при отце, но в семье мальчика считалось, что она имела на это право, потому что муж ее был психически больной человек, и если она не развелась с ним, то только потому, что он угрожал покончить с собой и, прежде всего, ради сына, отец сидит в первом ряду, возле дедушки, сложив на животе руки с короткими и толстыми пальцами, как на фотографии в предоперационной, когда он держит в руках не то маску, не то марлевую салфетку, глядя сквозь очки куда-то мимо фотографа, с высоким лбом, начинающий уже лысеть, но еще с волнистыми, чуть набок уложенными волосами — их намного больше, чем у человека с солидной плешью и с брюшком, в ночной рубаше — он уже давно разделался с халвой, тщетно обшарил буфет и холодильник в поисках чего-нибудь сладкого, помыл липкие руки и теперь лежит на своей тахте, стоящей перпендикулярно к другой тахте, на которой спит его жена, — она спит, укрывшись с головой, а иногда даже спрятав ее под подушку, спит без сновидений, возвышаясь массивной горой, — начинающая стареть тучная женщина с некогда красивым лицом, и это единственные часы в ее жизни, когда ее не мучают мысли о том, что она не хозяйка в своем доме и что лифтерши наговаривают о ней друг другу и жильцам дома, а сотрудники по работе подсовывают ей нарочно самые трудные бумаги, чтобы изобличить ее в невежестве, — он лежит на своей тахте на правом боку, потому что на спине он не умеет спать, а на левом боку не может — ровно тридцать шесть лет тому назад в это же время, в такое же раннее утро, еще неотделимое от светлой летней ночи, раскаленный солнечный шар, нависая над зубчатым краем синеющего дальнего леса, мчался вместе с ним — поезд преодолел уже больше половины расстояния — прижавшись лицом к стеклу, мальчик старался охватить взглядом все пространство, открывавшееся ему, от убегающей назад встречной колеи через покрытые туманом лощины, которые чудились ему речками, до синеющего на горизонте леса с повисшим над ним слепящим раскаленным шаром, вдыхая проникающий через невидимые

оконные щели запах полыни и паровозного дыма, — сейчас они оба заснут — пожилой мужчина с плешью, лежавший на правом боку на своей тахте, и мальчик, едущий в Москву, — мальчик заснет глубоко и без сновидений, а когда он проснется, за окном уже будут мелькать невиданные им доселе высокие дощатые платформы подмосковных дачных поселков, стареющий же человек увидит сон: он находится на перроне среди провожающих; и уезжающие, высунувшиеся из окон, и провожающие веселы — они улыбаются, обмениваются шутками, смеются, потому что это какая-то развлекательная поездка, всего на несколько дней, но он никого не провожает, и все видят и знают, и ему это очень неприятно, он чувствует себя неловко, словно человек, случайно оказавшийся на чужом празднике, — поезд трогается, и уезжающие и провожающие машут руками, что-то кричат друг другу, смеются — тогда он, чтобы никто ничего не заметил, тоже начинает махать рукой и улыбается и идет вслед за поездом, и оттого, что он начинает все это делать, ему действительно становится радостно и весело на душе, но все-таки его ни на секунду не покидает сознание, что всем известно, что он никого не провожает, а поэтому, хоть он и бежит вместе с ними, и машет рукой, и что-то кричит, его не покидает чувство собственной неполноценности, но вот поезд ушел, по перрону возвращаются провожавшие — теперь, после того, как поезд ушел, и они в таком же положении, как и он, он спокойно идет среди них, потому что ему не надо притворяться — равный среди равных.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

КИРИЛЛ ХЕНКИН
"РУССКИЕ ПРИШЛИ!"

300 стр.

14 долл.

В своей новой книге известный автор ("Охотник вверх ногами" и другие) задается вопросом о том, как формировалась "третья эмиграция". Кто столь заботливо мог отобрать своеобразный букет талантливых писателей, неунывающих стукачей, высококвалифицированных уголовников? Кто сумел бы очистить Одессу и Кутаиси от черного бизнеса, а Вильнюс и Ригу от сионизма? Кто позаботился об очистке Москвы и Ленинграда от ненадежного элемента и об укреплении кадров радиостанции "Свобода"? Читатель уже полагает, небось, что догадывается об ответе? Так вот — его ждут неожиданности...

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ЧУЖОЙ В РАЮ

(поэма)

Але и детям

когда мне делать нечего
усядусь и пою
пою мое отечество
республику мою
покинутую родину
извечную страду
печальную мелодию
на тень ее кладу
с ее лугами
чашами
с ее речной водой
заботами вчерашними
и завтрашней бедой
пою
и сердце лечится
от всех былых обид

как сладок дым отечества
когда оно горит

* * *

напишите роман
как один неприметный еврей
сорока с небольшим
инженер
обладатель диплома
забирает семью
и бежит из родимого дома
за четыре границы
и дюжину разных морей
он бежит без оглядки
гонимый
как пыль на ветру
за собой оставляя
сомнения
грехи
упованья

и могилу отца
не дожившего до расставанья
и усталую мать
и смертельно больную сестру
оставляя друзей
без которых беда тяжела
дорогих и любимых
ни дня не прожить без которых
все мосты сожжены
до конца израсходован порох
уезжаю
прощайте
а там уж
была не была

* * *

вот я стою
открытый всем ветрам
всем наводнениям
бурям
ледоходам
добру и злу
закатам и восходам
звезде в ночи
и солнцу по утрам
вот я стою
потрогайте
живой
уймите ваше разочарованье
недолго мне
уже билет в кармане
и тень беды кружит над головой
о не пугайтесь
вычурных словес
я так
на всякий случай
все от бога

письмо надежда дальняя дорога
казенный дом любовный интерес
все от него
и камень и строка
но даже он
и тот небескорыстен
как жаль
что постижение вечных истин
приходит только после сорока
как жаль
что я по молодости лет
жил как циркач
у мира на арене
приходит запоздалое прозреньё
все прах и тлен
и суета сует
все прах и тлен
и лишь душа цела
в стихи и сны упрятанная робко
зажжен очаг
и варится похлебка
и не звонят по мне колокола
отверженный
бегу от суеты
кому сказать
почем на свете лихо
нет ни души
оглядываюсь
тихо
как пусто на земле

горят мосты

* * *

я деревянный человечек
ни братом не был вам
ни другом
один как перст на целом свете
ни с кем не жил
нигде не рос
я сделан просто из полена
и острым ножичком обструган
и мне достались в дар от папы
веселый нрав и длинный нос
я к вам пришел на представленьё
я знал
что вы марионетки
и что невидимые нити
вас тянут бедных
вверх и вниз
я продал азбуку и куртку
за две паршивые монетки

чтоб хоть разок полюбоваться
на вашу кукольную жизнь
и вот
сiju на лучшем месте
беспечный мальчик буратино
а рядом плачет
и хохочет
и умиляется народ
когда выходят на подмостки
два нестареющих кретина
мне жаль пьеро и арлекина
они в трудах
который год
у арлекина шутки плоски
пьеро вздыхает по невесте
невеста бежит по саду
и отвечает свысока
стоят картонные деревья
летают бабочки из жести
собака лает
ветер носит
а в сердце
смертная тоска
а у пьеро со дня рождения
незаживающая астма
у арлекина между прочим
гипертония и склероз
они свое уже отпели
и только девочка прекрасна
мне никуда уже не деться
от голубых ее волос
звучат последние аккорды
у представленья
век короткий
умолкнет жалобная флейта
затихнет сонный барабан
а вас печальные ребята
уложат бережно в коробки
задут праздничные свечи
и опустеет балаган
и я вас больше не увижу
нелепых
грустных
и усталых
но ты
невеста в белом платье
не уходи еще
постой
забудь об этих двух паяцах
мальвина
девочка
оставь их
смотри в руке моей сверкает

волшебный ключик золотой
ты подожди и дай мне руку
о ненаглядная мальвина
и мы пойдем бродить по свету
и дверь заветную найдем
откроем ключиком волшебным
и молча сядем у камина
и свет луны
как свет надежды
с ночных небес прольется в дом
я для тебя не пожалею
ни слов
ни песен самых лучших
за дверью нашей будет счастье
ни слез
ни вздохов
ни потерь

но ради всех святых на свете
сперва спроси
на что мне ключик
когда я до сих пор не знаю
где эта запертая дверь

* * *

проснусь ни свет и ни заря
и долго буду ждать рассвета
и в синих окнах будет лето
и ночь
и блики фонаря

блаженны спящие в ночи
да будет славен
всякий сущий
кто сладко спит
на день грядущий
добыть насущные харчи
он дверь закроет на засов
и ночь заплещется прибоем
как передышка перед боем
стенных натруженных часов

проснусь ни свет и ни заря
мне раньше спалось
беспробудней
и меньше было сонных будней
и время двигалось
не зря
житейским опытом богат
теперь
торжественно и мудро
встречаю будничное утро
и молча шурюсь на закат

однажды мне приснился рай
ни возроптать
ни удивиться
едой была мне чечевица
питьем нектар
жилием сарай
нет чтобы сеять и полоть
по наущению злого гада
я съел запретный плод из сада
и тут
явился мне
господь
весь уходя куда-то ввысь
и трудным голосом играя
он закричал мне
вон из рая
чтоб духу не было
катись
куда я собственно пойду
я божьей кары не приемлю
я не хочу назад
на землю
и не хочу гореть в аду
и я тогда ему
прости
шепчу печально и покорно
землей и адом сыт по горло
туда мне больше нет пути
не прогоняй меня
старик
и тут я кажется проснулся
глухая ночь
биенье пульса
и тишина
как в этот миг

и тишина
еще ни зги
дай бог
чтоб утро было впрок нам
но вдруг
неясный стук по окнам
и чьи-то легкие шаги
но вдруг
смятение в груди
и некто
тихо и сурово
вдруг скажет три заветных слова
сейчас – начнется – выходи

я выйду в ночь
и никого
три вещих слова

как знаменье
рассвет
пожар
землетрясенье
поминки или торжество
сейчас начнется
подойдет
неслышно
к этому порогу
сейчас начнется
слава богу
недолго ждать уже
вот-вот

* * *

не спите
так грустно
а вы далеки и надуты
за окнами ветер
качается небо
не спите
куда вы уходите
в эти глухие минуты
слова угасают
и рвутся последние нити
куда вы уходите
где ваша гавань и пристань
какими словами
сказать вам что в сердце тревога
что рядом страдает
простой и нелепый
как выстрел
случайный попутчик
каких к сожалению много
пустыня меж нами пустыня
ни древа ни злака
откройте глаза
улыбнитесь печально и сонно
уже по дороге гуляет большая собака

гроза надвигается
слышите запах озона
сирень зацветает
не спите
погода коварна
но выглянет солнце
наступит такое мгновенье
прервите молчанье
тяжелое как наковальня
прервите молчанье
прекрасное как сновиденье

о чем я молчу
не о том ли
что песенка спета
а годы уходят
и в молодость нету возврата
за все в этой жизни
на что налагается вето
уплачено сердцем
а это ничтожная плата
не верьте стихам
и словам недосказанным
ибо
так просто писать
и так трудно прожить
без помарок
спасибо за встречу
за то что вы рядом
спасибо
не знал и не ведал
считаю что это подарок
живите спокойно
ничем вы себя не связали
и что вам за дело
до жизни и сердца паяца
но кажется мне
что сижу я на дымном вокзале
а поезд уходит
и сил уже нету подняться

* * *

и вдруг потянет к белому стиху
без удержу как лодку на фарватер
так нашу неразумную праматерь
тянуло к первородному греху
окончится засилье волшебства
и явятся
невтиснутые в рифму
ценимые по льготному тарифу
простые и понятные слова

и канут в мир
дай бог их не спугнуть
как чистого младенца в крике первом
не будет ни метафор ни гипербол
а только жизнь
а только смысл и суть

ах наша жизнь
коробка скоростей
не тщишь понять как этот мир печален
печальны мы
живем среди развалин
своих
чужих ли
судеб и страстей
считаем запоздалые рубли
и прочь бежим от тягот и лишений
усталые
потертые мишени
по нам
по нам
все пушки мира
пли

(...Та девочка, которая была
моею самой первой любовью,
бессонницей моей неразделенной, –
той девочки уже на свете нет.
Есть женщина, с которой я знаком
с тех давних пор – треть жизни, четверть века,
и судьбы наши так непараллельны,
что пусть в гробу застрелится Эвклид,
а им уже вовек не пересечься.
Но по ночам я вижу странный сон:
распахнут мир, и раннею весною
стою один у старых школьных стен.
Еще я мальчик, полный ожидания,
еще живут мои учителя,
и все – еще, и лишь одно – уже,
уже известно таинство рожденья
ничтожных, но рифмующихся слов,
и сладкий хмель в душе моей, а мимо,
а мимо эта девочка идет,
предмет моей любви и вздыханий.
Я ей кричу: останься, подари
на память мне хоть пару нежных слов,
улыбку, взгляд, руки прикосновенье,
и счастлив я на много дней вперед!
Кричу, зову, а девочка уходит,
уходит, как проходит сквозь меня...
Я ей гляжу вослед – и просыпаюсь,
и горько мне, и стыдно, как тогда,
как будто это был не сон, а явь,

как будто вот она – рукой подать –
прошла и не оставила надежды...
О жалкая ирония судьбы!
А может, это к лучшему, а может,
когда б не эта первая, смешная,
ничем не замутненная любовь,
во мне бы не жило напоминанье
о детстве и о юности, в которых
она была, как светлое пятно?..
Пути Господни неисповедимы.
Ах, девочка, узнать бы наперед,
какой нам образ жизни уготован,
какие люди ожидают нас,
где камень на дороге, чтоб споткнуться,
узнать, что жизнь – всего лишь вечный повод
найти врагов и потерять друзей...
Вот – встретились...)

и тянет
тянет к белому стиху
плывут слова торжественно и слитно
плывут как поминальная молитва
как тихий плач ребенка на духу
умолкли пушки
остановлен бег
и ночь неслышно летопись листает
а белый стих
как белый снег
ложится в душу
и не тает

* * *

кому поэзия нужна
когда
в какие времена
мой древний пращур
пасть паучья
соединил слова в созвучья
будь проклят он
его вина

горел костер
пылала сучья
на тонкой шкуре
у бревна
сидел он
первый
безымянный
произошел от обезьяны
и тут же
в строки
в письмена

с тех давних пор
я знаю рифмы
ни врубмашины ни сохи
ушли помпеи и коринфы
остались песни и стихи
зачем я мучаюсь бессонно
являя душу напоказ

у чукчей нет анакреона
и ничего
не хуже нас

* * *

когда-нибудь вернуться в отчий дом
пройти по навошеному паркету
несбыточно
туда дороги нету
но все равно
однажды летним днем

покинуть поезд
выйти налегке
вдохнуть былые запахи и звуки
закрывать глаза
и вспомнить час разлуки
слова любви
снежинку на щеке
увидеть вдруг за далью стольких лет
на краешке вечернего перрона
еще стоят
светло и отрешенно
мои друзья
и машут мне вслед

сойти в метро
доехать до Днепра
и сделать пересадку
уповая
на скорость незабвенного трамвая
глядеть в окно
потом сказать
пора
ушедшим дням
пора
моей любви
несбывшейся
пора
моей печали
последнему прощанию на вокзале
так вот он миг единственный
лови
воздай благодарение судьбе
за эту новоявленную милость
за то что ничего не изменилось
дома цветы табличка на столбе
сверкающий подземный переход
и улица
которая знакома
отсюда пять минут ходьбы до дома
ну может шесть
но кто ведет им счет
уже рукой подать
ускорить шаг
направиться к заветному подъезду
в былые дни я так встречал невесту
войти в его прохладный полумрак
взбежать наверх
вот раз
и два
и три
по вытертым ступеням
мимо лифта
нажать звонок

и тихо как молитва
он прозвучит за дверью изнутри
мой отчий дом
отрада и семья
приют моим печалям и заботам
и голос мамы тихо спросит
кто там
и я отвечу
мама это я

как блудный сын
вернувшийся с дорог
я припаду к стопам ее
и снова
взойду под сень родительского крова
о защите от тягот и тревог
и мамина печальная рука
моих седин нестриженных коснется
и что-то неожиданно проснется
в моей душе
и я наверняка
заплачу вдруг
и это будет плач
по жизни уходящей и грядущей
что я нашел
искатель райских кушей
каких я удостоился удач
плач по друзьям
по шороху травы
по синему ручью
по зимним соснам
друзья мои
как мало довелось нам
встречаться
и не встретимся
увы
плач по сестре
единственной
ушла
в тот мир где нет ни горя ни обмана
как страшно что навеки
жаль что рано
о мама
смерть глядит из-за угла
я плачу мама
тают как свеча
мои непродолжительные годы
и сладко мне
и тают все невзгоды
у маминого
теплого
плеча

когда-нибудь вернуться в отчий дом
собрать друзей
на шумное веселье
на повесть о заморской одиссее
в которую поверится с трудом
да было ли
ночные поезда
убогие ночлежки
чемоданы
чужие заколдованные страны
забыть навеки
раз и навсегда
земля круга
разрушен коллизей
мы сметены невиданным потоком
как птицы на ветру
по всем европам
могилы наших близких и друзей
но мы кто живы
дай нам бог добра
и дай нам бог
не забывать друг друга
и ждать как исцеления недуга

минувших дней
и песен у костра
все в прошлом
все потеряно
быльем
позаросло
прощайте кнут и пряник
чужой в раю
твержу как вечный странник
когда-нибудь вернуться в отчий дом

и дописать последнюю главу

хоть на часок
на сутки
ненадолго
так тянет в лес
простреленного волка

когда-нибудь

но я
не доживу

Чикаго, 1983–1984.

**С 1984 года в Мюнхене выходит ежемесячный общественно-политический,
экономический и культурно-философский журнал
СТРАНА И МИР**

Журнал обращен ко всем читающим по-русски, вне зависимости от их политической, национальной или религиозной принадлежности – живущим в СССР и за рубежом. Объем журнала 96 стр. крупного формата.

В каждом номере журнала: ежемесячный обзор важнейших политических событий; интервью и выступления политических деятелей; облик тоталитаризма; СССР – взгляды изнутри и извне; проблемы современного Запада; историческая ретроспектива; судьбы русской интеллигенции; литература и общество; религиозное движение нашего времени. Журнал иллюстрируется фотографиями и рисунками.

Стоимость годовой подписки 60 нем. марок. Стоимость полугодовой подписки – 30 нем. марок. Цена одного номера – 6 нем. марок. Доставка авиапочтой – за дополнительную плату (10 долларов в США, Канаде и Израиле, 20 долларов в Австралии и Новой Зеландии). Подписная плата принимается перечислениями на банковский счет (Deutsche Bank Munchen, BLZ 700 700 10, Konto-Nr 331 9613, Das Land und die Welt e-V), или на почтовый счет (Postgiroamt Munchen, Postcheck-Konto-Nr.22 3981-804), а также в виде чека. При посылке чека просьба добавить к подписной плате 5 нем. марок.

Один в зрительном зале

Господин Н., человек средних лет, обеспеченный и здравомыслящий, вышел из здания вокзала, оглянулся, закурил сигарету и сел в такси.

Никогда раньше он не бывал в этом городке, чистом, ухоженном, сытом и сонном.

Пообедав, господин Н. решил погулять. Он пошел по главной улице, заглянул в витрины магазинов, дал телеграмму, посидел в парке, разбитом на остатках крепостного вала.

Покупая для вечернего чтения журналы и газеты, он заметил на противоположной стороне здания, на котором большими буквами было написано "ТЕАТР".

Господин Н. перешел улицу и направился к кассе театра. Он долго стучал в окошко, пока оно не открылось.

— В котором часу начало спектакля и почему нет рекламы с названиями пьес? — спросил он высунувшегося старичка-кассира.

— Наш театр ставит только одну пьесу. Она называется "Один в зрительном зале". Вы можете купить билет и войти.

Господина Н. поразило, что в таком маленьком городке есть дневные театральные представления. Он купил билет.

В фойе никого не было. Пусто было и в зрительном

Владимир Ханелис

РАССКАЗЫ

зале. У господина Н. испортилось настроение.

“Что-нибудь модернистское”, — подумал он и решил не рассказывать об этом жене. Потом он вспомнил, что старичок-кассир не сказал, когда начало спектакля. И в эту минуту подняли занавес.

На сцене лежал маленький ребенок и плакал. “Страшно малютке в этом мире”, — подумал господин Н. Он тоже плакал, когда был маленьким.

Действие пьесы развивалось медленно, но интересно. Господин Н. все больше и больше увлекался спектаклем. Неожиданно для себя он заметил, что ему нетрудно угадать, как будут развиваться события на сцене. Больше того, господин Н. знал, что скажет, что сделает каждый из героев пьесы.

На сцене мама побила подросткового мальчика. Он лежал на ковре и плакал, не понимая, почему мама жестока.

А господин Н. знал. Его мама рассказала ему, когда он стал взрослым. Но тогда, в детстве, он тоже лежал на ковре, плакал и не понимал.

Спектакль продолжался. Господин Н. уже не сомневался, что это была за пьеса. Прошло много времени, но он ничего не забыл.

Мальчик на сцене пошел в школу, и тут окончился первый акт.

В антракте господин Н. никуда не выходил. Он сидел в кресле. Он был по-прежнему совсем один в зрительном зале. Но сейчас это его нисколько не огорчало. Наоборот, он был рад.

Антракт затягивался. Господин Н. встал и пошел узнать, в чем дело. За кулисами он увидел мальчика, маму, папу, родственников, друзей, случайных знакомых — всю труппу.

— В чем дело? — спросил он. — Почему вы не начинаете действие?

— Случилось несчастье, — ответил один из актеров, — умер рабочий сцены, и некому поднять занавес.

— Ерунда, — сказал господин Н., — я подниму, это очень просто.

Все обрадовались. Актеры вышли на сцену.

После второго акта умер учитель мальчика. Господин Н. взялся сыграть и эту роль, ведь он знал ее назубок. Спектакль продолжался. Действие развивалось медленно, но интересно.

Постепенно, постепенно господин Н. сыграл почти все мужские роли в этой пьесе. И однажды он понял, что настало время играть роль выросшего мальчика, который к этому времени стал человеком средних лет.

Актеры старели. Давно умерли мать, отец, соседи...

Господину Н. стало грустно. И он женился.

Сцена брачной ночи показалась ему слишком натуралистической. Он был консервативен в своих вкусах. Но театр есть театр, он полон условностей, и все, в общем-то, прошло благополучно.

Когда родился сын, господин Н. был на седьмом небе, то есть на колосниках. Мальчик лежал посреди сцены и плакал.

Господин Н. опустил занавес.

Но отдохнуть ему не пришлось. Он услышал какой-то непонятный шум. Никогда раньше в театре он не слышал таких звуков. Стучали.

К нему подошел старичок-кассир.

— Пришел новый зритель, — сказал он господину Н.

Полнейшая бессмыслица

Дом был заброшен. Построили его давно. Много-много лет назад в нем жили ученые. Никто уже не знал, почему они уехали. Может быть, им понравилось жить в другом месте.

Дом был заброшен людьми, но роботы продолжали их опыты и эксперименты. В пробирках кипели таинственные составы. В печах плавилась новые металлы. Роботы аккуратно снимали показания приборов, делали выводы и расчеты.

И еще в доме жили обезьяны. Тысячи обезьян.

Каждое утро обезьяны просыпались и бежали в огромный зал. Там были тысячи столов, и на них стояли тысячи пишущих машинок. Обезьяны садились за столы, заправляли в машинки тысячи листов бумаги и стучали, стучали по клавишам...

В середине дня роботы собирали листы в стопки и давали обезьянам есть. После обеда обезьяны бежали в парк: качались на ветках деревьев, дрались, кричали, совокуплялись...

Утром они снова стучали по клавишам, неизвестно для чего и для кого. Просто так их приучили родители. Так делали деды и прадеды этих обезьян.

Однажды в дом пришли два человека. Один из них был ученый четырнадцатого ранга, другой — ученый тридцать второй степени. Кто-то вспомнил о старом доме и послал их проверить, разобраться и решить, что делать со старым домом, роботами, колбами, печами и обезьянами.

День за днем они обходили лаборатории, заглядывали повсюду, разговаривали с роботами...

Однажды они зашли в огромный зал, где тысячи обезьян стучали по клавишам пишущих машинок.

— Перед тем как ехать сюда, — сказал ученый тридцать второй ступени, — я просматривал старые архивы и обнаружил данные об этом эксперименте.

— Интересно. Что же вы обнаружили? — спросил его коллега.

— Эксперимент начался из-за спора двух ученых много лет назад. Один из них утверждал, что если десять тысяч обезьян будут стучать по клавишам этих допотопных пишущих инструментов триста лет подряд, то в конце концов одна из них обязательно напечатает какое-нибудь выдающееся литературное произведение.

Другой утверждал, что это — полнейшая бессмыслица.

— Ну что ж, — сказал ученый четырнадцатого ранга, — прошло без малого три века, и мы можем решить их спор. Посмотрим, — и взял с полки стопку листов.

— Пожалуй, второй ученый был прав, — сказал он, читая первый листик. — Полнейшая бессмыслица: "В городе Верона жили два рода, Монтекки и Капулетти..."

Тот, с кем происходит чудо

Я расскажу о человеке, с которым происходили совершенно невероятные вещи. Вы наверняка не поверите, что такое могло происходить на самом деле. Вначале я и сам не очень поверил, когда узнал все это. Но во всей этой истории нет ни капли вымысла.

Мой рассказ короткий. Каждый день жизни этого человека был наполнен чудесами, и если писать обо всех, то это займет не один толстый том.

Невероятнее всего, что если бы в последние минуты жизни его спросили, как прошла жизнь, он наверняка пожал бы плечами и развел руками.

После него остались дети и внуки. Они даже не подозревают о той необыкновенной судьбе, которая выпала их отцу и деду.

Начнем с того, что он родился. Это была невероятная, неслыханная удача. Светила медицины не сомневались в том, что у его матери не будет детей. А он родился.

Когда он появился на свет, то у него были родители. Если вы хоть на минуту задумаетесь, то поймете, как это сложно родиться и иметь маму и папу.

Он ел в детстве досыта, в то время как миллионы малышей умерли от голода. Родители не продали и не убили его. Да, да, не продали и не убили. Почитайте газеты, и вам станет ясно, что и здесь ему очень, очень повезло.

Родители любили его. Ну-ка, припомните, всех ли вас любили в детстве? Он болел свинкой, корью, скарлатиной, но не умер и не стал калекой.

Он пошел в школу, и там тоже судьба была на его стороне. Он оказался толковым парнем, и его способности не затоптали дикие кони педагогики. Ему не проломили голову и не выбили глаз в потасовках на школьном дворе.

Потом началась война, и, казалось бы, все, порвалась цепь везения. Но нет! Подумайте только, нет! Он не был ни трусом, ни храбрецом. Он был просто солдатом и по всем законам статистики должен был быть убит или ранен.

Его даже не царапнуло.

Он вернулся домой, и — чудо из чудес! — его родители, старые родители были живы, дом цел и невеста ждала его.

Дальше его жизнь представляется нам сплошным чудом. Жена стала ему другом. У них родились дети. Родились здоровыми, и у них не оказалось ни одной из тех страшных болезней, о которых сейчас так много пишут и говорят. И с женой его ничего не случилось.

Родители человека, о котором я рассказываю, умерли в своем доме, на своей постели, и он закрыл им глаза. Задумайтесь, задумайтесь, как ему невероятно повезло...

У него была хорошая, интересная работа, на которую он с удовольствием шел. Это уж совсем невозможно, скажете вы — и будете правы. Идти на работу с удовольствием — это еще более редкая удача, чем остаться в живых на войне.

Вы шокированы? Напрасно. Я только хочу сказать, что человек, для которого работа — не каторга, — гораздо более редкое явление, чем человек, вернувшийся с войны.

В дом этого человека, который родился в рубашке или, как говорят англичане, с серебряной ложкой во рту, не залезали воры, он не попадал в катастрофы. Он не был ангелочком, нет. У него были женщины, но он не заболел дурными болезнями, избежал грязных ссор и скандалов.

Он имел друзей, не близких и не далеких. Он имел родственников, не далеких и не близких.

Потихоньку он старел. И если уж кого судьба любит, то не оставляет до конца... Он не стал маразматиком, не потерял память, его не парализовало, и он не ослеп. В один прекрасный для него день он заснул и больше не проснулся — в своем доме, на своей постели.

На его похороны пришли дети и прочли по нем заупокойную молитву. Вдумайтесь! Вдумайтесь! Человек, в наше время, живет и умирает в доме, где он родился, на своей постели, и дети, здоровые и преданные дети, приходят на его могилу. Чудеса! Фантастика!

Он оставил приличное наследство и поровну разделил его между детьми. Это дает мне основание думать, что в их сердцах не поселятся злоба и зависть и они какое-то время сохранят память об отце.

Если бы в последние минуты жизни его спросили, как прошла его жизнь, он, наверное, пожал бы плечами и развел руками.

Я долго думал над этой жизнью... Почему же он не понимал? Почему другие не понимают? Почему вы недоуменно пожимаете плечами и разводите руками? Я долго думал, пока не прочитал, что написали люди задолго до нас, то, что люди будут помнить после того, как нас давно уже не будет: "Тот, с кем происходит чудо, его не замечает".

"КОНТИНЕНТ"

Ежеквартальный литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

Главный редактор Владимир Максимов, зам. главного редактора Наталья Горбаневская, отв. секретарь Виолетта Иверни, зав. редакцией Александр Ниссен.

Редакционная коллегия: Василий Аксенов, Ценко Барев, Николас Беттелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Армандо Вальядарес, Ежи Гедроиц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлинг — Грудзинский, Корнелия Герстенмаиер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловайская-Альберти, Эжен Ионеско, Робер Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобковиц, Эрнст неизвестный, Амос Oz, Норман Подгорец, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Сидней Хук, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрем.

Стоимость годовой подписки: 40 западногерманских марок.

Цена номера в розничной продаже: 10 западногерманских марок.

Адрес Генерального представительства: А. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
Bauerstr. 28, 8000 Munchen 40, West Germany Bankkonto: Bayerische Vereinsbank Munchen Nr. 6304630 Postscheckkonto: Munchen 147391-804.

МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА

(продолжение; см. №№ 38–39)

10.

Таверна была убрана совсем просто — с мерцающим черно-белым телевизором в дальнем углу, вокруг которого сидели старые горцы, нисколько не интересуясь проезжими рыжими девицами с золотыми браслетами на запястьях. А в рассказе Иосифа Чарли далеко за полночь обедала с Мишелем в маленьком придорожном ресторанчике на окраине Ноттинггема, куда Мишель привез ее в роскошном “Мерседесе” — эту марку машин он особенно любил. “Мерседес” был припаркован у актерского входа в театр, чтобы увезти Чарли в ресторанчик под шорох вечного ноттинггамского дождя. Мишель хорошо заплатил владельцу ресторанчика, чтобы тот ждал их со столь поздним ужином.

“Он всегда носит шоферские перчатки, — сказал Иосиф, — это одна из его причуд”.

Ага, перчатки с дырочками на тыльной стороне, подумала она и спросила: “А как он водит?”

“Довольно посредственно, но терпимо. Ты спрашиваешь его, где он живет, он отвечает уклончиво, что приехал из Лондона специально ради тебя. Ты спрашиваешь, чем он занимается, он отвечает — “Студент”. Ты спрашиваешь, где он учится, он отвечает — “В Европе”. Поскольку ты настаиваешь на подробностях, он объясняет, что слушает разные курсы в разных университетах. У англичан, говорит он, нет стоящей системы обучения. Слово “англичане” он произносит с заметной враждебностью. Что еще ты спрашиваешь?”

“Где он, собственно, живет сейчас?”

“Он уклоняется от ответа. Как я. Иногда в Риме, иногда в Мюнхене, изредка в Париже или в Вене. Между прочим, добавляет он, он не женат — будто тебе важно это знать. На твой вопрос, какой предмет он изучает, он отвечает “Свободу”, а когда ты спрашиваешь, где его настоящий дом, он отвечает — во власти врага. Твоя реакция на это?”

“Растерянность”.

“Однако после твоих настоятельных расспросов он, наконец, произносит слово “Палестина”. Произносит как воинский клич — Палестина!”

Под его пристальным взглядом ей пришлось отвести глаза.

“Я хочу напомнить тебе, Чарли, что хоть твой роман с Алистером был тогда в самом разгаре, ты достоверно знала о его интрижке с ведущей актрисой рекламного фильма, в котором он в это время снимался. Сейчас ты должна ответить мне откровенно, что для тебя могло значить слово “Палестина”, произнесенное этим красивым мальчиком в дождливый ночной час в придорожном ресторанчике. Особенно если он сам спросит тебя об этом?”

О господи, какая многогранная роль, подумала она и сказала: “Я их обожаю”.

“Зови меня Мишель, пожалуйста”.

“Я обожаю их, Мишель”.

“За что?”

“За их страдания” сказала она, чувствуя себя совершенной душой. “И за их твердость в борьбе”.

“Ерунда. Мы, палестинцы, просто необразованные террористы, беспризорники, уличные мальчишки с автоматами и упрямые старики. Что же ты думаешь о нас, ты, которую я называю Жанной”.

Она вдохнула поглубже и произнесла, припоминая речи на воскресном форуме: “Нет, вы — трудовые крестьяне с древней традицией, несправедливо изгнанные со своей земли ради прихоти сионистов, этих пособников Западного империализма”.

“Что ж, ты говоришь красиво. Продолжай, пожалуйста”.

Поразительно, как много можно вспомнить, если постараться — обрывки разговоров с любовниками, обрывки недочитанных брошюр, обрывки полузабытых речей на революционных семинарах: “Вы — результат европейского комплекса вины перед евреями, вами расплачиваются за Катастрофу, вы — жертвы расистской антиарабской империалистической политики...”

Пристальный взгляд Иосифа был чужой и враждебный, — так ей во всяком случае показалось и она съезжилась на миг. “Вот кто такие палестинцы, раз уж ты спрашиваешь”.

Она продолжала смотреть от него, ожидая подсказки, намека, пояснения, кто она есть и кем должна быть: в его присут-

ствии она переставала разделять собственные убеждения. Она хотела верить лишь в то, во что верил он.

“Заметь, — сказал Иосиф, — у него нет никакой склонности к светской болтовне, он все воспринимает только всерьез. Он очень точен в мелочах: он позаботился обо всем, — о ресторане, об отеле, о свечах и даже о теме для беседы. Можно сказать, что он четко разработал кампанию по соблазнению Жанны Д’Арк”.

“Стыд и срам”, — сказала она, крутя золотой браслет на запястье. “Он говорит тебе, что ты лучшая актриса наших дней, и время от времени путает тебя с Жанной Д’Арк, которая была его любимой героиней с тех пор, как он впервые прочел о ней в детской книжке. Она пробудила самосознание французского крестьянства в его борьбе против английского империализма. Она была истинной революционеркой и превращала рабов в героев. А голос, который она слышала, был голосом ее революционной совести, ибо Мишель утверждает, что Бога нет”.

Заметив ее улыбку, Иосиф добавил серьезно: “Чарли, я предупреждаю тебя — никогда не дразни Мишеля своим западным остроумием, чувство юмора у него развито очень слабо. Он практически не принимает шуток в свой адрес”. Он дал ей время освоиться с этой информацией и продолжал: “Хоть ужин был отвратительный, тебе это было без разницы. Ты пару раз откусила от стейка, чтобы впоследствии написать Мишелю в одном из своих писем, что это был худший стэйк в твоей жизни. Но тебе это было неважно, ты была очарована его звучным голосом и его выразительным арабским лицом, озаренным светом свечи. Правда?”

Она подумала и улыбнулась. “Правда”.

“Он любит тебя, твою игру и твою Жанну. Его идеи не слишком новы, но его страстная речь с восточным оттенком оказывает на тебя гипнотическое действие. Англичане, говорит он, мои враги, все, кроме тебя. Англичане отдали мою страну сионистам, они привезли евреев в Палестину, чтобы превратить Восток в Запад, а палестинцев — в рабочий скот. В ту ночь Мишель был твоим пророком. Ведь до сих пор никто не сосредоточивал на тебе весь свой фанатизм. Его убеждения, его призвание, его страсть озаряют его лицо и его речь. Тебе нравится его отношение к Англии, сметающее напрочь весь твой буржуазный скепсис, весь твой защитный цинизм. Как он далек от мелкотравчатых предрассудков твоего класса, от твоих вялых западных симпатий и антипа-

тий! Он требует от тебя полной отдачи делу его жизни, он красочно рисует тебе картину страданий своего народа, изгнанного из родного края евреями и жестоко гонимого отовсюду кровными братьями-арабами. Ты знаешь самую жестокую шутку нашего века, спрашивает он тебя: за тридцать лет существования Израиля палестинцы превратились в новых евреев нашей планеты. Он хочет разом рассказать тебе всю историю Палестины и Израиля, но вдруг спохватывается, не устала ли ты, не хочешь ли спать”.

Чарли не могла не восхититься способностью Иосифа перевоплощаться в Мишеля: в свете свечи, воткнутой в закапанную воском черную бутылку, его волевое лицо сливалось с обликом Мишеля, приобретало черты и выражение Мишеля.

“Ты слушаешь меня?”

“Я слушаю, Жозе. Я слушаю, Мишель”.

“Я родился в патриархальной семье неподалеку от города Эль Халиль, который евреи называют Хеврон. Запомни это название: Эль Халиль. Повтори его, это очень важно”.

Она повторила: “Эль Халиль”.

“Эль Халиль — центр чистой веры, жители его — палестинская элита. Ты хочешь услышать забавную шутку? Говорят, что Хеврон — единственное место, откуда евреев никогда не выселяли. То есть, вполне возможно, что в моих жилах течет еврейская кровь. Но я не стыжусь этого: я не антисемит, я только антисионист. Я — младший в семье, нас четыре брата и две сестры. Мой отец был мухтар, по-нашему старейшина, нашей деревни, славной своим виноградом, своими храбрыми воинами и красивыми женщинами. Но наибольшую славу нашей деревне принесла мудрость моего отца, который верил, что мы, мусульмане, должны жить в мире с евреями и христианами. Мы будем с тобой часто говорить о моей семье и о моей деревне. Мой отец уважал евреев, он изучил принципы сионизма и считал их справедливыми. Он заставил моих старших братьев учить иврит. Я бы мог рассказывать тебе часами о жизни нашей деревни, но, честно говоря, я помню очень мало, а знаю о ней в основном из рассказов моих родителей и братьев. Эти рассказы помогали нам сохранять наши традиции в лагерях беженцев. Сионисты говорят, что у нас нет своей культуры, они повторяют все то, что антисемиты на протяжении веков говорили о евреях. И за всем этим стоит простая правда: мы благородные люди. Мой дед продал своего коня, чтобы купить пистолет, он хотел иметь оружие для защиты от

нападений сионистов. Но он не смог защитить себя и сионисты застрелили моего деда. Войну "48 Года" я называю "Катастрофой", потому что, как европейские евреи во времена Катастрофы, мы не имели политической организации, чтобы противостоять агрессору. Ты знаешь, что евреи сделали с моей деревней — за то, что мы не стали удирать, как другие?"

Она кивнула неопределенно, — то ли знаю, то ли не знаю. Но ему это было неважно. Он продолжал на едином дыхании:

"Они наполнили бочки бензином и керосином, подожгли их и скатили с горы в деревню. Я шепну тебе это имя "Дир Ясин" — ты слышала его раньше?"

"Нет, Мишель, никогда не слышала".

Это привело его в восторг. "Тогда спроси меня: что это значит, "Дир Ясин"?"

Она спросила. Что это значит — "Дир Ясин"?

"Это маленькая арабская деревня, апрель 1948-го, двести пятьдесят четыре жителя ее были убиты сионистскими агрессорами. Их трупы бросили в колодец. В течение суток полмиллиона палестинцев обратились в бегство из родной страны, и только мой отец сказал жителям нашей деревни: "Мы останемся. Кто убежит, того сионисты никогда не пустят обратно". Он даже верил, что вы — англичане — вернетесь, чтобы защитить нас. Он не понимал, что империалистам нужны послушные союзники на Ближнем Востоке".

Только много позже поняла она, что он намеренно отдалял ее от себя, отсылая ее во вражеский лагерь.

"Почти двадцать лет после катастрофы мой отец оставался в родной деревне, за что его называли коллаборантом. Вокруг нас сионисты конфисковали арабские земли и строили на них свои поселения. Но мой отец был мудрый человек и он долго не подпускал сионистов к нашей земле".

Ей хотелось спросить, правда ли это, но она не успела.

"Но когда началась война 67-го, мы тоже убежали за Иордан. Со слезами на глазах велел нам отец собрать вещи и отправиться в изгнание: "Настало время погромов", сказал он. "Отец, что такое погром?" — спросил я. "То, что гяуры делали с евреями, евреи делают с нами", — ответил он. До конца дней своих я не забуду, как мой гордый отец впервые вошел в убогую хижину, которая с тех пор стала нашим домом. В тот день он стал на двадцать лет старше. "Я вошел в свою могилу" — сказал он. С тех

пор мы стали изгнанниками — без родины, без гражданства, без будущего. Моей школой был ФАТХ. Там я научился стрелять и бороться с сионистскими агрессорами”.

Он остановился перевести дыхание и на миг ей показалось, что он улыбнулся ей, но лицо его было мрачно.

“Я борюсь, значит я существую” — так сказал сионист-идеалист, который приехал из Польши и стал премьер-министром Израиля. Можешь ли ты, образованная англичанка, объяснить мне, темному крестьянину, почему моей Палестиной должен править уроженец Польши, который существует, потому что борется? И после этого нас называют террористами?”

Ее вопрос выскользнул до того, как она сообразила, о чем спрашивают. Он выпорхнул из нее сам собой, из хаоса, вызванного его словами: “А ты можешь объяснить?”

Он не ответил, но и не уклонился от вопроса. Он его принял. Он засмеялся не слишком любезно и потянулся за своим бокалом:

“Выпей за меня” — приказал он. “Подними бокал. История принадлежит победителям. Так что выпей со мной”.

Она нехотя подняла свой бокал.

“За крошечный рыцарственный Израиль” — сказал он. “За то, что он все же существует, ежедневно получая американские субсидии и заставляя всю мощь Пентагона плясать под свою дудку”. Он опустил бокал, не пригубив, она с облегчением опустила свой. “А ты, Чарли, слушай — ты потрясена, ты очарована. Его романтичностью, его красотой, силой его убеждения, без всяких западных эквивоков. Готова ты его принять таким?”

Взявши его руку, она стала разглядывать его ладонь. И спросила, чтобы выиграть время: “А его английский на уровне его красноречия?”

“Несмотря на свой жаргонный, пересыпанный политическими штампами язык, говорит он очень выразительно, ибо направляет его остротой ума и агрессивностью темперамента”.

“Ну, а что Чарли делает все это время? Слушает в благоговении, что ли?”

“Мишель по сути загипнотизировал тебя. Так ты и описываешь ему свои впечатления от этой первой встречи в одном из писем: “До гробовой доски не забуду я твоего прекрасного лица, озаренного тусклым светом свечи”. Как тебе это? Грубовато?”

Отпустив его руку, она спросила: "Что за письма? От кого и кому?"

"Пока давай договоримся, что ты будешь писать ему. Но главное — ты должна вспомнить, что эта встреча с Мишелем — не первая для тебя".

Она со стуком опустила стакан на стол, совсем не сценично. "Слушай, — сказал он, наклоняя голову к пламени свечи, — тебе знакомо это высказывание французского философа: "Величайшее преступление — не делать ничего из опасения сделать слишком мало". Напоминает это тебе что-то? "Единственная справедливая война — это война между колонизаторами и угнетенными, между капиталистами и эксплуатируемыми. Наша задача — обречь войне тех, кто породил ее: миллионеров-расистов, которые думают, что Третий мир — их вотчина, и нефтяных шейхов, которые продали арабское братство".

"Хватит, Жозе", — сказала она, спрятав лицо в ладони, — "отпусти меня. Я хочу домой".

"Империалистов-агрессоров, которые вооружают сионистов. И миллионы западных буржуа, которые превратились в рабов собственной прогнившей системы". Не слушая ее возражений, он продолжал: "Когда мне было шесть, я был изгнан из родной земли. Когда мне было восемь, я пошел служить в Ашбал. "Простите, а что такое Ашбал?" Ну, Чарли? Это был твой вопрос. Как я ответил?"

"Это детская милиция", — сказала она, не поднимая голову. "Сейчас меня вырвет, Жозе".

"Когда мне было десять, меня бомбили сирийцы. Когда мне было пятнадцать, моя мать и сестра погибли при бомбежке израильтян". Давай, Чарли. Доскажи историю моей жизни".

Она вцепилась в его руку и не отвечала. Тогда он сказал сам:

"Если детей можно бомбить, они могут стрелять. А если дети становятся колонизаторами, что тогда?"

"Тогда их надо убивать", — закончила она.

"А если их матери кормят их и учат их бомбить наши дома, что тогда?"

"Тогда эти матери ведут войну против нас и их тоже надо убивать. Но я не согласилась с ним тогда, так же, как сейчас".

Но он пренебрег ее возражениями, он говорил о великой любви. "Слушай. Сквозь прорези лыжного шлема, я следил за твоим

восхищенным лицом, пока я читал лекцию твоим друзьям. За твоими рыжими волосами, за твоими прекрасными революционными чертами. Не удивительно ли, что при нашей первой встрече я был на сцене, а ты — среди публики?”

“Я вовсе не была восхищена тобой. У меня хватило ума понять, что ты сильно перехлестываешь!”

И этим он тоже пренебрег. “Что б ты ни чувствовала тогда, здесь, в Ноттингаме, под моим гипнотическим взглядом, ты внезапно поверила мне. Хоть ты тогда не могла видеть мое лицо, слова мои запали тебе в сердце навечно. Ты так и написала мне потом в одном из писем”.

И вдруг, впервые с тех пор, как о нем зашла речь, Мишель обрел для нее плоть и кровь, стал живым существом, а не вымыслом Иосифа. До сих пор она подсознательно видела на его месте Иосифа. А теперь они стали двумя разными людьми, непохожими ни в чем, враждебными друг другу. Она снова увидела грязную комнату с портретом Мао на стене над обшарпанными школьными партами, над рядами разномастных голов, над Алистером, пьяно привалившимся к ее боку. А на трибуне — наш почетный палестинский гость — чуть пониже Иосифа и менее стройный, впрочем его не так-то легко было разглядеть под мешковатой курткой цвета хаки, прикрытой фалдами черно-белой куфии. Она вспомнила красный носовой платок, повязанный им вместо галстука, и руки в черных перчатках.

“Я полюбил тебя с первого взгляда, — продолжал Иосиф, словно припоминая. Сразу после лекции я навел о тебе справки, но не решился заговорить с тобой при всех. Ведь я все равно не мог открыть там свое лицо, одно из моих главных достоинств. И я решил найти тебя в театре. И нашел. Подпись — Мишель. Итак, Чарли, ты его Жанна д’Арк, его любовь, его помешательство. Мы одни в полутемном ресторанчике, официанты и повара ушли домой. Я открыл тебе свое сердце и добавил, что я забронировал номер в соседнем мотеле. Завтра — воскресенье, у тебя нет спектаклей, но я ни о чем не прошу тебя, ни на чем не настаиваю. Я слишком горд для этого. Я хочу, чтобы ты добровольно пошла за мной, как товарищ по оружию и по свободной любви. Что ты скажешь? Ты жаждешь вернуться к покою своего отеля возле железнодорожной станции?”

Она смотрела мимо него. Неопределенная фигура в маске и куфие снова стала абстракцией, и только Иосиф был реальностью.

Это он спросил ее насчет номера в мотеле. А что она могла ответить ему, если в ее воображении они уже давно делили постель?

“Ведь ты сама рассказывала нам, что ложились в постель со многими другими, гораздо менее привлекательными. Как же ты можешь отказать ему?”

“Никак”, — согласилась она, разглядывая солонку.

“Вот и отлично, — быстро сказал он, подзывая официанта, — ты нашла, наконец, родную душу”.

Он говорил резко, почти грубо. Она почувствовала, что ее согласие было ему не по душе. Она следила, как он заплатил по счету и спрятал записку в карман. Я продана дважды, подумала она. Любишь Иосифа, получай Мишеля.

“В постели он открывает тебе, что его настоящее имя — Салим, но это секрет”. — Это Иосиф сказал, заводя машину. — “Он предпочитает, чтобы ты называла его Мишель. Частично из соображений безопасности, частично из-за любви к европейскому декадансу”.

“А мне больше нравится Салим”.

“Нравится, не нравится, ты будешь называть его Мишель”.

Я сделаю все, что ты скажешь, подумала она. Но ее покорность была притворством перед самой собой: в ней постепенно нарастал гнев.

* * *

Возле мотеля сначала не было места припарковать машину, но вскоре белый “Фольксваген” — минибус слегка подвинулся, чтобы впустить их, и она заметила Димитрия за рулем. Прижимая к груди орхидеи, она следила, как он надевал красный блейзер. Потом они пошли по дорожке к подъезду, — Иосиф впереди с ее сумкой и своим щегольским саквояжем, а она с орхидеями чуть-чуть позади. В вестибюле она краешком глаза увидела Рауля с Рахелью перед доской объявлений о завтрашних прогулках. Иосиф подошел к администратору, и она последовала за ним, чтобы заприметить, под какими именами он их регистрирует, хоть он специально просил ее не делать этого. Арабская фамилия, ливанское гражданство, бейрутский адрес. Он держался высокомерно: человек с положением, — хорошо играет, отметила она про себя, готовясь его ненавидеть: ни одного лишнего жеста, каждое движение полно настоящего шика. Ночной

администратор скользнул по ней похотливым глазом, в котором не было и тени привычного ей пренебрежения. Еще бы, на мне роскошное голубое платье, драгоценный золотой браслет и черное блядское белье от Персефоны из Мюнхена, пусть только кто-нибудь посмеет назвать меня шлюхой. Иосиф взял ее за руку, обжигая ей кожу своим прикосновением, под звуки консервированной греческой народной песни повел ее вслед за их багажом по длинному тоннелю крашенных в пастельные цвета дверей. Их комната была стерильно-чистой, как операционная с двупальной кроватью вместо операционного стола.

Рядом с кроватью она заметила корзинку с фруктами, два бокала и бутылку водки в ведерке со льдом рядом с вазой для орхидей. Она сердито плюхнула орхидеи в вазу, пока Иосиф давал половому щедрые чаевые. И вдруг они остались совершенно одни рядом с кроватью, огромной как футбольное поле, перед застекленной балконной дверью, выходящей на стоянку для машин. Чарли щедро плеснула в свой бокал из бутылки и повалилась на кровать.

“Выпьем, старик”, — сказала она.

Иосиф стоял у окна, лицо его было бесстрастным. “Выпьем, Чарли”, — ответил он, хоть и не взял свой бокал.

“Ну и что мы будем делать сейчас? — спросила она, сама ужасаясь визгливым ноткам своего голоса. — Я хочу знать, какие роли для нас написаны для этой сцены? Кто мы сейчас? Кто? Просто для информации”.

“Ты отлично знаешь, кто мы, Чарли. Мы — любовники, празднующие наш медовый месяц в Греции”.

“Ага, а то я думала, мы в Ноттингамском мотеле”.

“Мы играем обе роли одновременно. Я думал, ты это уже поняла. Мы создаем прошлое наряду с настоящим”.

Она прикусила косточки собственных пальцев и почувствовала, что плачет. Он подошел и сел на край кровати рядом с ней, и на миг ей показалось, что вот сейчас он ее обнимет и все будет так, как ей давно хотелось. Но он и не подумал ее обнять, он просто сидел рядом и молчал. Он сидел и молчал так целую вечность, пока она не перестала плакать. Но и тогда он не шелкнулся — ни к ней, ни от нее.

“Жозе, — прошептала она безнадежно, схватив и сжав его руку. — Кто же ты, черт тебя побери? Что ты чувствуешь внутри своего проволочного ограждения?”

Чуть приподнявшись на локте она стала прислушиваться к звукам чужой жизни в соседних комнатах. И тут с балкона, заглушая детский плач справа и супружескую ссору слева, слышались легкие шаги. Чарли обернулась и увидела Рахель, которая входила в комнату в махровом халате с туалетной сумкой через плечо.

* * *

Она так и не смогла заснуть. Нервы ее были слишком напряжены. За стеной приглушенно зазвонил телефон, ей показалось, что она слышит его голос. Она лежала в объятиях Мишеля, она лежала в объятиях Иосифа, она тосковала по Алу. Она была в Ноттингамском отеле со своим любимым, она была одна в своей лондонской квартире, она была в доме своей дурехи матери. Она лежала без сна, прокручивая в уме киноленту собственной жизни. А за много миль от нее на другом краю кровати Рахель при свете ночника читала Томаса Харди.

“Кто у него есть, Рахель? — спросила она. — Кто штопает ему носки и следит за его здоровьем?”

“А ты бы спросила его самого”.

“Может, это ты?”

“Неужто я для этого подхожу?”

Чарли попробовала зайти с другой стороны. “А куда делась его жена? Она выбросилась из окна или утопилась? Ведь ей надо было крутиться, как угрю на сковородке, даже просто, чтобы ехать с ним в автобусе”.

Она немного помолчала.

“А как ты попала к ним, Рахель?” К ее удивлению, Рахель отложила книжку и стала рассказывать. Ее родители — богатые религиозные английские евреи, они хотели, чтобы она изучала право в Оксфорде, но она предпочла изучать иудаизм в Иерусалимском университете. Она хорошо знакома с европейским антисемитизмом, сказала Рахель, и к тому же ей хотелось доказать этим зазнайкам-сабрам, что она может воевать за Израиль не хуже их.

“А что насчет Роз?” — спросила Чарли.

“С Роз дело сложнее, — ответила Рахель. — Она еще не решила, оставаться ли ей с нами или вернуться в Южную Африку, чтобы бороться против апартеида”.

Рахель опять взялась за своего Харди, а Чарли погрузилась в полудремотное сочинение газетных заголовков типа: "Знаменитая фантазерка встречается с реальностью" или "Жанна д'Арк участвует в охоте за Палестинским активистом".

* * *

Комната Бекера выходила в тот же коридор, там были две односпальные кровати, отделенные друг от друга тумбочкой. Бекер лежал на кровати и смотрел на телефон, стоящий на тумбочке, — он должен был позвонить в полвторого, через десять минут. Ночной портье получил хорошие чаевые в обмен на обещание немедленно перевести разговор в номер Бекера. Телефон зазвонил точно в назначенное время, в трубке зазвучал голос Курца на фоне приглушенной музыки. Где это он, подумал Бекер, наверняка в отеле, в Германии, что ли? Курц говорил по-английски, чтобы не привлекать к разговору излишнего внимания. Бекер заверил его, что у него дело на мази, и спросил, как обстоят дела с новой партией товара.

"Отлично, — сказал Курц, — ты не будешь разочарован тем, что найдешь у нас на складах..."

Положив трубку, Бекер увидел в зеркале свое красивое лицо и уставился на него с необъяснимым отвращением. Кто я, черт побери? Что я чувствую? Он пристальней взгляделся в лицо в зеркале, — вот напасть, словно смотришь на мертвого друга в надежде, что он оживет! Я чувствую себя актером, окружившим себя различными вариантами своего выдуманного Я, в то время как истинное Я затерялось где-то по дороге. Я не чувствую ничего, ибо мои чувства вступают в противоречие с воинской дисциплиной, но я борюсь, и значит я существую.

Выйдя из отеля он быстрым шагом направился в город, насколько ему неинтересный: еще один город, который он должен был взять с боем, сколько их было за двадцать лет! На перекрестке он бегло глянул на название улицы и свернул на строительный участок, где среди штабелей кирпича был припаркован красный минибус. Из-за закрытой двери звучала музыка. Дверь открылась, дуло пистолета уставилось ему в лицо, обшарило его на миг и исчезло. Почтительный голос сказал "Шалом".

Он вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Музыка не полностью заглушала стрекотание телекса, возле которого сидели на корточ-

ках Давид из Афин и еще двое. Бекер кивнул им и, присев на низенькую скамеечку, стал не теряя времени читать длинные ленты телекса, приготовленные к его приходу. Иногда он перечитывал какой-нибудь параграф, иногда подчеркивал нужную дату. Закончив чтение, он передал бумаги Давиду и попросил его проверить, насколько точно он запомнил свои реплики.

Когда он закрыл за собой дверь минибуса, уже светало.

* * *

Для своего неодобренного начальством, но жизненно важного свидания с любезным доктором Алексисом Курц выбрал манеру коллегиального взаимопонимания между профессионалами, одобренного старой дружбой. По предложению Курца они встретились не в Висбадене, а во Франкфурте, в холле большого отеля, где в этот день проходил конгресс производителей мягкой игрушки. Они встретились там в десять часов вечера, когда почти все делегаты конгресса разбежались по городу в поисках разных вариантов мягкой игрушки. Бар был на три четверти пуст, и человеку неосведомленному ничего не стоило принять их за пару коммивояжеров, решающих мировые проблемы. Чем они, в сущности, и были.

За время, прошедшее с их последней встречи, дерзости в Алексисе сильно поубавилось. Первые легкие тени поражения легли на его лицо, как предвестники опасной болезни, готовой вот-вот проявиться, и его телеулыбка стала непривычно скромной. Курц привез ему в подарок маленькую бутылочку мутной воды, наклейка на которой подтверждала, что она зачерпнута непосредственно из Иордана: новая фрау Алексис ожидала ребеночка и святая вода могла ей пригодиться. Подарок этот растрогал Алексиса больше, чем он сам мог от себя ожидать.

Медленно и вдумчиво они выпили за счастливое будущее новорожденного ребеночка.

“Говорят, вы теперь координатор”, — сказал Курц с намеком.

“За всех координаторов!” — провозгласил Алексис торжественно и каждый отхлебнул маленький глоток.

“А что вы, собственно, координируете, Пауль?” — спросил Курц.

“Я должен признаться, что связь с дружественными разведками

больше не входит в мои обязанности”, — сказал Алексис, ожидая дальнейших вопросов.

Но Курц вместо этого высказал догадку, которая была вовсе не догадкой, а точным знанием. “Координатор отвечает за транспорт, тренировку и финансирование оперативной секции. А также за обмен информацией между разными агентствами”.

Алексис был не столько удивлен, сколько испуган осведомленностью Курца. И неудивительно, что разговор их свернул в сторону Бад Годесбергского взрыва, который когда-то положил начало их дружбе.

“Я слышал, они наконец попали на след, — заметил Курц. — Узнать, что эта девушка вылетела в Кельн из Орли — это уже кое-что”.

Алексис, услышав эту похвалу из уст столь почитаемого им эксперта, возразил раздраженно. “Это вы называете успехом? Какая-то девушка в джинсах в день взрыва летит из Парижа в Кельн. У нее хорошая фигура и светлые волосы, но что из этого следует? Французы даже не могут найти ее регистрацию в аэропорту”

“Может, дело в том, что она не регистрировалась на Кельн?” — предположил Курц.

“Что значит, не регистрировалась на Кельн, если она летела в Кельн? — Алексис явно не понял смысла того, что сказал Курц.

“А если предположить, что билет у нее был совсем в другое место? — терпеливо объяснил Курц. — Например, в Мадрид”.

Алексис кивнул, он уже начал схватывать.

“Она берет билет Париж—Мадрид и проходит в Орли регистрацию на Мадрид. Она идет в зал ожидания на Мадрид и садится там в определенное кресло. Через некоторое время к ней подходит другая девушка, произносит заранее условленную фразу и они направляются в женскую уборную, где обмениваются билетами. А также паспортами. Все очень мило. Прекрасно организовано. Девушкам так просто менять внешность — другой парик, другая косметика, и все. Ведь если присмотреться, все девушки по сути одинаковы, не правда ли, Пауль?”

Суровая правда последнего афоризма понравилась Алексису, который пришел к тому же печальному заключению после второго брака. Но он отмахнулся от этой мысли, увлеченный открывающимися перед ним новыми горизонтами. “Ну, а когда она приезжает в Бонн?” — спросил он.

“У нее бельгийский паспорт, прекрасно выполненная восточно-

германская фальшивка. В аэропорту ее встречает бородатый парень на краденом мотоцикле с фальшивыми номерами. Высокий, бородатый, молодой — вот все, что о нем известно. Бороду всегда можно приклеить, мотоциклетный шлем он никогда не снимает. В конспирации они знают толк”.

“Я заметил это”, — сказал Алексис.

“Он везет девушку на прогулку по городу, чтобы проверить, нет ли за ней хвоста, а потом доставляет ее в надежное место для дальнейших инструкций. Возле Мейля есть небольшая ферма, называется “Летняя Дача”, у южного ее выезда на шоссе стоит перестроенный амбар. Там в гараже ее ждет “Опель” с зигбургскими номерами и с водителем наготове”.

На этот раз к радости Курца Алексис смог включиться сразу: “Ахманн! Издатель Ахманн из Дюссельдорфа! Мы с ума сошли! Почему никто о нем не вспомнил?”

“Точно, Ахманн, — одобрил Курц, — его почтенная семейка владеет процветающими лесопилками, несколькими журналами и порномагазинами. Перестроенный амбар принадлежит его дочери Инге и не раз служил местом встречи для богатых, но разочарованных борцов за всеобщее счастье. В интересующее нас время амбар был сдан одному другу Инге, у которого была подружка...”

“И так до бесконечности”, — заключил Алексис.

“Одна дымовая завеса скрывает следующую дымовую завесу. Так они работают”.

Из пещер в Иорданской долине, возбужденно подумал Алексис. Со скрученной из лишней проволоки фигуркой, с миниатюрной бомбой, которую можно смастерить своими руками. И под взглядом Курца облик Алексиса начал быстро и решительно меняться, разгладились морщинки, распрямилась спина, улыбка расцвела на губах.

“Позволено будет спросить, чем вы можете подтвердить столь увлекательную теорию?” — спросил он с наигранным скептицизмом.

Курц притворился, что припоминает подробности, хоть они незабвенно запечатлелись в его памяти, словно он только что сидел с Янукой в звуконепроницаемой мюнхенской камере, поглаживая Януку по голове, пока тот захлебывался словами и слезами.

“У нас в руках сейчас есть оба номера “Опеля” и фотокопия

контракта о сдаче его напрокат". И сделавши вид, что этой информации достаточно, он продолжал: "Бородатый парень высаживает ее возле амбара и исчезает навсегда. Девушка надевает красивое голубое платье и парик и гримируется с расчетом на впечатлительного израильского атташе. Затем она садится в "Опель" и другой молодой человек везет ее в Бад Годесберг. По дороге они останавливаются, чтобы зарядить бомбу".

"А кто этот второй? — спросил Алексис нетерпеливо. — Она его знает?"

Курц только улыбнулся в ответ: на этой стадии Алексису полагалось получать информацию лишь небольшими порциями.

"По завершении миссии водитель меняет номера на "Опеле" и отвозит девушку в красивый курортный городок Бад Ноенар, где они расстанутся".

"А дальше?"

Теперь Курц говорил очень медленно, тщательно выбирая слова: любая ошибка могла разрушить его замысел. "Что дальше? Можно предположить, — это не более, чем догадка, — что у девушки есть поклонник, тот, который научил ее заряжать бомбы. В награду за хорошо выполненное задание он снимает номер в роскошном отеле, где они радостно предаются любовным утехам весь следующий день. Наутро, пока они сладко спят друг у друга в объятиях, бомба взрывается, — чуть позже, чем запланировано, но кому это важно?"

Алексис не мог скрыть своего возбуждения. "А где все это время был великий старший брат, Марти? Тоже в Бад Ноенаре, с той же боевой подружкой?"

"Где бы он ни был, он руководит своими людьми весьма успешно, все мелочи у него учтены, все детали продуманы, — ответил Курц бесстрастно, словно энтузиазм Алексиса расхолаживал его. — Бородатый парень знал только внешние приметы девушки, а девушка — только номер его мотоцикла. Водитель "Опеля" знал только цель операции, но и слыхом не слыхал о бородатом. Такая организация требует работы мозгового центра".

После этой реплики на Курца напал приступ внезапной глухоты, так что Алексису не оставалось ничего другого, как заказать новую порцию виски. Ему ощутимо не хватало кислорода: его жизнь сильно оскудела за последнее время, казалось, он опускается на самое дно, и вдруг великий Шульман поманил его новой неожиданной надеждой.

Он задал провокационный вопрос: “Вы прибыли в Германию, чтобы поделиться этой информацией со своими немецкими коллегами?”

На что Курц ответил нестерпимо затянувшимся молчанием, а затем хорошо знакомым Алексису жестом оттянул свой рукав с запястья, чтобы посмотреть на часы. Чем снова напомнил Алексису, что пока его, Алексиса, время вяло течет из ниоткуда в никуда, время Шульмана вскачь несется к намеченной цели.

“Нет сомнения, что в Кельне вам будут весьма благодарны, — настаивал Алексис. — Мой преемник пустит в ход все свои связи с прессой, чтобы оповестить мир о своем блистательном успехе. И все благодаря вам”.

Курц отхлебнул глоток виски и вытер губы старым носовым платком цвета хаки. Его улыбка подтверждала, что Алексис вырвал у него признание, которое он не намеревался делать.

“Честно говоря, мы в Иерусалиме уже думали об этом. Дело в том, что ваш преемник — вовсе не тот человек, преуспеваю которого мы стремимся способствовать. Но есть несколько альтернативных возможностей, которые мы хотели бы обсудить с вами. Возможно, подумали мы, наш добрый доктор Алексис знает, как передать нашу информацию в Кельн от нашего имени? Неофициально, но при том официально, если вы понимаете, что я хочу сказать, а? Мы спросили себя: может, нам стоит предложить эту информацию Паулю? Пауль — истинный друг Израиля, пусть он воспользуется нашими сведениями для своего и нашего блага. Почему мы вечно должны оказывать услуги людям нам чуждым? Почему бы разок для разнообразия не оказать услугу нашему истинному другу?”

Лицо Алексиса пошло красными пятнами, в его возражающем голосе зазвучали истерические нотки: “Но, Марти, что я сейчас могу? Я ведь уже не оперативник, я — бюрократ! Как это будет выглядеть, если я позвоню в Кельн и скажу: — Алло, говорит Алексис! Срочно сделайте обыск на “Летней Даче” у Ахманна и арестуйте его дочь? Кто я — фокусник, алхимик, чтоб вытаскивать из рукава столь ценную информацию? Может, стоит вдобавок дать приказ и об аресте бородатого мотоциклиста?”

Его издевательский тон звучал явным преувеличением. Выкрикнув: “Они надо мной просто посмеются!” — он иссяк и Курцу пришлось прийти ему на помощь, чего он, собственно, и ожидал.

“Об арестах пока речь не идет, Пауль”.

“А о чем идет речь?” — взвизгнул Алексис требовательно.

“О правосудии, — мягко сказал Курц. — И об изрядной доле изобретательности и терпения со стороны того, кто примет наши условия игры”. Его большая рука легла на плечо Пауля. “Я хочу спросить вас кое о чем. Предположим, арабский деятель высокого ранга, — деятель либеральный, прогермански настроенный, — располагает сведениями о некоем террористическом акте, который он не одобряет, и, предположим, он видел доктора Алексиса по телевизору — когда-то раньше, случайно, и тот произвел на него впечатление человека благородного, гуманного, разумного”.

“Предположим”, — согласился наполовину оглушенный Алексис.

“И этот араб решил обратиться именно к вам, и ни к кому другому. Он пренебрег полицейскими и правительственными чиновниками, он нашел ваш номер в телефонной книге и позвонил вам домой. И встретился с вами здесь, в этом отеле, сегодня. Вы с ним выпили виски, платили вы, а он познакомил вас с кое-какими фактами. Вам не кажется, что такой оборот событий может оказаться благоприятным для человека, карьера которого прервалась в самом расцвете?”

Потом, сотни раз перебирая в уме все, сказанное и услышанное в этот вечер, Алексис решил, что последовавшая за этим речь Курца была для того оправданием его дьявольского плана.

“Террористы работают все лучше и лучше, — жаловался он. — Гаврон требует, чтобы я подсадил к ним агента. Конечно, генерал, отвечаю я, только зачем? Я буду этого агента тренировать и обучать, я наведу террористов на его след и всучу его им, и что они сделают? Они отправят его на дело подложить бомбу в ресторан или подстрелить американского генерала. А мы будем вынуждены сидеть и смотреть, как он нашими руками убивает наших людей. Нет, говорю я ему, чтобы покончить с террором завтра, необходимо сегодня взрастить собственного террориста”.

Алексис не мог удержаться. Перегнувшись через стол, он спросил: “И вы сделали это, Марти? Здесь, в Германии?”

На это Курц не дал прямого ответа. Глаза его глядели сквозь Алексиса на далекую одинокую дорогу, ведущую его к цели.

“Предположим, я предупрежу вас о несчастном случае, Пауль, о таком, который произойдет, скажем, через четыре дня”.

Бармен начал с грохотом закрывать створки буфета, намекая им, что пора идти спать, и они по предложению Курца перебрались в вестибюль отеля, где устроились в креслах голова к голове, как пассажиры на палубе океанского корабля. За время их бесконечного разговора Курц дважды, взглянув предварительно на часы, ходил звонить по телефону, Алексис потом проверил, куда он звонил, — просто так, из любопытства. Один раз он говорил с отелем в Дельфах, в Греции, другой — с Иерусалимом. Уже давно рассвело, когда они, наконец, разошлись.

Алексис летел домой, окрыленный. Когда он, умытый и свежесвыбранный, явился на службу, лицо его светилось навек, казалось, утерянной им скрытой уверенностью в себе и в своем успехе. Он потребовал стопку чистой бумаги и, запершись в кабинете, принялся сочинять туманное донесение начальству о “высокопоставленном источнике информации из одной ближневосточной державы”. Алексис намеревался вновь заняться взрывом в Бад Годесберге, используя факты, сообщенные ему таинственным информантом. Для этого он требовал специальных полномочий, а также предоставления ему никому не подотчетного оперативного счета в швейцарском банке. Он был человек не жадный, но развод стоил ему дорого, а новый брак еще дороже.

В конце доклада он предсказывал на самое ближайшее время грандиозный взрыв, который должен скорей всего произойти где-то в южной Германии. Предсказание это он делал на основании сведений о колоссальном грузе взрывчатки, доставленном арабскими террористами из Стамбула. Текст предсказания был продиктован ему Курцем.

В три часа пополудни того же дня Алексис был срочно вызван к начальству, о чем он в тот же вечер восторженно сообщил по телефону своему щедрому другу Шульману.

* * *

Воздух над холмом благоухал полынью. Иосиф, сверив место по карте, остановил машину и повел Чарли вверх по холму мимо кипарисовых изгородей и каменистых полей, заросших желтыми цветами. Над полями стоял звон овечьих колокольчиков, на востоке уходили за горизонт коричневатые горные цепи. У во-

рот заброшенного дома по дороге она увидела Димитрия, но Иосиф предупредил, чтобы она ни с кем не здоровалась, никого не узнавала.

День этот начался с того, что она, проснувшись, увидела стоящую в изголовье кровати Рахель, которая подала ей новое платье, тоже голубое, но с длинными рукавами. Наскоро приняв душ, она, совершенно голая вернулась в комнату: Рахели уже и след простыл, а за столиком, накрытым на двоих, сидел Иосиф и слушал новости по-гречески. Она пулей выскочила обратно в ванную и он подал ей голубое платье через дверную щель, потом они поспешно позавтракали в полном молчании и спустились вниз. Возле "Мерседеса" она увидела Рауля, который возился с мотором мотоцикла, а рядом с ним Роз — она сидела на траве и жевала бутерброд. Проехав не более мили, Иосиф остановил машину у Храма Аполлона и быстро прочел ей очередную лекцию о его красотах. По дороге к машине он вручил ей ключи.

"Чтоб я вела?"

"А почему бы нет? Я думал, ты питаешь слабость к хорошим машинам".

Они направились на север по извилистой узкой дороге. Сперва он следил за тем, как она ведет, но вскоре убедился, что беспокоиться не о чем, и погрузился в изучение карты. Асфальт кончился, его сменила грунтовая дорога, окутанная клубами пыли. Вдруг он сложил карту и сунул ее в карман. "Ну, Чарли, ты готова?" — спросил он нетерпеливо, словно она заставляла его ждать. И вернулся к прерванному вчера рассказу. Они опять были в Ноттингеме после двух дней безумной любви в придорожном мотеле, — запись об этом можно найти в регистрационной книге мотеля, и прислуга, конечно, вспомнит их, в случае настойчивого опроса.

"Большую часть времени мы провели в постели, окна нашей комнаты выходили в сад. Пару раз мы выезжали на прогулки, но желание вскоре загоняло нас обратно в постель".

"А чем плохо было бы быстро трахнуть в машине?" — спросила она, чтобы подразнить его, а то он убивал ее своей серьезностью.

"Нет, Мишель слишком застенчив для этого. Он предпочитает интимность запертой комнаты".

"Ну, а как он в постели? Ничего?" — снова задралась она.

И на это у него был ответ: "Согласно хорошо информирован-

ным источникам, он не слишком изобретен, зато неутомим и полон страсти”.

Он вернулся к делу. Рано утром в воскресенье Мишель вернулся в Лондон, а Чарли осталась в мотеле с совершенно разбитым сердцем.

“День был ужасный, дождь лил, как из ведра, и ты плакала, соревнуясь с дождем. Он пообещал приехать на следующей неделе в Йорк, но ты была уверена, что никогда больше его не увидишь. И тогда ты села перед зеркалом у туалетного столика, вынула из ящика почтовую бумагу мотеля и ручкой, лежавшей в том же ящике, написала ему свое первое письмо. На пяти страницах. Первое из многих писем, написанных тобой с тех пор. Похоже это на тебя?”

“А у меня был его адрес?”

“Да, он оставил тебе адрес табачной лавочки в Париже, на Монпарнассе. Просто для Мишеля, без фамилии. А вечером ты написала ему опять, а назавтра утром опять, искренне, страстно, от всего сердца”. Он глянул на нее искоса. “Ты способна писать такие письма?”

“Все обошлось хорошо: он приехал не только в Йорк, но и в Бристоль, а затем в Лондон, где провел с тобой ночь в твоей лондонской квартире. Дивную, незабываемую ночь. И тогда, в эту ночь, мы и придумали наши греческие каникулы, те самые, которыми мы сейчас наслаждаемся”.

Она долго вела машину в полном молчании. Наконец, мы здесь, думала она, один час отделяет Грецию от Ноттингама.

“Прибыть на Миконос с Алом и с семейкой, а потом сбежать с Мишелем? Исключено. Если бы я сговорила с тобой, я бы не взяла Ала с собой в Грецию — ведь он не был приглашен с другими”.

Но Иосиф отмахнулся от этого возражения: Мишель никогда не требовал таких жертв. Он не хочет никаких постоянных привязанностей, он враг этого общества, его могут арестовать в любую минуту.

В этот момент они проезжали мимо придорожной часовенки. Он глянул на нее и поспешно развернул карту. “Притормози”, — сказал он.

Притормози. Припаркуйся. Выйдем.

Он ускóрил шаг. Тропинка вела на вершину холма, к заброшенной каменоломне, похожей на кратер вулкана. На выступе каменной стены стояла пустая жестяная банка, которую Иосиф быстро и молча заполнил крупным гравием. Под удивленным взглядом Чарли он снял свой красный блейзер и, аккуратно сложив его, положил на землю. Под блейзером оказался пистолет в кожаной кобуре, висящей на кожаной петле у него подмышкой. Иосиф схватил Чарли за руку и усадил на корточки рядом с собой.

“Итак, и Ноттингам, и Йорк, и Лондон уже в прошлом. Сегодня — третий день нашего греческого медового месяца. Мы встали рано после ночи любви в отеле в Дельфах, чтобы провести утро в Храме Аполлона, потом ты села за руль и я убедился, что ты прекрасный водитель. А теперь я привел тебя на этот холм, не объясняя, зачем. Я — в странном настроении, словно не могу на что-то решиться, и это беспокоит тебя. И вот я усаживаю тебя рядом с собой и вынимаю пистолет”.

Она следила, словно зачарованная, как он вытащил пистолет из кобуры. “Я удостоил тебя редкой привилегии: я рассказываю тебе историю этого пистолета и впервые упоминаю вслух имя своего великого старшего брата. Само его существование — великая тайна, но я рассказываю тебе о нем, потому что люблю тебя, а кроме того...”

Он помедлил мгновение, словно колеблясь, и закончил: “...потому что я хочу приобщить тебя к нашему славному боевому братству. Ведь ты часто — и в письмах, и в минуты любви, — умоляла проверить тебя в деле. Что ж, сегодня мы сделаем первый шаг”.

Ее, как вчера в таверне, снова поразила его удивительная способность к перевоплощению: ему без всякого затруднения давался цветистый арабский стиль.

“Мой великий брат был для меня светочем всегда, всю мою жизнь, и когда сионисты бомбили нас с неба, и когда шииты вырезали нас на земле. Я вижу его редко и тайно, иногда в Дамаске, иногда в Аммане. Однажды он вызвал меня в Бейрут и мы с замиранием сердца слушали там речь великого ливийского вождя. После речи мы рука об руку вышли на рассветную улицу, в глазах моих трепетали слезы, вызванные горячими призывами ливий-

ца. И тут, повинувшись внезапному импульсу, мой брат обнял меня, прижался щекой к моей щеке, вытащил из кармана этот пистолет и вложил его мне в руку. Вот так". Он вложил пистолет в ладонь Чарли и, не отнимая руки, навел его дуло на стену каменоломни. "Это подарок, — сказал он, — для отпущения. Подарок борца борцу. Этот пистолет для меня — святыня, Чарли, я поклялся им на могиле отца. Я люблю тебя, Чарли, я прошу: поцелуй этот пистолет".

Она оторопело уставилась сперва на пистолет, потом на него. Но его вдохновенный взгляд не позволил ей подвергнуть сомнению серьезность его слов.

"Мы не только любовники, мы — соратники по революционной борьбе. Мы едины душой и телом. Я — араб, я люблю красивые слова и торжественные жесты. Поцелуй пистолет, Чарли".

"Нет, Жозе, я не могу".

Она обратилась к Иосифу, и он ответил ей как Иосиф.

"Ты думаешь — это игра, Чарли? Как Мишель мог научиться играть в игры, если он вырос в мире, где только пистолет определяет цену мужчины?" И опять превратился в Мишеля.

"Мы с тобой ведем священную войну против врагов свободы, имя ее — джихад. Сейчас я позволю тебе выпустить твой первый в этой войне патрон, но сначала ты должна поцеловать пистолет".

И она прижалась губами к вороненому дулу.

"Чудно", — сказал он и отодвинулся: "Ты веришь, что отныне этот пистолет стал частью нашей любви?"

"Верю, Мишель, верю, Жозе, только не заставляй меня больше делать это", — и она непроизвольно утерла рукавом губы, словно на них запеклась кровь. Стоя за ее спиной, Иосиф повернул ее точно лицом к мишени, и, переплетя ее пальцы со своими, вытянул вперед ее правую руку с пистолетом.

"Это "Вальтер ППК", — сказал он. — Левую руку опусти, и когда я скамандую "Огонь!", ты выстрелишь два раза подряд".

Услышав команду, она нажала курок и пистолет дрогнул в ее руке, словно его ударило пулей. Она выстрелила еще раз и почувствовала тот же восторг, какой испытала, когда впервые села на лошадь. После второй попытки она начала палить беспорядочно, наполняя воздух щелканьем курка и громом выстрелов, пока не кончились патроны.

"Ну, как я стреляла?" — спросила она.

“Посмотри сама”, — ответил он.

Она подбежала к жестяной коробке и уставилась на нее, не веря глазам своим: там не было ни одной дырки.

“Что я сделала не так?” — спросила она.

“Ты промазала”, — ответил он.

“Но почему?”

“Во-первых, девушка твоей комплекции должна держать пистолет двумя руками”.

“Так какого черта ты велел мне делать это одной?”

Он уже вел ее за руку к машине. “Ты — ученица Мишеля и должна стрелять, как он. Или ты хочешь, чтобы на тебе стояла печать: “Сделано в Израиле?”

“А почему Мишель не умеет стрелять, как все люди?”

“Потому что так его научил Халиль”.

Садясь в машину она спросила: “Халиль — это старший брат?”

“Да. Запомни это имя. И обстоятельства, при которых ты услышала его. Когда ты поцеловала пистолет, Мишель сказал, что он любит вас обоих — Халиля и тебя”.

На этот раз машину вел он, а она сидела рядом с ним, чувствуя на губах вкус вороненой стали. А Иосиф уже спешил с новыми подробностями — он рассказывал ей о Халиле, и о своей любимой сестре Фатме, и о других братьях, погибших в борьбе. Она крепилась изо всех сил, но наконец не выдержала и заснула, положив голову ему на плечо.

* * *

ОТЕЛЬ в Салониках размещался в старинном замке с круглым куполом, их номер был на верхнем этаже — просторный, с огромной ванной и с альковом для детей. Она хотела зажечь свет, но он не разрешил. Ужин им принесли в номер, но они едва притронулись к еде. Чарли сидела на краю кровати, Иосиф стоял у окна и смотрел на залитую лунным светом площадь внизу.

“Ну, Чарли, — сказал он. — Ты всегда стремилась встать рядом со мной в моей борьбе. Все твои письма полны этим. Но я все не спешу приобщить тебя к реальным действиям. Может, я не полностью доверяю тебе. А может, я слишком люблю тебя и не хочу подвергать опасности. Но сегодня я, наконец, решился. Сегодня, в последнюю ночь наших греческих каникул, а может, в нашу последнюю ночь вообще, я хочу доверить тебе... я хочу

попросить тебя провести “Мерседес” через югославскую границу в Австрию, где тебя будут ждать свои. Готова ты сделать это? Одна?”

Она словно бы и не почувствовала ничего, ни страха, ни удивления. Ну вот, Чарли, подумала она, тебя приставили к делу — небольшое заданье для хорошего водителя, и в путь! Она смотрела ему прямо в глаза, она всегда смотрела так, собираясь солгать.

“Ну как? — повторил он. — Восемьсот километров по Югославии — это далекий путь. Тем более в одиночку”.

“А что там, в этой машине?”

“Какая разница, что в машине? Ты хочешь, чтобы я раскрыл тебе все наши секреты в твой первый день?”

Но она спрашивала не Мишеля, а Иосифа.

“Почему он сам не ведет свою машину?”

“Чарли, может, тебе вдруг показалось, что Мишель хочет использовать тебя? И ради этого он притворился очарованным и влюбленным?”

Он осекся на миг, словно забыл свою роль, — или это ей показалось? Или она приняла желаемое за действительное, вообразив, что его истинное чувство к ней прорвалось сквозь бесстрастную маску?

“Если ты не уверена в нем или в себе, ты, естественно, можешь сказать “нет!”.

“Я ведь задала тебе вопрос, Мишель: почему ты не поведешь машину сам?”

Он отвернулся к окну, словно ища там ответа. Она молчала, выжидая. “Мишель не ответит тебе ничего, кроме того, что это опасно, и никакое дипломатическое вмешательство не поможет тому, кто попадет с этой машиной в Югославию. Так что если ты боишься, ты можешь отказаться”.

Кто сказал это, Мишель или Иосиф?

“Тем более, если это опасно, почему он не ведет машину сам?”

“Ну, он — палестинец, с фальшивым паспортом. А для молодой, привлекательной англичанки тут по сути никакой опасности нет”.

“Ты сам сказал, что есть”.

“Для Мишеля, но не для тебя. Он скажет: сделай это ради нашей любви и ради революции”, — сказал он и добавил: “А если ты этого не сделаешь, жизнь твоя станет еще более пустой, чем она была, когда я подобрал тебя на пляже”.

Он стоял спиной к ней и снова был Иосиф Прекрасный, осторожно выбирающий слова и готовый на все ради спасения невинных.

“А где будешь ты?” — спросила она.

“Я буду очень близко, рядом с тобой, но я не смогу помочь тебе в беде. И никто другой не сможет: Югославия — не самый лучший друг Израиля”.

Он обернулся, чтобы взглянуть на нее, она ответила ему прямым взглядом, зная отлично, что ее лицо — на свету, тогда как его было скрыто в тени. С кем ты борешься, пожалела она его — с собой или со мной?

“Мы еще не кончили. Я спрашиваю — что в этой машине? И ты мне ответишь, сейчас. От своего имени или от имени Мишеля — неважно. Я должна это знать”.

Она думала, что он опять будет морочить голову и тянуть с ответом. Но она ошиблась.

“Взрывчатка, — сказал он. — Две тысячи фунтов русского пластика. Четыре тысячи полужуфунтовых брикетов взрывчатки отличного качества”.

“А где они спрятаны?”

“Всюду в обивке, под сиденьями, в дверях”.

“Каково ее назначение?”

Он ответил без запинки: “Убивать евреев диаспоры в отместку за зло, причиненное арабам Палестины”.

“И вы с Марти считаете, что я могла бы любезно помочь вашим друзьям-арабам доставить эту взрывчатку в Австрию?” Она встала и подошла к нему. “Обними меня, Жозе, обними меня на минутку — мне стало вдруг так страшно и одиноко!”

Одна рука его легла на ее плечо и она, дрожа всем телом, прижалась к нему. И тогда к ее радости он притянул ее к себе второй рукой и крепко обнял. И она вдруг представила себе тот долгий путь, который ей предстоит пройти рядом с другими, с его врагами. Он отсылает меня или хочет меня задержать? — мелькнуло у нее в уме: его руки, все еще обнимающие ее, придавали ей смелости.

“Давай, подбодри меня, — сказала она, — выполняй свою задачу”.

“Разве тебе недостаточно, что Мишель, отправляя тебя, не хочет с тобой расставаться?”

Она прижалась щекой к его груди: "Ты обещал не покидать меня".

"Я буду ждать тебя в Австрии". Его руки отпустили ее. Она чувствовала, как он держит ее на расстоянии — не откусывает и не отпускает. Она опять села на край кровати и спросила:

"А чего бы ты хотел, Жозе? Чтобы Чарли продолжала начатую игру или чтобы она взяла деньги и ушла со сцены?"

Он молчал. Тогда она ответила сама себе: "Если я откажусь от этой роли, я никогда больше тебя не увижу. Что ж, я поведу машину".

Она увидела, как он кивнул — мол, правильно, так и надо. Она спросила вдруг: "Откуда у тебя эти ужасные шрамы, Жозе?"

"Ожоги я получил, сидя в танке, а пулевые пробоины — пытаюсь из него выйти".

"Сколько тебе было лет?"

"Двадцать один".

"А кто был твой отец?"

"Строительный рабочий. Он приехал из Польши в начале двадцатых, чтобы превратить кучу песка в город, который назвали Тель-Авив".

"А что сделал ты?"

"Я выбрал более высокое призвание".

Ты выбрал его или оно выбрало тебя? И с этой мыслью она заснула.

* * *

Но Гиди Бекер не мог заснуть. Он лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к ровному дыханию Чарли и спрашивал себя, зачем он рассказал ей так много о себе. Кажется, он становится слишком стар для этой работы: он стал слишком часто ошибаться, стал позволять себе слишком много слабостей. Он поднял к лицу руку с часами, совсем как Курц, стараясь разглядеть в темноте, который час. И надев красный блейзер, бесшумно выскользнул из комнаты.

Ночной портье был человек чуткий: как только он заметил, что к нему приближается хорошо одетый джентльмен, он приготовился получить хорошие чаевые.

"Есть у вас телеграфные бланки?" — спросил Иосиф.

Портье услужливо нырнул вниз, за конторку. Иосиф стал пи-

сать, вдумчиво, не спеша, крупными печатными буквами, на адрес адвокатской фирмы в Женеве. Получилось сорок пять слов вместе с вычурной подписью, которой обучил его Швили. Он протянул портье листок и деньги, присовокупив пятьсот драхм сверх, и попросил отправить телеграмму дважды — сейчас по телефону, а утром с почты.

Портье заверил его, что в точности выполнит все указания: он много слышал о щедрых арабских чаевых. Он предложил джентльмену ряд других услуг, но тот отверг их к великому разочарованию портье и быстрым шагом вышел на улицу. Там он свернул за угол и направился к припаркованному у моря минибусу, чтобы доложить Курцу об успешном завершении первой части проекта.

* * *

Заброшенный монастырь находился в двух километрах от границы.

Какие-то нехристи пытались открыть здесь дискотеку, но удрали вслед за монахами. На бетонной площадке перед монастырем стоял красный "Мерседес", как боевой конь, подготовленный для битвы.

"Запомни, Чарли, — сказал Иосиф, — сюда Мишель привез тебя, чтобы сменить номера, здесь он вручил тебе фальшивые документы на машину и ключи".

Мюнхенские номера были уже прикручены и пыльное немецкое "Д" сменило арабские завитушки. С педантичной тщательностью Иосиф начал размещать в салоне красноречивые мелочи: путеводитель по Акрополю, два использованных билета в Дельфский музей, конфетные обертки, апельсиновью кожуру. Покончив с этим, он подверг Чарли не менее тщательному осмотру, и затем принялся изучать разложенное на складном столике содержимое ее сумочки.

"А что насчет его писем?" — спросила она. — "Если он писал мне умопомрачительные любовные письма, я не должна с ними расставаться".

"Нет, Мишель не позволяет тебе таскать эти письма с собой. Из конспирации. Ты обязана хранить их в безопасном месте. Но ты..." И он вынул из кармана маленькую записную книжку с карандашиком в скрепляющей пружинке и подал ей. Она заметила,

что на карандашике были следы зубов, — она всегда покусывала карандаши при письме. Она полистала книжечку: там были дневниковые записи, сделанные ее рукой, даты дней рождения ее родных и друзей, даты ее чартерных рейсов на Миконос и обратно, и все это в обрамлении мелких смешливых рисунков, какие она обычно набрасывала на полях в минуты задумчивости. Она бросила книжечку в сумку, ощущая, что в душу ее вторглись вражеские армии — это было уже слишком. Она жаждала встречи с другими людьми, которых она могла бы чем-нибудь удивить, которые не могли бы подделывать ее почерк и воспроизводить ее чувства так точно, что она сама не могла бы отличить подделку от оригинала.

Рукой в перчатке Иосиф открыл перед нею дверцу.

“Номер машины?”

Она ответила без запинки, а затем изложила всю историю машины, сказку внутри сказки; машина принадлежала известному мюнхенскому врачу, ее сегодняшнему любовнику. Врача срочно вызвали к умирающему пациенту, он вылетел самолетом, оставив машину на ее попечение.

“Я могу ехать?”

“Да”.

Я надеюсь, ты страдаешь, что посылаешь меня через всю Европу в машине, начиненной русской взрывчаткой высокого качества. Она поклялась не устраивать трогательного прощания, похоже, он поклялся в том же.

“Ну, Чарли, поехали”, — сказала она и нажала на стартер.

Она не слышала, что он ответил. Она выехала на шоссе и через несколько километров увидела стрелку, гласившую: “Югославия”. Она замедлила скорость и в строю ползущих машин добралась до площадки, где поджидали карабинеры.

Она держала наготове свои фальшивые бумаги, обеспеченные фальшивыми объяснениями, но никто не поинтересовался ими: чиновник в серой форме махнул ей нетерпеливо рукой “проезжай!”, и все было кончено.

Она уже ехала целую вечность. Ее ладони горели от шероховатого прикосновения руля, ее шея ныла и ноги затекли. На миг ей послышались перебои в моторе, и она пришла в ужас. Ей были даны точные инструкции на случай поломки: оставить машину на обочине, подхватить тремп и как можно скорей убраться подальше. Движение было бесконечно долгим и бесконечно

медленным, ее бросало то в жар, то в холод, но сбежать с полдороги было все равно, что сбежать со сцены во время спектакля. Она старалась отключить сознание от двух тысяч фунтов русской взрывчатки высшего качества, спрятанной под обивкой, под сиденьями и в дверях, и для этого часами репетировала свою будущую роль из "Как вам это понравится". И не вспоминала про Иосифа, потому что ни разу в жизни не была знакома ни с одним израильтянином, ради которого готова была бы изменить собственным принципам и взглядам.

В шесть часов вечера она заметила дорожный знак, который никто не велел ей искать, хоть она почему-то его искала. Она сказала неизвестно кому: "Кажется, симпатичное место для ночлега", — хоть ей вовсе еще не хотелось спать, и свернула в аллею, в точности описанную тем, кого она и знать не знала. В вестибюле она наткнулась на Димитрия и Роз, с которыми познакомилась на Миконесе. Это было удивительное совпадение, что они встретились тут, и они отметили его, поужинав вместе в ресторане над голубым плавательным бассейном. Она поспала несколько часов и в шесть утра опять была на дороге, так что к обеду она уже подъезжала к австрийской границе.

Она тщательно причесала волосы, любуясь своим отражением во всех трех зеркалах "Мерседеса", и стала с замиранием сердца следить, как двое в униформах — один в голубой, другой в зеленой, — медленно приближаются к ее машине. Они мельком глянули на нее и уставились на "Мерседес", причем голубой с размаху пнул правую заднюю шину носком ботинка. Зеленый спросил ее о чем-то по-немецки, и она, ответив по-английски "Простите?" — протянула им свой британский паспорт.

Только тут она заметила, какие они молодые. Они неотрывно пялились на нее, пока она отвечала на их вопросы: да, у нее есть около сотни греческих сигарет и бутылка вина, нет, никаких подарков. Они открыли дверцу и попросили показать им бутылку вина. Когда они позволили ей следовать дальше, она с трудом удержалась от мгновенного желания выскочить из машины и расцеловать их за их замечательную щедрую беспечность.

Никогда в жизни она так не любила представителей власти.

* * *

Шимон Литвак приступил к делу за восемь часов до того, как было получено сообщение о том, что Чарли благополучно пере-

секла границу. Со своего наблюдательного пункта в оконной нише лучшего номера старомодного отеля Шимон видел всю прелестную базарную площадь, уставленную уютными столиками кафе и ресторанчиков и осененную луковкой купола старинного вокзального здания. За столиком одного из кафе в томном мареве полуденного зноя две девушки, хихикая, сочиняли нескончаемое письмо, а у дверей ресторана молодой священник вдумчиво читал молитвенник. Настоящее имя священника было Уди и он был вооружен до зубов на случай непредвиденных осложнений. За его спиной английская супружеская чета мирно переваривала обед в зашторенной прохладе своего Ровера, оснащенного парой дальнобойных автоматов. Их радио было настроено на волну портативного передатчика, установленного в торговом фургоне, припаркованном в боковой улице в двухстах метрах к северу от площади.

Всего в группе Литвака было девять мужчин и четыре женщины. Он поддерживал с ними постоянную радиосвязь по-немецки, выдавая себя то за диспетчера таксопарка, то за спасательный альпийский вертолет. Он чувствовал себя прекрасно, он был рожден для таких операций.

В четыре часа полудни красный "Мерседес" стал рыскать по площади в поисках места для стоянки. Литвак дал приказ не вмешиваться, пусть с этой мелочью управится сама. Литвак следил в бинокль, как Чарли нашла место, поставила машину и выбралась из нее, потягиваясь и почесываясь. Молодец, отметил он, глядя, как она вынимает из багажника сумку и гитару, очень натурально держится, — ну, теперь ключи. Она ловко уронила ключи в выхлопную трубу, — одним движением, наклоняясь за своими вещами — и не спеша направилась к вокзалу.

Коза привязана, остается ждать льва, — процитировал Литвак любимый афоризм Курца, и передал краткое сообщение в Мюнхен.

Через час молодой священник Уди заплатил по счету и благочестивой походкой направился в отель за углом, чтобы переодеться и сменить образ. За ним, закончив наконец свое письмо, последовали девушки. Их сменили другие члены группы: итальянский рабочий с миланской газетой в руке и пара юных туристов, заказавших кофе с бутербродами. В восемь вечера на площадь, завывая, вкатился мощный мотоцикл, сделал стремительный круг и исчез, — седоков было двое, оба с длинными

волосами, возможно оба — женщины. Кое-кто из группы сказал — слишком неосторожно для них, но Литвак придерживался другого мнения. Он считал, что лев напал на след, и остается только ждать, когда он вернется.

* * *

К десяти часам вечера многочасовое созерцание пустой машины наполнило Литвака безмерным желанием вернуться в мир лошадей и пешеходов или вообще удрать в свой родной кибуц. Впрочем, как человек дисциплинированный он отлично знал, что никуда он не вернется, а останется здесь и выполнит все, как положено.

* * *

Мотоцикл появился опять.

Литвак следил за ним из глубины темной комнаты: это был прекрасный японский мотоцикл с венскими номерами, он въехал на площадь с выключенным мотором и остановился не слишком далеко от “Мерседеса”, но и не слишком близко. Как сделал бы и сам Литвак.

“Гости приехали”, — сообщил он по радио, абсолютно уверенный в правильности своего предположения. На мотоцикле были двое: длинноволосый водитель неопределенного пола в шлеме и очевидный длинноволосый парень-пассажир в джинсах и кедах. Некоторое время они сидели неподвижно, изучая обстановку на площади. Потом парень в кедах сполз с сиденья и прогулочным шагом прошел мимо “Мерседеса” в вокзальную уборную, наверняка ухватив краем глаза бородку торчащего из выхлопной трубы ключа. Литвак ждал, что он воспользуется темнотой и вытащит ключи из трубы на обратном пути, но он этого не сделал, а пошел прямо к мотоциклу, позволив свету фонаря скользнуть на миг по его лицу.

“Луиджи!” — сказал Литвак в микрофон, возбужденный подтверждением своей правоты. Он знал все о Луиджи Россино, имена и телефоны его любовниц и любовников, биографии его консервативных родителей и взгляды его революционного профессора музыки из миланской консерватории. Луиджи был признанным сторонником ненасильственных методов, и до сих пор, несмотря на все усилия, не удавалось получить никаких доказа-

тельств его связи с террористами. Что ж, значит, я был прав, подумал Литвак, и мне, кажется, ясна его роль в Бад Годесбергской трагедии, но это потом. Всему свое время, и Луиджи тоже. Придется подождать с ним до конца всей операции.

А пока она уже оплатила свою дорогу сюда, думал он: одного опознания Луиджи здесь достаточно для этого. Тут водитель соскочил с седла и Луиджи сел на его место. Водитель снял шлем и оказался девушкой, стройной и белокурой. Литвак решил пока не сосредоточиваться на том, не эта ли девушка летела в день взрыва из Парижа в Мадрид, и тем более не делиться такими соображениями с ребятами из группы, ибо среди них были горячие головы, способные на все.

Теперь подошла очередь девушки идти в уборную. Оставив шлем на попечение Луиджи, она вытащила из багажной сетки дорожную сумку и скрылась за дверью, где оставалась довольно долго. Походка у нее была оболстительная, не удивительно, что этот несчастный идиот-атташе не смог против нее устоять. Литвак передвинул окуляр бинокля на Луиджи. Тот сидел в седле неподвижно, чуть склонив голову набок, словно к чему-то прислушиваясь. Литвак тоже прислушался: со стрекотом и звоном к перрону подходил поезд — десять двадцать пять из Клагенфурта. Из вокзального здания заструился негустой поток пассажиров. "Давай, пора!" — мысленно подбодрил Луиджи Литвак. "Хватай машину и дуй отсюда!"

Он и не подозревал, что они собирались сделать на самом деле. На площади поджидала такси пожилая пара в сопровождении молоденькой скромной девушки в коричневом английском костюме, то ли секретарши, то ли компаньонки. Вскоре подъехало такси и девушка захлопотала вокруг стариков, помогая им погрузить багаж. Литвак отметил все это мимоходом, наблюдая за многочисленной группой туристов, заполняющих два ярко-красных автобуса на противоположной стороне площади. Неожиданно в пестром месиве туристов, пересекавших площадь, он заметил знакомую девушку в коричневом английском костюме, подходившую с толпой к "Мерседесу", и вдруг с восторгом понял, что это — она! Она успела мгновенно переодеться и надеть парик в уборной и теперь, одним движением открыв дверцу "Мерседеса", скользнула внутрь и завела мотор. Машина двинулась прочь, чуть покачивая бородкой так и не востребованного ключа, торчащего

из выхлопной трубы. Эта деталь особенно восхитила Литвака: все дублировать и никому не доверять до конца!

Он отдал односложный приказ и стал наблюдать за его выполнением: две девушки отъехали в спортивном "Порше", за ними Уди на "Опеле", и последним — напарник Уди на скромном мотоцикле. Глядя на площадь, которая постепенно опустела и погасла, как сцена по окончании спектакля, Литвак услышал в наушниках долгожданное слово "Оссиан" — "Мерседес" ехал на север.

"А Луиджи?" — спросил он.

"В Вену".

Литваку предстояло принять однозначное решение, за кем следовать — за девушкой или за Луиджи. Луиджи был более завидной добычей, но его безопасное возвращение в Вену более верно обеспечивало выполнение плана Курца. Что ж, с Луиджи можно было и подождать.

"Езжайте за машиной, Луиджи пока отпустить", — скомандовал Литвак.

Он спустился в вестибюль, — он уже оплатил свой счет, но сейчас он оплатил бы его второй раз, если бы потребовалось: в эту минуту он любил весь мир. Интересно, что этой девушке известно и сколько времени понадобится, чтобы ее расколоть?

* * *

В Зальцбурге лето все еще не наступило. Дорогу до Зальцбурга Чарли помнила смутно, она почти все время спала.

"Почему именно Зальцбург?" — спросила она Иосифа. Он ответил, что Мишель любит этот город, а кроме того, он по дороге.

"По дороге куда?" — полюбопытствовала она, но ответа не получила.

В шикарном номере отеля она влезла в ванну и заснула там так крепко, что Иосифу пришлось долго стучать в дверь, пока он ее разбудил.

"Это наша последняя ночь?" — спросила она, и на этот раз он не стал прятаться за спину Мишеля.

"Да, Чарли, последняя. Завтра мы должны посетить один дом, после чего ты улетишь в Лондон", — сказал он и повел ее на экскурсию по Зальцбургу.

Игрушечные церкви были необычайно красивы, за церквями

высоко в небе вздымался замок с зубчатыми стенами, по склону горы вверх и вниз скользил фуникулер.

По возвращении в отель она попросила кушать, но к тому времени, как официант прикатил в номер столик с обедом, она уже крепко спала.

* * *

Иосиф сидел в кресле у кровати и слушал ровное дыхание спящей Чарли. За окном всю ночь грохотала гроза, но никакая гроза не могла ее разбудить.

Он глянул на часы, сказал себе "Пора" и принялся приводить в порядок столик с нетронутым обедом. Он разминал вилкой нежное мясо омаров, размазывал по тарелкам клубнику, кромсал и спускал в уборную остывшие ломти ростбифа, — добавлял еще одну легенду к роману Мишеля и Чарли: легенду об их прощальном обеде в Зальцбурге. Он вылил шампанское в уборную и спустил воду. Остатками шампанского он ополоснул оба бокала, и край бокала Чарли испачкал ее губной помадой.

Кажется, я устал, подумал он, надевая красный блейзер, и пошел будить Чарли. Он хотел сказать ей, что Марти назвал ее звездой, равной Грете Гарбо, и просил поблагодарить ее за богатый улов, которым они частично обязаны ей. Но вместо этого он только окликнул ее по имени и пошел вниз платить по счету. Покончив с этим, он вывел из гаража взятую напрокат БМВ и сказал присоединившейся к нему Чарли:

"Помаши мне на прощанье и сделай вид, что идешь на прогулку. Потом за тобой заедет Димитрий и отвезет тебя в Мюнхен".

* * *

В лифте она постаралась собрать весь свой запас твердости и решимости. Димитрий нажал на звонок, дверь открыл сам Курц, за его спиной стоял Иосиф.

"Где он?" — спросила она, глядя сквозь Иосифа на закрытую дверь в конце коридора.

"Он в порядке, просто слегка устал", — ответил Курц почему-то шепотом и подал ей шелковый зеленый шарф. — "Прикрой свои очаровательные кудри, на всякий случай. Надень темные очки. И имей в виду — эта встреча может тебя неприятно пора-

зять. Если тебе станет вдруг очень его жаль, вспомни, что он убил десятки невинных людей, хоть он хорош собой и неглуп. Просто он растратил свои таланты на служение злу". Он открыл дверь. "И ничего не говори, говорить буду я".

Они вошли в захламленную телефонным оборудованием гостиную с ведущей наверх лестницей в дальнем углу. Лестница выходила на галерею, обнесенную баллюстрадой из фигурного чугуна. Она села на диван рядом с Иосифом, а Курц, не присаживаясь, поднял трубку стоящего на столе телефона и что-то сказал на иврите, не отрывая при этом взгляда от галереи.

Чувствуя тошноту и головокружение, она заметила, что Иосиф тоже смотрит на галерею. Чарли тоже посмотрела туда и увидела, как бородатый юноша открыл дверь изнутри и вышел из нее пятясь. За ним шел другой, чисто выбритый, а между ними тащилось что-то красное, и Чарли не сразу поняла, что это двое ведут, вернее несут, третьего — этот третий, стройный араб в красном блейзере, был ее возлюбленный.

Что ж, подумала она отчужденно, они и впрямь похожи, если сделать скидку на разницу в годах. Реальность его существования на миг поразила ее, и ей захотелось броситься на его защиту. Но она сдержала себя: на сцене не делают того, что не написано в пьесе. А кроме того она все еще была во власти Иосифа. И все же на миг она стала любовницей Мишеля, его Жанной д'Арк, она обедала с ним в придорожном ресторане, она любила с ним в пригородном мотеле под Ноттингамом, на запястье она носила браслет, который он ей подарил. Неужели хоть на миг она могла помыслить о любви к другому?

Он нетвердой поступью спускался с лестницы, слегка оскальзываясь на каждой ступеньке, и, когда его поставили перед ней, она почувствовала, что не выдержит. Она повернулась к Иосифу, надеясь услышать от него хоть слово поддержки, но тут Курц за ее спиной включил магнитофон. Голос, звучащий из магнитофона, был ей знаком: этот голос с сильным восточным акцентом она слышала на революционном форуме, он выкрикивал из-под лыжного шлема трескучие революционные клише. Юноша на диване напротив шевелил губами, пытаясь попасть в такт своей магнитофонной речи, но губы не слушались его. В комнате стоял какой-то знакомый запах, она не могла вспомнить, какой.

"Покажите ей его руки!" — приказал Курц, и бородатый повернул руки пленника ладонями вверх и предъявил их Чарли.

“Руки рабочего человека, — сказал Курц, — он работал этими руками, когда жил в лагере для беженцев. А теперь он не пачкает рук, теперь он интеллигент. У него полно денег, полно девушек, много вкусной еды и шикарных машин. И он заставляет своих девушек выполнять за него грязную работу. Одну девушку он просто посадил в самолет с бомбой в чемодане, — она конечно об этом не знала, и, я думаю, так и не догадалась, когда самолет рассыпался в воздухе на мелкие кусочки”.

Она вдруг узнала этот запах: лосьон после бритья, который Иосиф клал на полочку под зеркалом в каждом номере, где они ночевали!

“Ты не хочешь сказать что-нибудь приятное этой красивой даме?” — обратился Курц к юноше, и тот послушно сказал ей: “Добрый день, очень приятно с вами познакомиться”.

“Не отвечай, — приказал ей Курц, — и посмотри, как он пишет.левой рукой”.

Она смотрела, как он пишет левой рукой и мысленно умоляла Иосифа увести ее отсюда. Но вместо этого суровые юные стражи увели наверх по лестнице ее возлюбленного, а Курц повел ее следом, объясняя, что есть испытания, через которые надо пройти.

Ее ввели в комнату, потолок и стены которой были обиты чем-то мягким, а в углу стояла узкая койка. А на койке лежал Мишель, совершенно голый, стыдливо прикрывая рукой причинное место. Живот у него был плоский и мускулистый, плечи широкие, кожа смуглая и гладкая. По приказу Курца бородатый юноша показал ей все родинки и шрамы на теле Мишеля, — дыр от пуль там не было.

И тут Иосиф, решив, что с нее достаточно, увел ее прочь. Прочь из этой проклятой квартиры, давши ей только несколько минут на рвоту в уборной на нижнем этаже.

Она бежала по олимпийскому парку, как сумасшедшая и проклинала Иосифа, который покорно бежал рядом с ней. Ей было тошно, она была противна себе самой, но она не собиралась кончать жизнь самоубийством: она хотела жить с Иосифом, а не умирать с Мишелем.

* * *

Нижняя квартира была точной копией верхней, там только не было пленника и галереи. Пока она сидела там, читая письма,

она иногда умудрялась внушить себе, что никогда не бывала наверху, — комната ужасов, которую она видела там, была просто темным измышлением ее подсознания. Сверху доносился приглушенный топот, — там упаковывали вещи, готовились к отъезду. Приходилось признать, что верхняя квартира была не менее реальна, чем нижняя, тем более, что в верхней находилась плоть Мишеля, а в нижней — только его фальшивые письма.

Допуская ее к чтению писем, Курц снова употребил выражение “художественный вымысел” — она безумно влюблена в Мишеля и, страдая в разлуке с ним, каждую свободную минуту тратит на сочинение этих писем. Письма эти с поразительной откровенностью отражают не только ее любовь, но и рост ее политической сознательности, ее горячий интерес ко всем борцам за свободу.

“Поскольку мы понимаем, что у тебя уже нет на это времени, мы позволили себе вольность написать за тебя эти письма”, — сказал Курц, открывая портфель. Письма были в двух коричневых конвертах — один потолще другого. Курц бережно открыл руками в перчатках тот, что поменьше, и расправил слежавшиеся листки. Она узнала почерк Мишеля. Это копии, пояснил Курц, оригиналы ждут тебя в Лондоне. Затем он открыл второй пакет, и она с содроганием опознала собственный почерк. А это — оригиналы, сказал Курц.

Она начала с писем Мишеля, их было не больше дюжины, в одном он потребовал, чтобы она нумеровала свои письма — “этого требует моя безопасность”, — писал он. Из писем возникал другой Мишель, менее искусственный, более наивный.

Перейдя к своим письмам, она испытала нечто вроде суеверного ужаса, ибо коварная экспроприация архива Неда Квили снабдила старого грузинского фальшивомонетчика не только всеми возможными вариациями ее почерка, но также образцами бумаги, которой она любила пользоваться — театральными программками, ресторанными меню, отельными счетами. Что касается ее стиля, то здесь Леон в основном дал слово той части ее души, которую Иосиф называл арабской — склонной к риторике и пышным фразам. Эротическая тема в ее письмах звучала гораздо громче, чем в письмах Мишеля, и была представлена более богатой палитрой.

Когда она прочла все, она сложила обе пачки в хронологическом порядке и прочла их так, как они были написаны — пять ее писем на одно его.

“Спасибо, друг Жозе, — сказала она, завершив чтение, — ты очень мне польстил. Нет ли у вас тут лишнего револьвера, из которого девушка могла бы застрелиться?”

Курц засмеялся, но никто его не поддержал.

“Что ты все на Иосифа киваешь? Тут целый комитет работал, а не один человек”, — сказал Курц с обидой.

Потом она по просьбе Курца еще немного потрудилась над своими письмами Мишелю — надо побольше отпечатков пальцев, сказал Курц, сначала твоих, потом почтовых чиновников, потом Мишеля. А кроме того требовались следы ее слюны на краях конвертов и на задней стороне почтовых марок на случай проверки. У них тоже эксперты работают, а не дилетанты, вздохнул Курц.

* * *

Она запомнила прощальные отеческие объятия Курца, но ничего не могла вспомнить о своем прощании с Иосифом. Вот она слушает его последние инструкции, а потом полтора часа сидит в наглухо закрытом хлебном фургоне, в котором Димитрий везет ее обратно в Зальцбург. А потом сразу Лондон, знакомый с детства запах английской печали и невыносимое, зияющее чувство одиночества, какого она не испытывала никогда раньше.

В Лондоне все было как обычно: грузчики бастовали, автобусы ходили раз в час, в женской уборной воняло, как в тюрьме. Таможенный чиновник остановил ее и начал задавать дурацкие вопросы. Интересно, это была простая случайность или он получил указания насчет нее?

Стоя в очереди к автобусу, она подумала, что иногда вернуться домой это всё равно, что приехать на чужбину. Может, стоит взорвать это все к чертям и начать сначала?

15.

Мотель в сосновой роще, где остановился Курц, был построен всего год назад с расчетом на вкус любителей средневековья. Было два часа ночи, любимое время Курца. Он принял душ, побрился и, выпив кофе, вот уже час сидел в темноте у открытого окна, наблюдая в бинокль за мельканием автомобильных огней на шоссе Мюнхен—Зальцбург, проходящем в нескольких десятках метров от его бунгало.

Сегодня был долгий день, он начался с отъезда Чарли. Надо было освободить квартиры в Олимпийской деревне и спрятать письма Чарли в квартире Януки, и за всем этим Курц должен был проследить лично, ибо любая мелочь могла стоить всей игры.

Шимон Литвак сидел за спиной Курца на краю кровати, его мокрый плащ валялся на полу у его ног. Бекер сидел в углу в высоком кресле, он был вместе с ними и сам по себе.

“Эта девка не знает ни хрена, — докладывал Литвак обиженно. — Она просто дура. Она родом из Голландии, ее фамилия Ларсен, ей кажется, что Янука подцепил ее в какой-то коммуне под Франкфуртом, но она не уверена: через нее прошло столько мужиков, что она ни в чем не уверена. Она перегоняла для них машины, подкладывала бомбы и, если удавалось, воровала паспорта. Не за деньги, а из идейных соображений, потому что она — анархистка и дура. Она признает Бад Годесберг и Цюрих, а Антверпен не признает”.

“А Лейден?” — хрипло спросил Курц.

“Нет, говорит, не она — она отдыхала в это время с родителями на юге Франции. С нею очень трудно: она сначала в чем-то сознается, а потом берет все обратно. Когда мы нашли это место на пленке, она заявила, что это фальшивка и плюнула мне в лицо. И все время торгуется, она думает, что с евреями надо торговаться: я, мол, расскажу вам то-то и то-то, а вы меня за это отпустите, ладно? Она так пропиталась наркотиками, что можно одуреть, просто если стоять с ней рядом”.

Курц посмотрел на часы.

“Уже не важно, что она говорит. Важно, что мы с нею сделаем и когда мы это сделаем”. Он повернулся к Бекеру: “Как там с художественным вымыслом?”

“Порядок, — ответил Бекер. — Она провела пару дней с Луиджи в Вене, потом он привез ее на юг к машине, что правда. Потом она перегнала машину в Мюнхен, где встретилась с Янукой, что неправда. Но знают об этом только двое — Янука и она”.

Литвак радостно подхватил: “Они встретились в Оттобрюнне и занялись любовью. Где — неважно, при реконструкции они могут и не напасть на след этой встречи. Это они допускают, особенно с таким типом, как Янука”.

“И где они сейчас?” — спросил Курц.

“Сейчас они в машине, возвращаются в город. Им ведь надо

спрятать взрывчатку. И вообще, кто может потом узнать, куда они ехали и зачем?”

“А где она сейчас — в реальной жизни?” — спросил Курц.

“В фургоне недалеко от “Мерседеса”. И Янука тоже там. Их последняя ночь вместе. Оба сладко спят, они получили хорошие дозы снотворного”.

Курц отложил бинокль и спросил то ли Бекера, то ли себя самого:

“А кто-нибудь знает способ лучше?”

“Нет, у нас нет выбора, — ответил Бекер после долгой паузы, но лицо его не смягчилось. — Мисс Ларсен, конечно, не менее опасна, чем Янука”.

“Сколько ей лет?” — спросил Курц.

“Двадцать один. А что?”

“Спроси ребят. Пусть каждый выскажет свое мнение”.

“Они уже высказали”, — сказал Литвак.

“Спроси еще раз. И через час позвони мне. Раньше, чем через час, ничего не предпринимай”.

Литвак понял: Курц хотел дождаться, когда движение на шоссе будет минимальным. Когда Литвак ушел, Курц позвонил Алексису. Не знай Бекер своего шефа много лет, он мог бы поначалу принять этот разговор за задушевную беседу двух друзей: как жена, как здоровье, — дела житейские. Но очень скоро Курц перешел к сути:

“Пауль, — сказал он, — та катастрофа, о которой мы как-то говорили, должна произойти с минуты на минуту, и отменить ее уже не в нашей власти. А раз так, возьмите карандаш и бумагу и записывайте: в первые сутки после получения вами сообщения о катастрофе сосредоточьте розыски на студенческих кварталах Франкфурта и Мюнхена, где гнездятся различные мятежные группки левой ориентации. На второй день отправляйтесь на центральную почту в Мюнхене, там вас будет ждать заказное письмо, содержащее имя одной из жертв, голландской девицы с темным прошлым”.

В голосе Курца зазвучала командирская сталь: никаких обысков в центре Мюнхена в первые дни, все лабораторные результаты следствия сначала должны быть проверены Курцем лично, равно как и все публичные заявления одобрены им. Когда Алексис начал возражать, Курц отвел трубку подальше, чтобы и Бекер тоже мог слышать.

“Но. Манти. я бы хотел знать, в чем здесь дело. Катастрофа есть катастрофа, а мы живем в демократической стране... Я требую, я настаиваю: никаких жертв. Это мое условие”.

“Слушайте, Пауль, я обещаю: никакого ущерба немецкой собственности”.

“А жизнь? — завопил Алексис. — Мы же цивилизованные люди!”

Курц сказал жестко: “Ни одна капля невинной крови не прольется, Пауль, и ни один гражданин Германии не пострадает”.

“Я могу на это полагаться?”

“Вам придется на это полагаться”, — отрезал Курц и повесил трубку.

Доверять такие вещи телефону было не в привычках Курца, но сейчас он мог себе это позволить, так как Алексис лично вел телефонным подслушиванием в Германии.

Через десять минут позвонил Литвак. Давай, действуй, сказал Курц, пора.

И они стали ждать, — Курц у окна, Бекер в кресле в углу, — не отрывая глаз от темноты за окном. Бекер начал подсчитывать секунды: столько-то, чтобы устроить их в машине, столько-то, чтобы все проверить в последний раз, столько-то, чтобы с помощью искусного маневра с дорожными знаками перекрыть движение по шоссе в обоих направлениях, столько-то, чтобы прикинуть цену человеческой жизни, даже жизни тех, кто жизнь других не ценит ни во что.

Это был, как это всегда бывает, самый громкий взрыв в мире, — громче Бад Годесберга, громче Хиросимы. Сидя за спиной Курца, Бекер увидел, как взлетел в воздух огромный оранжевый шар, взлетел и исчез, оставив в небе за собой клубы маслянистого черного дыма. Парусом надулась оконная штора, в комнату ворвалась волна горячего воздуха, а с нею волна испуганных криков, всплески собачьего лая, и встревоженный топот ног на дорожках мотеля, декорированных под средневековье.

Бекер включил радио в ожидании сообщений, зазвучала музыка для полуночников. По шоссе, завывая и полыхая голубым, промчалась полицейская машина, за ней, полыхая красным, скорая помощь. Музыка по радио прекратилась, деревянный голос сказал, что на шоссе к западу от Мюнхена произошел взрыв, причина которого пока неясна. В связи со взрывом шоссе Мюнхен—Зальцбург временно закрыто для движения.

Бекер выключил радио и включил свет. Курц, закрыв окно,

задернул шторы и сел на кровать, одним движением сбросив с ног туфли. Затем он поднял голову и поглядел на Бекера, стоящего у двери, — что-то в выражении лица Гиди вызвало у него вспышку мгновенного гнева.

“Ты хочешь сказать мне что-то, господин Бекер? Сделать заявление, которое облегчит твою совесть?”

Нет, Бекер ничего не хотел сказать. Тихо закрыв за собой дверь, он вышел из комнаты.

(продолжение следует)

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО “МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ”

готовит к выпуску новые книги:

ИГОРЬ ГАРИК (ГУБЕРМАН). ЕВРЕЙСКИЕ ДАЦЗЫБАО 150 стр.
(книга третья)

Сборник новых иронических и философских стихотворных раздумий известного автора, прошедшего жестокий опыт тюрем и ссылки. Предварительная цена 8 долл.

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. СБОРНИК СТАТЕЙ 200 стр.

Сборник статей, написанных в России и Израиле и развивающих темы известной книги того же автора “Трепет иудейских забот”. Предварительная цена 12 долл.

ЛЕОНИД ЦЫПКИН. ЛЕТО В БАДЕНЕ 300 стр.

В сборник произведений безвременно скончавшегося замечательного писателя войдут роман “Лето в Бадене” (о Достоевском) и ряд рассказов. Предварительная цена 12 долл.

ДАВИД ТАКСЕР. ИСК 200 стр.

Остросюжетная автобиографическая повесть о судьбе советского офицера-перебежчика, выданного англичанами советским властям, развертывается на фоне оккупированной Германии 45-го года. Предварительная цена 10 долл.

Заказы и чеки принимаются по адресу: “Москва—Иерусалим”, п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

*“Не с вами только одними
я поставляю сей завет и сей
клятвенный договор, но и с
теми, которых нет здесь с нами
сегодня”.*

Второзаконие, гл. 29

В последнее время в публицистике журнала “22” обнаруживается неожиданно интересная тенденция, которая провоцирует затеять спор. Уважаемые авторы, чьи печатные мысли обычно вызывают у меня оживленное согласие, все чаще вплетают в ткань своих рассуждений крайне нелестные отзывы о еврействе диаспоры. Это неприязненное отношение варьирует по всему спектру отрицательных эмоций: от полупрезрения, смешанного с брезгливостью, до праведного гнева, до ненавистнических откровений, дышащих темной страстью нюрнбергских законов. Поскольку суждения такого рода до сих пор не привлекли к себе ничьего оговорченного внимания, то есть были восприняты читающим израильтянином как само собой разумеющиеся, остается предположить, что налицо некий коллективный феномен — не то групповое настроение, не то зачатки новой идеологии.

Ефим Фиштейн

Некоторые ударные мысли этого идейного поветрия счастливо сведены в 36-й книжке журнала. М. Хейфец, на примере русского писателя Куприна, вну-

ИЗ ГАЛУТА С ЛЮБОВЬЮ

шает читателю, будто антисемитские представления могут складываться у вполне приличных людей как естественная реакция на специфические пороки евреев диаспоры. Внешние проявления этих пороков он именует "симптомами галутных заболеваний". Им Хейфец противопоставляет некие "исконные национальные черты", которым предстоит развиться в Израиле. В целом внеизраильское еврейство представляется ему личностью с психопатическими отклонениями. "Болезнь серьезная, лечение затяжное". Тех же, кто вовремя не доставлен в сионскую психбольницу, ждет, надо полагать, летальный исход.

Доклад М. Агурского о совместимости сионизма с социализмом изобилует смелыми, сильными и серьезными построениями. Однако, затрагивая вопрос о рассеянном еврействе, он доводит смелость своих суждений до степени, которую принято называть "безумством храбрых". Словно бы пародируя антисемитский инстинкт отчуждать в еврее мировое зло, М. Агурский озабоченно ищет источник израильских бед и находит его в лице... еврея диаспоры. Вот какими невероятными словами это делается: "Еврей диаспоры ненавидит физический труд, он ненавидит сельское хозяйство. Вот почему он инстинктивно хотел бы разрушить то, что было достигнуто столь тяжелым трудом. Еврей диаспоры ненавидит коллективизм, и он хотел бы разрушить весь израильский общинный социализм в принципе. Еврей диаспоры, живущий в Израиле, "подкуплен" евреями-капиталистами диаспоры и устал от остатков своей независимости".

Здесь любопытна даже не полная безосновательность подобного рода безапелляционных характеристик. И даже не то смешное обстоятельство, что их автор сам сравнительно недавно был евреем диаспоры и, наверное, за такие слова готов был побить лицо. Здесь замечательно другое: еврей диаспоры, абсолютизированный "ад абсурдум", лишается своего конкретного словарного значения и превращается в "жида" стихийных антисемитов, во "все, что не мы". Таким образом, для еврея диаспоры оказываются возможными ранее немислимые вещи: быть жителем Израиля, саброй, ликудником, на худой конец вообще не быть евреем. (Дюжиной страниц позднее в том же номере журнала встречается могучее высказывание Гитлера о необходимости "освободиться от еврея в собственной душе". Экзорсизму подлежал и тогда "еврей диаспоры"...)

Интенсивности хлыстовского радения достигает проявление

этого нехорошего чувства в рецензии Н. Гутиной "Вместо декларации". Читать ее строки почти так же неловко, как оказаться случайным свидетелем чьего-то пароксизма. Вся она исполнена такого неукоснительного презрения к маленькому еврейскому человеку, что остается только содрогнуться от восхищения. С таким автором не спорить хочется, к нему хочется прикоснуться, чтобы причаститься совершенству, чтобы понять, наконец, какими судьбами оказалось здесь это редкое в еврействе самочувствие — довольство собой и своей значимостью, красиво оттененное осознанием ничтожества прочих.

Еврей СССР, Соединенных Штатов, а надо полагать, и других стран рассеяния, предстает в подаче Н. Гутиной концентрированным воплощением всех доступных человеку отвратительных качеств. За вычетом немногих достойных, все выехавшее из Союза Н. Гутина рекомендует классической чернью, сволочью невысокого полета, отходом человеческого материала, оставшимся в господней мешалке после сотворения израильтян и других территориально обеспеченных народов. Между достигшими Сиона и этой мещанской шушерой с заниженными интересами нет и не может быть ничего третьего, промежуточного, переходного. Эти люди кругом виноваты, даже тем, что покинули Россию "легко и бездумно" (истинные патриоты, по выражению Гутиной, "еще и упираются", то есть покидают Россию "медленно и печально").

Н. Гутина настолько уверена в благородстве занятой нравственной позиции, что решается на крайние меры: "И особенно мне жаль, что и новоиспеченные израильские граждане оказались настолько безответственными, настолько малоразвитыми во всем, что касается понятия гражданственности, что позволили себе втянуть в это сомнительное предприятие... министерство иностранных дел своей страны, манипулируя такими понятиями, как "еврейская солидарность", "защита демократии" и рассказывая сказки о несчастном советском еврействе, на которое вот-вот обрушатся погромы. Я уверена, что если эссе Зубова (посвященное разоблачению несостоявшихся израильтян — Е. Ф.) о "жили-бытелях" перевести на иврит и положить на стол чиновникам, ведающим отправкой документов советским евреям, то ни одного вызова больше отправлено не будет"!

Читаешь, перечитываешь и думаешь, спадая с лица и с голоса: каким же русалочьим прибором выбросило на израильские берега автора этих богоравных строк, оглушительно несправедливых,

как приговор советского суда? Ведь оскорбительная речь ведется о сотнях тысяч евреев, покинувших Страну Советов, о двух миллионах, почему-то не покинувших ее, о миллионах евреев Америки, о всей диаспоре, о двух третях нашего народа! В ничтожества обращены люди, чьи недостатки при желании можно видеть и достоинствами (помните, как убивался В. Жаботинский по поводу исчезновения еврея-копеечника, все больше вытеснявшегося типом еврея, гордого своей принадлежностью к духовной элите?), те самые молчаливики, которые во все времена безропотно тянули лямку своего еврейства. Они все еще составляют основную массу еврейского народа, особа которого, как известно, царственна и суду смертных не подлежит. Но небожительская спесь подвигает Н. Гутину решить это противоречие раз и навсегда — она просто отлучает диаспору от еврейства (“те из них, которые евреи, выбирают самоопределение”).

Я не собираюсь морализировать по этому поводу, тем более, что автор явно в ладах со своей совестью и в мои укоризненные глаза посмотрит, надо думать, не смежая век. Меня эти примеры волнуют скорее как проявление коллективного нарциссизма, самолюбования, одолевшего израильских интеллектуалов русского происхождения на почве отталкивания от диаспоры.

Вопрос явно наболел и его пора ставить ребром.

Существует множество гипотез, пытающихся объяснить значение еврейской диаспоры. По одной, современный галут поддерживает всемирно-историческое значение еврейского вопроса, не давая ему свести себя до уровня ближневосточной региональности. По другой, рассеянное состояние позволяет еврейству при нужде мобилизовать несравнимо большие материальные и людские ресурсы, чем это по силам одному лишь еврейскому государству. По третьей, внеизраильские общины выступают как стихийные политпредства и агитпропы Израиля, не стоя ему ни гроша. Некоторые утверждают, что диаспора осуществляет синтез мировой культуры, окормляя им Израиль. И почти все усматривают функциональность диаспоры в том, что она делает еврейство практически неистребимым, гарантирует ему вечную жизнь в пределах существования рода человеческого.

Я не знаю скрытого смысла диаспоры. Как и многие другие, я даже не в состоянии с уверенностью ответить на вопрос, как меня занесло в галут и почему я там по сей день околачиваюсь. Но эта неясность меня не смущает. У еврейства никогда не было

полной ясности в понимании своего положения и его причин. Изгнание мнилось карой за содеянные грехи, а оборачивалось особой милостью, которой господь отметил свой народ. Диаспорой еврей отработал печать избранничества, которую он провидел на своем челе. Не понимая сокровенного смысла происходящего, еврей, как Иов, чувствовал только, что так — надо. Стремление внести полную ясность порой только затемняет суть дела.

Диаспора была свершившимся фактом, перед которым меня поставил мой народ. Оставалось разве что довериться его инстинкту. Тем более, что история свидетельствовала: рассеянное состояние не является для него противоестественным. Иудейская летопись — это летопись всенародных кочевий, египетских, вавилонских и римских пленений. Но даже в периоды максимальной государственной устроенности еврейство уже оставляло на своем пути гарнизоны, рассылало во все концы передовые отряды, словно чуя изгнание и готовясь отойти на заранее подготовленные позиции. Неизбывная тяга к Сиону и стойкое ожидание Мессии создавали постоянное напряжение, свойственное хорошей острофабульной литературе. Но в философской отвлеченности этих представлений еврейская душа благополучно возвращалась к своему расовому корню.

Есть мыслители, которые склонны видеть в рассеянном еврействе скорее социальную религию, нежели нацию в нормативном значении этого слова, скорее социальный фермент, привыкший больше работать для человечества, чем для своей земной родины. При этом они ссылаются на пророка Исаяю, для которого идея отечества — есть идея справедливости. Израиль никогда не был счастлив формами государственности, — намекают они. Семит вошел в мир, — говорят они, — чтобы осветить человечество первыми вдохновениями упорядоченного семейного строя, но никогда не мог выносить в себе государственного идеала — именно потому, что, начиная строить свое государство, он всегда хотел, чтобы оно было — как великая семья, и гражданство в нем разрешалось бы в родство и братство, в могучем расширении от семьи к роду, от рода к колену, от колена к союзу Бней-Израэль. По мнению сторонников этой теории, еще во времена великого в пленника Иеремии иудейство выработало кодекс, который в качестве национальной характеристики предпринял его судьбу: государственный идеал в нем всегда будет пасовать перед идеей фамильного союза, лучшим выражением которой

стало чудо диаспоры. Смысл теории примерно таков: справедливость и закон есть истинное, первое отечество иудея, за которым тускнеет и должно поступаться своими интересами отечество, определяемое территориальностью, государственностью и общественностью. Если иудеи готовы были пожертвовать стенами и площадью своего святого города, лишь бы не нарушить субботы (в 319 г. до н. э. Птолемей, сын Лага, взял Иерусалим в субботний день, когда евреи сочли грехом поднять оружие для самозащиты), то пожертвовать хоть йотой своей веками выношенной и узаконенной религиозной совести они не соглашались за все города, богатства и привилегии мира. Израиль довольно равнодушно переходил из-под ига одного деспота к ярму другого, но попытка сумасбродного Антиоха Эпифана эллинизировать Иудею и распространить в ней олимпийский культ вызвала героическое восстание Маккавеев, движущую идею которого лапидарно выразил Иегуда: "Царем Сиона будет только бог!"

Это первое отечество, "царство не от мира сего", менее всего подвержено земной изменчивой конъюнктуре именно в диаспоре, где роль государственных границ эффективно играет литературная и философская самозащита иудейства — гигантская сумрачная крепость Талмуда — "закона, отгороженного от иноверных непрерывно умножаемыми стенами". Диаспора, таким образом, — специфическая форма существования еврейства в земном пространстве и времени.

Я привожу эти мысли не потому, что разделяю их, а потому, что они есть. По мне, чудо восстановления Израиля задним числом сообщило диаспоре новый смысл, а заодно гениально развязало грозивший затянуться сюжет — короче, увенчало чудо диаспоры. Увенчало, но не отменило.

Нынешний приступ недоброжелательного отношения к галуту у части "еврейской интеллигенции из СССР в Израиле" имеет под собой сравнительно простые и неоднократно описанные в специальной литературе психологические механизмы. Один из них безошибочно диагностировала Н. Гутина — применительно к новым американцам — как комплекс неопита, понуждающий проявлять особое усердие и рвение в защите новоосвоенных ценностей. Другой связан с переходом из одного состояния или положения в иное, якобы более цельное и законченное (ситуация ухода). Подведение под такой переход, или уход, непрременной идейной базы сопровождается обычно необоримым желанием охватить

предыдущее состояние, как и все свойственные ему ценности. Этот механизм особенно нагляден в психологии ренегата. Беглый израильтянин находит для своего дезертирства исключительно идейные мотивы (как у Э. Севеллы — “не могу видеть, как все эти израильтяне ковыряются в носу!”). Новообращенный вероотступник принимается анекдотически презирать свой народ за веру отцов, потерявшую для него какую-либо прелесть, — иначе как сохранить уважение к себе? Выработка самооправдательной психологии почти всегда проходит на фоне нарастающего пренебрежительного, наплевательского отношения к “старой вере”. (“Я покидаю старую кровать. Уйти? Уйду! Тем лучше. Наплевать!” — так обставил свой уход от происхождения Э. Багрицкий, изложив в телеграфном стиле важнейшие побуждения, действующие в этой ситуации).

Есть и другие, по-человечески очень понятные мотивы: скажем, горечь преданных и соблазн распространить это горькое чувство на тех, кто предателей обласкал. Мало ли мотивов, которые можно понять?! Гораздо трудней понять, почему даже сильные, аналитические умы оказываются неспособными преодолеть инерцию косной душевной механики и заняты скорее изысканием оригинальных обоснований для довольно банальных реакций.

Заразительное презрение к галутнику — удел отнюдь не только гордых идеалистов, познавших искус бескорыстной жертвы. Бог весть каким правом, но им помыкает и израильтянин, который дома охотно уклоняется от милуим и зарабатывает свой шекель в торговых рядах. Не один лабазник и поуличный меняла вывозит это бодрящее чувство и в пожизненную йериду...

Совсем иное отношение к другому члену этой пары у еврея диаспоры. Перед лицом израильтянина он нередко комплексует, готов таскать на себе горб непонятной вины, мечтая и не решаясь разделить с израильтянином его судьбу. Эта недостаточность компенсируется напряженным поддержанием своего еврейства в противопоставлении окружающему миру, нарочитым выпячиванием мелкой еврейской символики, традиционализмом, стремлением сохранить связь времен и легкой возбудимостью исторического чувства. Еврей диаспоры берет на себя специфический риск одиночного противостояния антисемитской стихии, он первым принимает ее на себя и отвечает на нее первой полемикой...

Можно, конечно, какое-то время простоять в позе последних праведных, можно подпереть себя красивыми словесами. Но за

неуемной требовательностью угадывается незрелый максимализм, а тот по-своему опасен. Ведь в самом Израиле ни по одному вопросу нет единства мнений — сколько в стране граждан, столько премьер-министров. Не один максималист, сбившись с ноги и выпав из строя, готов отвернуться от несовершенного народа, считая его недостойным своей высокой жертвенности. Я видел сионистов, с проклятиями отринувших Сион, объявивших его всего лишь еще одной общиной диаспоры, пораженной заразой меркантилизма, томящихся по Новой Иудее. Они и посейчас ищут свой Грааль. Даже в дальних углах диаспоры этих одичалых людей перестали звать к пасхальной вечере.

Мудрость, прославившая предков, внятно подсказывает: у Израиля врагов не счесть, нет смысла в самоубийственной гордыне открывать новый фронт — против диаспоры. В психологии Масады много вызова потомкам, но мало надежды для живых. Не лучше ли сдвинуть лбы и мощно подумать о новых импульсах, способных разбудить в рассеянном еврействе задремавшего зверя идеализма, пробудить новый интерес к старому делу?!

Как бы ни повел себя израильтянин, у диаспоры нет выхода: она тихо станет за его спиной, как нелюбимая, но верная жена.

Александр Воронель

ИАКОВ ОСТАЛСЯ ОДИН

“...И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари...”

...И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом...”

Бытие, 32, 24—28.

Вспомним молодость. И ее песни:

“Сарра, не спеша, дорожку перешла.

Ее остановил милиционер:

“Свисток не слушали, закон нарушили,

*Платите, Саррочка, штраф – три
рубля!”*

*“Ну, что ты, милый мой! Ведь я
спешу домой.*

Сегодня мой Абраша выходной.

– Купила курочку, кусочек булочки,

Полфунта маслица и пирожок...

Я никому не дам, все съест родной

Абрам,

А курочку разделим пополам...”

Даже короткого пребывания в израильском гражданстве достаточно, чтобы почувствовать, как изменяется в тебе отношение к антисемитам и антисемитским шуткам. Ну, перешла Саррочка дорожку, ну и что? Песенка про беззаветную преданность Сарры своему Абраму, которая почему-то оскорбляла нас в России, вдруг показалась мне почти трогательной. Если бы только имена Абрам и Сарра не резали слуха русскому читателю, эта простая история, возможно, заняла бы свое скромное, но достойное место в заднем ряду других шедевров мировой литературы, посвященных идиллическим парам: “Дафнис и Хлоя”, “Филемон и Бавкида”, “Фархад и Ширин”, наконец... Раздобудь Ширин шашлык для своего Фархада, разве она разделила бы его с первым встречным милиционером?

В Израиле, где Абрам и Сарра звучат ничуть не иначе, чем Иван да Марья, начинаешь чувствовать, что если бы антисемитизм оставался неразделенным чувством, он не смог бы задеть нас столь основательно, как это было в действительности. То есть без нашего психологического соучастия, готовности “понять”, он не казался бы столь оскорбительным. Опасным – конечно, несправедливым – большей частью, но вовсе не унижительным. Ведь песенка про Саррочку оскорбительна русскому еврею только потому, что она довольно верно воспроизводит портретные черты его нерусского предка. Так называемого “местечкового” еврея, сходства с которым он привык стыдиться. Ведь еврей в России был склонен стыдиться, и что отца его некрасиво звали Абрамом. Что мама живот готова была положить, чтоб в доме была курочка. Что родители не угощали направо и налево соседей, как делают русские люди в патриотических кинофильмах, на которых мы были воспитаны. И разве не стыдно того, что родители относились друг к другу по-человечески? Мещанская сентиментальность! Какая еще сентиментальность возможна между Абрамом и Саррой?

Вот купила бы она чекушку! А верный Абрам, ставший Аркадием, выпил бы ее с соседом и подрался — такая песня была бы не антисемитской, и она неискаженно отражала бы дорогой нам всем образ советского еврея:

Раз пошли на дело, я и Рабинович.
Рабинович выпить захотел...

Все, как у людей.

Говорят, с помощью логики все можно доказать. И все опровергнуть.

Ничего подобного. Никакой логикой не докажешь израильянину, никогда не жившему среди других, что антисемитизм может его унижить. Также невозможно опровергнуть тот, уже случившийся, факт, что существование Израиля проблему антисемитизма снимает. Антисемитизм остается, как был. Но проблемы больше нет...

Конечно, израильтянин может заметить антисемитизм — он не слепой. Но он не может проявить того "понимания", которое дает возможность еврею страдать, а антисемиту получить свое моральное удовлетворение. Израильтянин не найдет в собственном опыте никаких оснований оскорбиться при разговоре о еврейских недостатках. Он даже может многое добавить от себя. Антисемитские карикатуры понятны только людям из диаспоры, которые там вместе с коренным населением знают, как они безобразны. Евреи из Израиля не видят ничего некрасивого в крючковатых носах и выпуклых глазах. Некоторым даже нравятся толстые губы. Однако, главное не в этом. Антисемитизм не волнует израильтян прежде всего потому, что он никак не может им повредить. И это быстро усваивают новые израильтяне. Так уж мы, люди, все устроены. Нас волнует по-настоящему только насущное. Из этого тривиального соображения вытекает нетривиальное следствие: у проблемы антисемитизма существует решение.

Я не стану утверждать, что это решение для всех. Например, тот факт, что три миллиона евреев в Израиле уже не реагируют на антисемитизм, несколько не облегчает ежедневных страданий миллионов антисемитов, по-прежнему видящих более чем достаточно евреев вокруг себя. И у них, антисемитов, пока нет выхода. Возможно и сами эти евреи не полностью счастливы в диаспоре. Однако, у них выход есть... Я, конечно, не имею в виду СССР, где даже в метро повсюду натыкаешься на надпись: "НЕТ ВЫХОДА".

Проблема, которая имеет решение, уже не проблема, так же, как и трагедия со счастливым концом уже не может считаться трагедией. Жизнь всякого человека на земле трудна, но трагедией ее делают только Непреодолимые Обстоятельства. Рок и Страсти ведут к Гибели. Погромы и Катастрофа сообщают еврейской судьбе трагический оттенок. Но если есть выход, в чем трагедия? Если нет неразрешимости, в чем проблема? Еврейское государство было создано, чтобы дать приют беглецам, которым было некуда бежать. Если бы у слова "некуда" был в те времена какой-нибудь переносный смысл, еще неизвестно, как бы обернулось дело...

Я также не могу сказать, что Израиль, во всяком случае — в том виде, как он есть, является наилучшим решением еврейского вопроса. Несомненно, что в диаспоре есть евреи, которые знают лучшие решения. Например два года назад в нашу редакцию поступила из Мюнхена книга Б. Ефимова "Новый Израиль для территориалистов" (см. "22", № 32). В ней набрасывалась заманчивая альтернатива. Там предлагалось построить плавучий остров, размером с Израиль, который будет плавать по морям, выбирая климат согласно результатам референдума среди его жителей и давая евреям возможность пожить в наилучшее время года то в Европе, то в Америке. Все равно в Израиле нет полезных ископаемых (кроме костей предков). Заодно отпадет проблема границ и территорий, а также смежные проблемы военной службы и взаимоотношений с арабами. Зато пышным цветом расцветут еврейские таланты, которые, конечно, обеспечат высочайший в мире жизненный уровень... При первых признаках появления антисемитизма в пунктах причала, остров разводил бы пары и отплывал к более гостеприимным берегам. У такого проекта почти нет недостатков, в отличие от Израиля, который имеет их в изобилии. Однако, если обсуждать только то, что есть, приходится признать весьма несовершенный Израиль реальным (то есть тоже, в сущности, несовершенным и пока единственным) решением еврейского вопроса.

Решение одной проблемы всегда ведет к возникновению новых проблем. Освободившись от проблемы антисемитизма, израильтяне по горло завязли в проблемах, которые наши предки вверяли коренному населению антисемитских стран. И тут у многих израильтян возникло искушение подумать, что, быть может, и не всегда или не полностью были неправы отдельные антисемиты в

отношении отдельных, нетипичных евреев, которые мешали им, антисемитам, решать их отдельные проблемы. Проще говоря, когда из привычного состояния в меньшинстве, ты вдруг ощущаешь себя принадлежащим к большинству, ты и мыслить начинаешь иначе, в соответствии с ролью и интересами большинства.

Если социальная проблема меньшинства состоит в том, чтобы улучшить свое положение в составе общества, проблемы и ответственность большинства гораздо шире (и потому неизмеримо труднее) и относятся к устройству и существованию общества в целом. Проблемы меньшинства известны и хорошо изучены. В идеале, меньшинство завоевывает себе все то, что уже есть у большинства. Как сказал достигший в России признания поэт М. Светлов от имени русских евреев: "Чего они еще от нас хотят? Мы уже пьем, как они". Проблемы же большинства беспредельны и задачи не ясны. Идеал для большинства не поддается определению и зависит от веры. Как сказал другой поэт: "Умом Россию не понять. В Россию можно только верить". Он хотел намекнуть, что Светлов выполнил еще не все условия, необходимые, чтобы слиться с большинством населения России.

Меньшинство получает свою награду или поношение от своего большинства. А чей суд свершается над большинством? Стоит ли упоминать все? Тем более, что во многих исторических случаях этот суд еще не свершился.

Еврей в диаспоре, хочет он того или нет, противостоит всего лишь обществу, в котором живет. Правота в спорах с людьми слишком легко ему дается. Даже будучи побиваем и несправедливо оскорблен, он оказывается прав вдвойне, ибо еще и осуществляет христианский идеал распинаемой правоты. Это противостояние, справедливо или нет, дает внешнее основание для антисемитизма.

Прав был Иаков в споре с Лаваном или нет? Был ли он виновен перед братом своим Исавом? По-человечески их спор мог быть решен и так, и этак. Пока Иаков не остался один. Пока своей борьбой в одиночку он не подтвердил завета, заключенного с предками. Только этот Завет поставил его правоту выше обычных житейских расчетов. Он должен был остаться один, чтобы встретить истинное свое предназначение. Он остался один, чтобы легкость межчеловеческих споров не увела его от призвания. Еврей в Израиле, вместе со всем своим обществом, остается,

наконец, один... Человек из диаспоры теперь тысячу раз подумает, прежде чем предпочтет сменить свои знакомые, наболевшие проблемы на свежие проблемы израильянина. И он будет прав. Думать, вообще, полезно. А вот пожаловаться больше некому...

Распалась связь времен. До 1948 года всегда можно было пожаловаться на антисемитизм. И найти понимание. По крайней мере, среди своих. После 1948-го попробуй, пожалуйста — свой же брат-еврей тебе под нос сунет: "Ну, и поезжай в Израиль!"

Что же ему ответить? Неужели, как Е. Фиштейн (тоже из Мюнхена) учит в своем эссе "Из галута с любовью", что ты "вошел в мир, чтобы осветить человечество первыми вдохновениями упорядоченного семейного строя, но никогда не мог выносить в себе государственного идеала"? Ведь засмеют! Вот и Е. Фиштейн дальше пишет, что приводит "эти мысли не потому, что их разделяет, а потому, что они есть". Но если нельзя уже всерьез привести эти мысли, чтобы защитить свое положение в диаспоре, то не означает ли это, что их уже как бы и нет? То есть они уже не относятся к делу. В частности потому, что дело идет не об идеалах. Есть еще множество причин жить в Мюнхене, вопреки антисемитизму, даже если навсегда оставить надежду осветить человечество своими вдохновениями. Причины эти более чем уважительны, но поскольку в сумме они перевешивают неприятные впечатления от антисемитизма, значит и антисемитизм этот не так страшен, как его нам малюют. Если же он действительно непереносим, то... мы опять возвращаемся к тому, с чего начали.

Кто бы мог подумать о таких необратимых последствиях реализации права на самоопределение? Кто бы предположил, что получив, вдобавок к остальным правам, право на самоопределение (что есть безусловное благо), мы утратим часть душевного комфорта, связанного с возможностью винить других во всех наших бедах?

Не к тому ли сводились некоторые из антисемитских претензий?

Такая же опасность, кстати, таится и в реализации всех остальных "прав человека". И нет ли заметной доли правоты и в претензиях охранителей к диссидентам?

О, если бы все, борющиеся за свободу, это знали!

Весьма проницательно отметил Е. Фиштейн у нас, у новых израильян, склонность к самообожанию в сочетании с равнодушием к судьбам преследуемых евреев всего остального мира.

Конечно, было бы лучше для всех, если бы такое наблюдение исходило от человека, живущего среди нас. Нам тогда было бы легче его принять. Он, Фиштейн, в данном случае, поступил с нами, как еврей. Неделикатно, то есть, выступил. Но давайте и мы не становиться антисемитами и примем его обличение с благодарностью. Ведь есть грех. Есть желание возвыситься над галутным евреем (над кем бы еще можно было, кто бы стал слушать?), возрастающее пропорционально разнице в налогообложении и числу дней, проводимых в военной службе. Есть и другие грехи, похуже этого. Но и признав все свои общечеловеческие грехи, не признаем, что между израильтянами и остальными евреями нет никакой разницы. Разница не просто велика, а принципиальна.

Есть ли разница между владельцем предприятия и наемным служащим? Люди в СССР, возможно, думают, что эта разница проявляется только в доходе, который они получают. Однако, есть предприятия, где разницы в доходе нет или она — не в пользу хозяина. Принципиальная разница, которую не измерить деньгами, существует между тем, что "мое", и тем, что "чужое" или "общее". Тут идеология ни при чем. Я окурков дома на пол не бросаю. Не потому, что уважаю труд уборщиц. А в городском парке я их бросаю не в знак протеста против ущемления прав этнических меньшинств. Тот факт, что в сферу "своего" у израильтянина, хотя бы и недавнего, входят совсем другие люди, вещи и понятия, не станет отрицать и Е. Фиштейн. Но тогда и его ирония по поводу сходства израильтян с "другими территориально обеспеченными народами" показывает лишь глубину его непонимания. Непонимание это заставляет нас еще острее ощутить то новое чувство причастности, которое так редко посещало нас в СССР. Быть может, и здесь идеология играет очень небольшую роль. Когда израильская команда играет в баскетбол, мы переживаем это совсем не так, как было в России. И наша операция в Энтеббе волновала нас гораздо больше, чем провалившаяся операция американцев в Тегеране и чем удачная операция немцев в Могадишо. Когда видишь по своему телевизору похороны солдата, накануне погибшего в Ливане, и знаешь, что на днях соседскому мальчишке идти в армию, воспринимаешь это иначе, чем сообщение, что еще 10 000 советских солдат погибло в Афганистане. Тут соображения о справедливости войны ни при чем. Может быть, Россия слишком велика, а советская власть слишком

противна, чтобы могли мы так же чувствовать это и в своей диаспоре. Но, быть может, и упреки русских антисемитов в том, что, несмотря на триста лет сосуществования, не все евреи ощутили Россию, как "свою", не вовсе лишены оснований? Конечно, также очевидно, что и русские сами виноваты в этом, но ведь не станем же мы ожидать, что они увидят у себя в глазу эту соринку. Ведь они, как и мы, такие, какие есть, хороши для себя и меняться не спешат.

Оттого, что Израиль маленькая страна, наша жизнь очень сильно зависит от всего, что в ней случается. И это меняет все наши прежние представления о жизни вообще и о нашем брате-еврее, в частности. В известном стихотворении:

Вдруг трамвай на рельсах встал,
Под трамвай еврей попал.
Евреи, евреи, — везде одни евреи...

юмористическим в Израиле может показаться только упоминание трамвая, которого здесь никогда не было. Ведь вокруг нас действительно везде одни евреи. И "если в кране нет воды", воду в самом деле выпили или испортили жида. А в том, что "нету бинта, нету ваты — все евреи виноваты" у нас сомнений быть не может. Кто же еще? Всеми своими неприятностями, как и всеми достижениями, мы обязаны исключительно евреям. Израильянин не просто окружен евреями. Он всегда окружен ими и только ими.

Наш традиционный моральный экстремизм, радикальность мышления и нетерпимость несколько умеряются постепенным осознанием того факта, что все мы сидим в одной лодке. А также непосредственным ощущением, что эта лодка не так уж велика. Мы привыкаем жить одни в своем доме...

Наверное, коренное непонимание в главном пункте обрекает на недостоверность и все остальные пункты литературно такой обаятельной статьи Е. Фиштейна. Начиная с эпиграфа из Второзакония, который очевидным образом относится не к евреям Израиля и Диаспоры, а к первому поколению, вышедшему из Египта, и последующим. Кончая очаровательной последней фразой о диаспоре: "Она тихо станет за его (израильянина) спиной, как нелюбимая, но верная жена". Как это ни трогательно, однако "любящая, но неверная жена" было бы для характеристики взаимоотношений Израиля с диаспорой не менее верно. Фаталь-

ным образом все три автора, которых выбирает для критики Е. Фиштейн, никак не укладываются в его диагноз. Ни один из них не может быть обвинен в "комплексе неوفита", и тем более здесь не по делу "комплекс ренегата". И М. Хейфец, и М. Агурский сложились как писатели еще в России и высказывали там в своих неподцензурных писаниях мысли очень близкие к тем, которые вызвали критику Е. Фиштейна сейчас. Мы даже имели случай критиковать одного из них за это в нашем журнале (см. "22", № 3). Н. Гутина начала писать в Израиле и, будучи гораздо моложе, просто искренне не понимает нашей чувствительности к антисемитизму, происходящей от специфического жизненного опыта. К тому же она — писатель антибуржуазный, и, если бы Е. Фиштейн дал себе труд вникнуть в противоположительский, а не противоеврейский контекст ее мыслей, я боюсь, он скорее согласился бы с ней, чем обличал. Во всяком случае его презрительные выпады против "лабазников" и "израильянина, зарабатывающего свой шекель в торговых рядах" представляются мне будто списанными у Н. Гутиной, которая не без оснований предполагает за евреями диаспоры склонность и к гораздо менее почтенным занятиям. Наконец, ее призывы к официальным инстанциям, хотя и носят чисто риторический характер, но вполне адекватно отражают настроение очень значительной части израильской публики, которая посылает вызовы в СССР совсем не для того, чтобы советские евреи над ними смеялись.

Возможно, именно сюда протянется обличающий палец Е. Фиштейна, чтобы заклеить черствость и непонимание израильской публики. Я уверен, что он сумеет сделать это самым элегантным образом. Я не сомневаюсь также, что Н. Гутина сумеет отбрызнуть его не менее категорически и изящно. Но в данном случае меня интересует не правота или ложность позиций сторон, а то коренное неравенство в их положении, которое я стремлюсь охарактеризовать на этих страницах. Это неравенство не людей, а их положения в мире.

Хороши израильяне или плохи, они — одни в целом свете, на которых могут надеяться евреи в СССР. Красиво или безобразно, но только израильяне могут вызволить евреев, оказавшихся в беде в какой бы то ни было точке земного шара. Как бы ни был теоретически прав Фиштейн, вызова из Мюнхена (если, не дай Бог, что случится) ему придется ждать от Гутиной, не говоря уж о том вызове, который он однажды уже получил в России

от другого израильтянина. Именно эта подспудная зависимость и тяготит его, и восхищает. Нелегко еврею в диаспоре (как и всякому человеку) расстаться с мыслью о своем центральном положении в собственном идеологическом космосе. Но, именно как еврей, он вынужден это сделать.

Каковы бы ни были Божьи замыслы в отношении диаспоры, они осуществляются помимо воли исполняющих — так сказать, вне писаного контракта. Евреи живут в диаспоре не вследствие своей миссии, и многие останутся там, даже если найдется убедительное свидетельство, полностью эту миссию отменяющее. Израильтяне же, каковы бы ни были их личные мотивы, исполняют условия, не только записанные Бог весть когда, но и повторяемые ежегодно и торжественно всеми евреями мира.

Допустим, я расист, живу в Израиле из корыстных побуждений, “зарабатываю свой шекель (О, Боже, услышь!) в торговых рядах” и к тому же страдаю “комплексом неофита”. А некто в диаспоре, скажем, Е. Фиштейн, напротив, благородный человек, уважает черных, сеет разумное, доброе, вечное, согласно своему призванию и искренне желает Израилю всяческого процветания. Несмотря на очевидную разницу в моральном уровне, именно мне придется расплачиваться за спасение очередной группы евреев, скажем, из Эфиопии. А Фиштейну — только обсуждать мою неэффективность среди знакомых. Я вынужден буду встречать эфиопов на улице, в магазине и в поликлинике и, возможно, испытывать неудобства, которые неизвестны европейским противникам апартеида. У меня, вместе со всем Израилем, вдобавок к арабам и персам, появится новый могучий враг — Абиссиния. Мою тещу не примут в больницу, потому что больница переполнена эфиопами. А Фиштейну достанется умиляться моей жертве или, наоборот, подсчитывать, сколько денег на это слупит Сохнут с диаспоры. Возможно, под влиянием этих реальных факторов или вследствие заблуждений, мой “комплекс неофита” может перерасти в “комплекс ренегата”, и я стану обдумывать возможности уклонения от армейской службы и даже бегства из страны. Однако, вынужденный совместить эти комплексы с корыстными интересами, я до осуществления своих планов буду пока околачиваться в “торговых рядах”. Откуда меня и загребут на внеочередной срок в “милуим”, охранять какой-нибудь забытый Богом аэродром в пустыне, на который как раз и высаживают этих полуживых эфиопов. Не склонный им сочувствовать, я стану злосло-

вить, что как только всех этих черных лоботрясов вылечат, они побегут получать социальные пособия, вместо того, чтобы идти работать, как пришлось нашему брату. И голосовать, небось, их потянет за какого-нибудь Меира Кахана (или Меира Паиля, как им в голову втемяшится), а не за перспективного Флатто-Шарона, как мне когда-то хотелось. Одним словом, процветание Израиля и мое лично, опять отложится на неопределенное будущее. Я буду проклинать все на свете, и этих спасенных — в первую очередь, и, может быть, израильский интеллеktуал с соседней койки в казарме робко мне возразит, но еврей из диаспоры смело будет мне указывать мое предназначение — спасать всех угнетенных евреев (а, может быть, и неевреев) всех стран, да еще добавит что-нибудь еврейское о равенстве и справедливости. Ведь я живу для себя, а еврей в диаспоре, как известно, живет для справедливости...

Но все же спасти кого бы то ни было и нести все последствия этого суждено именно мне, а не ему. Потому что я, какой ни есть, рискнул в свое время поселиться в еврейском государстве, а он остался пока там, откуда время от времени приходится евреев спасать, но куда их неудержимо тянет снова. Может быть даже, потеряв возможность зарабатывать на антисемитах и перестав их бояться, я и в самом деле возвысился, совершил "алию"? Во всяком случае, имея дело только с евреями, всегда знаешь, чего можно от них ожидать.

Возможно, мы, израильтяне, не лучшие из евреев, но остаться одним, действовать как народ и ощутить, что это значит, дано только нам. Много раз в современной истории наша еврейская проникательность обнаруживала несправедливость в основаниях существующих обществ, а наша безответственность, как меньшинства, способствовала созданию новых, гораздо худших. Как совместить требования справедливости с реальной жизнью большинства, а не призрачной жизнью потомственных подавателей советов, может знать лишь Тот, кто эту справедливость установил, собрал нас вместе, оставил одних и обрек на поиски того, чего еще никогда не было. Ему, толкнувшему на неведомый новый путь, только и судить наши заблуждения. Эти заблуждения — тоже часть нашего нового опыта. Опыта одинокой борьбы. Задолго до появления зари.

РЕПЛИКА В СПОРЕ

Что случилось с советскими евреями, попавшими на Запад? Кажется, у них накопилось слишком много претензий к СССР, к Западу, к Израилю, к "еврейской интеллигенции из СССР в Израиле", к миру вообще и ко мне лично. Часть этих претензий сформулирована в письме господина Фиштейна. Постараюсь ответить по пунктам.

О "неожиданной тенденции", якобы проявившейся у "израильских интеллектуалов русского происхождения" на почве "отталкивания от диаспоры". Это не "новая тенденция", а всего лишь старый классический сионизм, краеугольным камнем которого является "отрицание диаспоры" (шлилат а-гола) и ее уничтожение (путем репатриации, разумеется, а не дай Бог другими способами). Можно соглашаться с этой идеологией или нет, но не станете же вы, господин Фиштейн, здесь на Западе ругать меня за сионизм?

О максимализме. Сегодняшние сионисты не являются максималистами. Это касается в равной степени и израильтян, и новых репатриантов. Они продолжают считать диаспору аномалией, но относятся к ее существованию терпимо — мало ли есть аномалий в нашем мире? Более того, средний израильтянин в 99 процентов случаев никогда не пытается убедить еврея диаспоры обзавестись собственным государством, понимая, что это так же трудно, как убедить гомосексуалистов обзавестись женой и детьми.

О неофитах. Проявляем ли мы, недавно прибывшие в Израиль (например, четырнадцать лет назад), излишнее усердие в защите новообретенных ценностей? Вряд ли. Во-первых, мы издаем журнал по-русски. С точки зрения истинных сионистов это почти что "культурная контрреволюция" — сионизм всегда требовал тотального разрыва с прежней культурой и социальной средой. Во-вторых, между нами и израильскими интеллектуалами существует большой разрыв в степени утверждения собственно израильских ценностей.

Современный Израиль уже не требует от новых репатриантов такой коренной ломки, как раньше (не знаю, к лучшему ли это), и пресс израилизации уже не давит на каждого новоприбывшего так, как прежде.

Но даже не пройдя все стадии социальных и психологических трансформаций, даже находясь на периферии израильской жизни, мы испытываем влияние господствующей культуры и ее норм, а израильские веяния проникают даже в нашу огороженную языковым барьером среду. Все сентенции, которые так не понравились господину Фиштейну, — это не оригинальный плод размышлений наших “сильных аналитических умов”. Это трансмиссия всего, что мы прочитали в произведениях израильских писателей и публицистов, выслушали на израильских симпозиумах и лекциях. Правда, иногда некоторые из нас “изобретают велосипед”.

Однако при всем этом в большинстве случаев у наших неоригинальных концепций имеется покрытие. За ними стоят действительные изменения, которые мало-помалу происходят в нас самих — хотя они происходят, возможно, медленней, чем это предписано классическим сионизмом. Эти изменения, или трансформации, неизбежно приводят к ослаблению прежних связей. В основе любого союза лежат общие интересы, которые определяются общим будущим в гораздо большей степени, чем общим прошлым.

Да, господин Фиштейн, “территориально обеспеченные народы” чувствуют и думают по-другому, чем вечные перекаати-поле. Те, кто лишь недавно приобрел родину, не неофиты. Они, если уж на то пошло, “племянники тети Калерии” из известной песни, которым неожиданно засветило наследство, и поняв, чем богаты, они больше не заинтересованы в экспроприации культурного наследия разных народов в общий колхоз под названием “Интернациональная культура”. Идея всеобщности вдруг утратила для них прежнюю привлекательность, они, напротив, заинтересованы в частной региональной собственности потому что “это же наше с тетей Калерией” и потому что такова человеческая природа: изменения статуса часто приводят к изменению личности, хорошо это или плохо...

О еврее диаспоры. Если господин Фиштейн скажет, что еврей диаспоры во многом лучше израильтянина, я, возможно, с ним соглашусь. Если он скажет, что еврей диаспоры лучше всего остального человечества, я тоже не стану с ним спорить. Дело не в том, что А лучше Б, а в том, что А и Б разные и не всегда понимают друг друга. Например, еврей диаспоры, как пишет господин Фиштейн, “находится на передовой линии фронта противостояния антисемитской стихии”. Ну, что можно

сказать по этому поводу, сидя в глубоком израильском тылу и сосредоточившись на таких региональных мелочах, как палестинцы, ливанцы, шииты, сунниты и прочее?! Что можно понять, сидя здесь, на Ближнем Востоке, во всей этой еврейской борьбе с советской властью, с антисемитизмом, мировым злом и ветряными мельницами?!

Очень возможно, что прежние Хейфец и Агурский сами себе "набили бы морду", если бы прочли в России свою нынешнюю, израильскую публицистику. Очень может быть, что мы с господином Фиштейном прекрасно поняли бы друг друга, встретившись пятнадцать лет назад в СССР. Но сегодня больше, чем что-либо другое, нас с ним связывает, как это ни смешно, русский язык. И даже это не гарантирует нас от семантических недоразумений. Например:

О "ненависти к простому еврейскому человеку", в которой меня упрекает господин Фиштейн. Господин Фиштейн меня не понял. Я действительно не очень хорошего мнения о евреях диаспоры и советских евреях — как о социальной группе. Это отношение вытекает из сионистской концепции "перевернутой пирамиды". Но от этого до ненависти еще очень далеко. Мое отношение к советским евреям как индивидуумам вполне корректно. Напротив, именно я становлюсь часто объектом злобных нападок со стороны тех самых русских евреев, к которым мне положено питать нежные этнические чувства. Вот что говорит устами одного из своих авторов газета "Новое русское слово" по поводу той же статьи, которая так возмутила господина Фиштейна: "Невозможно представить себе, чтобы вьетнамцы, афганцы, поляки, кубинцы, танзанийцы, вырвавшись на свободу, принялись по каким-то причинам страстно добиваться, чтобы их родных и друзей оставили в рабстве. На такое извращение способен только человек истинно советский по складу ума и характера, с его эгоизмом, нетерпимостью и, прежде всего, конечно, завистью". Я привела это высказывание не для того, чтобы поставить его автора в один ряд с моим интеллигентным оппонентом. Я его сделала в надежде на то, что господин Фиштейн поймет, что не "простой еврейский человек" из "русского слова" нуждается в его защите от моей воображаемой ненависти, а скорее я — от его иррациональной агрессивности. Чего же он хочет, наш еврейский человек из "русского слова"?

Во-первых, — и это я замечаю на полях, — давайте, господин Фиштейн, вспомним на минуту тот прекрасный город, откуда мы оба приехали, и согласимся, что при всех отрицательных аспектах советской жизни это все-таки не Камбоджа, не Вьетнам, не Танзания, не Афганистан и даже не Куба. Да и у наших "беженцев", в отличие от несчастных вьетнамцев и камбоджийцев, переходящих реку вброд, чтобы попасть под соломенный тент на территории соседнего государства, или болтающихся по морям-волнам в надежде пристать хоть к какому-нибудь берегу, — у наших с вами "беженцев" не только узелок потолще и вид упитанней, но имеется к тому же виза на въезд в демократическое государство, которое тоже не Вьетнам и не Куба.

Но не будем вменять нашим евреям в вину эту безвкусную аналогию. Тем более, что многие из них действительно убеждены, что их участь так же трагична, как участь вьетнамцев или камбоджийцев. Или танзанийцев. Или евреев Эфиопии, умирающих с голоду, — как, впрочем, и сами эфиопы... Но в отличие от камбоджийца, эфиопа, поляка, кубинца или афганца, наш с вами еврейско-советский человек, господин Фиштейн, искренне убежден (и это мое "во-вторых"), что его "освобождение из рабства" должно быть "топ прайорити" всех без исключения приличных государств; что его "вызvolение" должно произойти при минимальных усилиях с его стороны и при минимальном риске; и что в придачу к "освобождению" он еще должен получить полную свободу выбора, а именно: ехать — не ехать; ехать сейчас — или ехать потом; когда ехать, а когда нет; и если ехать, то куда? Господа, в нашем жестоком мире ни один народ, даже самый угнетенный, не требует для себя — и не получает — подобных привилегий...

О правах и обязанностях. Мне хочется сформулировать отношения типа "Израиль-диаспора" или "Израиль — советские евреи" несколько менее туманно, чем это делает господин Фиштейн, и избегая при этом таких понятий как "фамильный союз". Я предлагаю для этого удобную формулу, которую каждый может применить к себе.

— Евреи диаспоры вообще и евреи СССР в частности вправе быть такими, какими они желают быть, и теми, кем они хотят быть. Я — и вы — вправе иметь о них то мнение, которое они в наших глазах заслуживают.

— Советские евреи вправе перемещаться из СССР в США. Я — и вы — вправе не принимать в этом перемещении никакого участия.

— Советские евреи не обязаны ехать в Израиль. Израиль не обязан высылать советским евреям визы.

— Израиль обязан заботиться о судьбе узников Сиона и других своих потенциальных граждан. Мы с вами — тоже обязаны.

— Израиль не обязан — и мы с вами тоже — вывозить из СССР каждый эмигрантский обоз; на это есть и другие страны.

Об эмиграции как социальном феномене. Поскольку нынешняя эмиграция из СССР часто именует себя “политической” (чаще всего эта гордая декларация произносится уже после выезда из СССР), то она ставит страны свободного мира перед ситуацией, когда “положение обязывает”. Положение, конечно, обязывает и Израиль, но не в первую очередь.

Но действительно ли мы имеем здесь дело с политической эмиграцией?

Политическая эмиграция — это результат острого и открытого конфликта с властью, конфликта, в котором будущий эмигрант терпит горькое поражение и потому уходит в изгнание. Политический эмигрант не добивается эмиграции как привилегии, а принимает ее как тяжелую неизбежность. Политические эмигранты составляют в нынешнем эмигрантском потоке незначительное — в численном, разумеется, смысле — меньшинство. В основном, мы имеем дело с типично “бытовой”, если можно так выразиться, эмиграцией. Это явление нормальное и легитимное — в конце концов, люди часто покидают насиженные места в поисках более обеспеченной и удобной жизни. Но из СССР, как известно, так просто не выпускают. И если бы перед нами была масса людей, которые открыто борются с режимом за определенные права, в том числе за право свободного выезда — и возвращения! — мы опять-таки имели бы дело с политической эмиграцией. Вместо этого (исключим из этой массы сионистов и диссидентов) мы наблюдаем инстинктивное движение к воротам — если они открыты — под предлогом “воссоединения семей” и с присовокуплением выданного под этот предлог документа — израильской визы.

Конечно, выезжающие из СССР хотят “демократии”, воспринимая ее, в основном, как одно из современных западных удобств: покупаю, что хочу, кушаю, что хочу, говорю, что хочу. Чаще всего они не вникают в то, что под этой демократической “надстройкой” существует еще и “базис” в виде ответственности вы-

бора, политической зрелости и традиции. Но одно лишь поверхностное выхолощенное требование "свобод" еще не превращает советскую эмиграцию в политическую.

Вы спросите, какое мне дело до деления советской эмиграции на "политическую" и "социально-бытовую"? А вот какое. Дело в том, что политическая эмиграция — та, которая "бодалась с дубом", — не нуждается в израильских визах и не рассчитывает на них. Политическая эмиграция от меня лично и от Израиля ничего не хочет — разве что понимания и сочувствия в деле ее противостояния режиму.

Но вот "бытовая" эмиграция и хочет, и требует. Она требует визы. Причем непременно из Израиля, не из Парижа. Так ей удобней — не надо добиваться свободы эмиграции вообще и идти на открытый конфликт с властью. И потому — "здравствуйте, я ваша тетья, гоните визу..." Что ж, фамильный союз, скажет господин Фиштейн. "Еврейская солидарность" — добавит "ваша тетья"... Так вот,

о еврейской солидарности. Если я — или вы — пойду на демонстрацию протеста против преследований евреев в Иране, Сирии или Советском Союзе, — это будет еврейская солидарность. Если я — или вы — подпишу петицию в поддержку права советских евреев на свободный выезд из СССР, — это все еще будет "еврейская солидарность". Но если я — или вы — пошлю визу на въезд в Израиль советскому еврею, из которого ХИАС сделает "беженца" в Америке, — это уже будет только "еврейское мошенничество".

В заключение скажу, что у советских евреев много претензий. У меня к ним только одна. А именно: они не понимают и не в состоянии понять, где заканчивается еврейская солидарность и начинается эксплуатация еврейского государства и его институтов.

Виктор Богуславский

ГАЛУТУ — С НАДЕЖДОЙ

Как оказалось — галут на нас обижен. Мы к нему — по его мнению — плохо относимся. По моему мнению — тоже плохо. Нас обвиняют в неуважении — правильно! В презрении —

тоже правильно! Короче — нас обвиняют в антисемитизме, в его самом пошлом и примитивном смысле.

И это правильно. То есть правильно, что мы "антисемиты". Вопрос — правильно ли в этом обвинять? И нас? И просто антисемитов? Или, обращаясь к тексту послания господина Фиштейна, когда "еврей диаспоры берет на себя специфический риск одиночного противостояния антисемитской стихии", — имеет ли эта гордая поза моральное основание? В гордые позы становился и Паниковский. Гордость позы — не есть ее оправдание. Гордая поза, когда она не по делу, смешна и жалка.

* * *

Итак, начнем с антисемитизма. Оставим в данном тексте в стороне вопросы его происхождения как явления исторического. Как говорит господин Фиштейн, есть "разные теории". Верно. Есть теории, что евреев не любили за то, что они лучше гоев, и есть теории, что евреев не любили за то, что они хуже гоев. Все это можно обсуждать на фонах развернутых исторических панорам, но пока давайте остановимся на судьбах нашего поколения. И сам антисемитизм примем как "реальность, данную нам в ощущениях". По крайней мере для нас — поколения ассимилированных евреев (между прочим, в массе своей всего лишь второго, а подчас и первого поколения ассимилированных евреев: вспомните о наших местечковых бабушках и дедушках, не знавших ни одного языка, кроме искаленного идиш), так вот — для нашего поколения антисемитизм был первичен. Мы с детства выростали под этим прессом озлобленной недоверчивости, враждебной подозрительности и навязанных нам ограничений. И, как вы помните, в нашем галуте положение существенно отличалось от американского еще и тем, что, отстранив нас от приобщения ко всему истинно русскому, тамошний антисемитизм воспретил нам приблизиться и ко всему еврейскому. Согласитесь, что формирование и выживание личности в сей психогенной обстановке чревато нездоровыми последствиями. Элементарное чувство собственного достоинства требует от личности вырваться из этой пагубной атмосферы. Те же, кто добровольно предпочитает там оставаться, согласитесь, вряд ли столь уж достойны уважения.

Перефразируя одну из замечательных мыслей покойного Ильи Рубина (в его предисловии к пьесам Н. Воронель), следует отме-

тить, что антисемитизм страшен не столько тем, что он д е л а е т е в р е я м (ставя им известные ограничения), сколько тем, что он д е л а е т с е в р е я м и , — превращая их в невротичных, подавленных, закомплексованных, ущербных.

Ведь именно в том и заключена моральная цель и оправдание всех трудностей сионистского пути — снять с еврея этот уродующий его пресс. Дать ему возможность перестать быть евреем. Стать просто израильтянином. Господин Фиштейн не верит, что это возможно уже для мигрирующего поколения. Отвечаем: возможно. Убедились на собственном примере. Да, мы стали израильтянами по самоощущению, во всяком случае. И настолько перестали быть евреями, что даже стали "антисемитами", то есть стали с "презрением" и "неуважением" относиться — только не к еврею галута (обратите внимание), а к его "национальной гордости".

* * *

Итак, вы сменили российский галут на более комфортабельный — западный. Сделали вы это, между прочим, исподтишка — уверив советские власти в своем трепетном желании "воссоединиться со своим народом на его исторической родине". Ну, да уж ладно. Вся жизнь советского человека, а тем более советского еврея, настолько пропитана ложью и лицемерием, что уж простим ему эту — последнюю советскую ложь. (Я, между прочим, не отказываюсь от своей подписи под письмом многолетней давности в защиту вашей свободы ехать куда кому вздумается. Ибо н а с и л ь н о израильтянином стать нельзя.)

В новом, сытом и комфортном западном галуте вы по-прежнему подвержены антисемитским нападкам, но, в отличие от прежнего, у вас появилась возможность "напряженного поддержания своего еврейства в противопоставлении к окружающему миру", которой вы столь гордитесь. Но зачем это? Это же смешно. К чему это "противопоставление"? Еще можно с известной долей снисхождения понять наивного советского еврея, мечтающего стать частью "новой общности советских людей". От еврейства он далек, Израиль видится ему сплошной синагогой, и он не видит для себя иного выхода. Можно, слабо веря в успех, согласиться с логической последовательностью еврея, стремящегося стать частью "новой американской нации".

Но зачем, намеренно оставив побоку Израиль, направляться в Лос-Анджелес или Париж и там упиваться "нарочитым выпячиванием мелкой еврейской символики"?

Покойный Артур Кестлер, тонкий мыслитель и хороший писатель, точно констатировал, что после создания государства Израиль у евреев галута остаются лишь две возможности — либо стать израильтянами, либо перестать быть евреями. Сам он избрал второе. Трудно поверить в то, что ему это удалось, но и нельзя обвинить его в непоследовательности. В любом случае, его позиция симпатичнее, чем лицемерие пасхальных седеров в Нью-Йорке, пародирующих галутную надежду: "В будущем году — в Иерусалиме".

И если от вашего раскормленного пародирования галутных страданий с недоуменным презрением отвернется янки — не обвиняйте его в антисемитизме.

* * *

Сегодня нечего гордиться принадлежностью к "чуду галута". Ссылки на античную эпоху (в ответе господина Фиштейна господину Хейфецу, "22", № 39), когда вне Эрец-Исраэль жили две трети евреев, также не доказывают органичность галутного состояния для еврея. Ибо в те эпохи Вавилон, Александрия и позднее Рим были центрами вненациональных империй, включавших в себя и Эрец-Исраэль, а посему переселение в Рим было, скорее, аналогично переезду из Кременчуга в Москву, чем из сегодняшнего Рамат-Гана в итальянскую Остию или американский Нью-Йорк.

Но затем была Иудейская война — поворотный пункт не только еврейской, но и всемирной истории, ибо если для евреев эта война завершилась изгнанием-галутом, то для всего прочего мира она стала началом новой, христианской цивилизации. Чрезвычайно странно, но и еврейские, и христианские источники единодушно хранят упорное молчание по поводу сего ключевого момента истории. За исключением единственного свидетельства — перебежчика Иосифа Флавия (свидетельства заведомо необъективного и неполного) — мы не имеем каких-либо систематизированных документов. Мы лишь знаем, что фоном возникновения восстания была ожесточенная борьба различных сект в иудаизме, высокий накал мессианских страстей, связанных с острым желанием нести в мир новые социальные идеалы.

Чем объяснить невероятное, ожесточеннейшее упорство восставших? Было ли это лишь национальное восстание или стремление к социальному переустройству мира? Не следует забывать, что у восставших были шансы на успех, так как численность иудеев (включая римскую диаспору) была не столь уж мала по сравнению с собственно римлянами, и к тому же восстание могло рассчитывать на поддержку других народов (Рим в это время уже потерпел ряд поражений на востоке, да и в самой Иудее бывали успешные бои).

Не стоит ли согласиться с Д. Кармайклом ("22", № 29), что Иудейская война была войной не за национальную автономию, а за "царство Божие на земле", то есть была войной с Римом за "мировое господство"? В какой мере сегодняшние христиане являются потомками восставших иудеев? И какова тогда была роль ушедших от восстания фарисеев, прямых предков последовавшего за ним галута, то есть наших с вами предков? Вопросов слишком много. И хотя каждый из них чрезвычайно важен для понимания истории галута-изгнания, начавшегося тогда и продолжающегося по сей день, — оставим их на будущее.

Фактом является то, что вся дальнейшая история галута была не столько "чудом", сколько мучительной и кровавой борьбой за физическое выживание. Вряд ли нас утешат теории о том, что "семит вошел в мир, чтобы осветить человечество первыми вдохновениями упорядоченного семейного строя". Слишком дорогая цена за сомнительные "вдохновения". (Между прочим, когда "семит" вошел в мир, ему еще дозволялось многоженство...) Что же касается "гордости диаспоры" за "гигантскую сумрачную крепость Талмуда", то современный галут тут ни при чем. Талмуд составлялся в эпоху Второго Храма в Эрец-Исраэль и соседнем Вавилоне. Его кодификация была, в основном, завершена в первые века новой эры, о чем свидетельствует хотя бы его язык — ведь Талмуд написан по-арамейски (кроме ранней части — Мишны, или Галахи, написанной на иврите). Галут же за две тысячи лет написал лишь сотни томов комментариев. И все эти комментарии, как и вообще все силы диаспоры, были направлены лишь на одно — на выживание. Выжили. Ну, а что же дальше? "Чудо восстановления Израиля... сообщило диаспоре новый смысл", — пишете Вы. Каков же он?

Давайте думать, давайте искать его вместе.

Ни одна из сионистских гипотез не предусматривала диалога еврейского государства с евреями галута. Все они предусматривали лишь диалог самого сионистского движения, "государства в пути", с галутом. И вот сегодня у нас есть государство. И есть галут. Галут, как мы уже выяснили, нам не нравится. А нравится ли нам государство? Не вдаваясь в детали, следует констатировать, что не очень нравится. Сабры — ребята весьма симпатичные, свободные, раскованные в общении, есть среди них и достойные специалисты, и широко эрудированные интеллектуалы. И в самом государстве, сабрами сегодня управляемом (сегодня — то есть совсем недавно), есть достаточно свобод, терпимости, демократии... И все-таки и в государстве, и в самих сабрах ощущается — по большому счету — некий привкус провинции. Израиль, на протяжении всех коротких десятилетий своей истории не сходящий с первых страниц всех газет мира, постоянно присутствующий в заголовках новостей всех агентств мира, им, сабрам, видится крохотной окраиной этого мира.

Общеизвестно, как провинциализм израильской политики обнаруживает себя в постоянных оглядках на большой мир, но это самоощущение не только политики, но и быта. Обуревающее израильтян стремление к "высокому жизненному стандарту" (чтоб не хуже, чем...) — это тоже провинциализм. Столичный житель чувствует себя прекрасно и в трепаных джинсах, провинциал же мучительно стесняется поношенности своего костюма.

Я должен оговорить, что я понимаю под "провинциализмом". Эта характеристика никак не связана ни с географической точкой проживания, ни с размерами страны, ни с характером и родом занятий. Это характеристика мироощущения. Сапожник из Бендер или инженер канализации из Свердловска могут быть гражданами мира. И я таких знаю. Они так чувствуют. Это их восприятие себя и мира. А иной израильский министр, разъезжающий по всем столицам европ и америк, при этом может оставаться маленьким провинциалом.

И тут... и тут я вынужден сделать признание господину Фиштейну. Я не очень уважаю, как я уже об этом сказал, еврея галута. Но я его... ценю. За его "универсализм" — за его ощущение себя принадлежащим "универсуму", всему миру. За его столичность.

Есть любопытный библейский образ встречи Израиля и галута. Это встреча братьев с Иосифом. Братья, ханаанейские пастухи, — люди, прямо скажем, простоватые. Грубые, тупые крестьяне. Иосиф — блестящий имперский министр, личность явно выдающаяся даже среди высшей аристократии. Они — жалкие просители. Он — полномочный властелин. Но оказывается, что не он спасает своих неудачливых братьев, а они его. Среди их семей находит он будущее своего рода. Два его сына — Эфраим и Менаше — становятся родоначальниками двух колен израилевых. (В горах Эфраима — западной части Шомрона — живу сегодня я.) Израиль сохранил историю египетской карьеры Иосифа для потомства. Египетская история предпочла имя премьера-еврея не увековечивать.

А представьте себе, какова была бы судьба сыновей Яакова, если бы Иосиф, с его имперским опытом управления и ведения политических дел, не ждал бы братьев в Египте, а заявился к ним сам? И не было бы столетий египетского плена, сорокалетнего вытравливания из себя рабства в Синайской пустыне, кровавых войн за отвоевание Ханаана, полусамодетельных пастушеских царей и ненужных междоусобиц...

Иосиф! Приди к своим братьям!

**Всеизраильский фонд поощрения русскоязычной культуры
присудил
премию имени Арье Рафаэли за 1984 год
Александру Воронелю
за книгу
"Трепет иудейских забот"**

Судьба еврейского интеллигента определяется двумя темами: Россия и еврейство, и разговор о их взаимосвязи и противостоянии составляет содержание и главный интерес этого оригинального произведения.

Широко расхваливаемая в Еврейском Самиздате, частично опубликованная в самиздатском журнале "Евреи в СССР", в неполном виде изданная несколько лет назад, ставшая библиографической редкостью, эта книга теперь впервые приходит к читателю в своем полном и законченном виде.

Цена книги — по заказу — 4 доллара (за рубежом 8 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel.

ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Джордж Бейли

ГЕРМАНИЯ СОРОК ПЯТОГО ГОДА

(главы из книги "Немцы")

В конце марта я был распределен в школу офицеров по связи с русскими войсками. Школа размещалась в Лавезине, и сотрудники ее уже получили прозвище "русских извозчиков". Я пробыл там всего три недели, после чего меня перевели в штаб-квартиру американского экспедиционного корпуса, стоявшую в Реймсе. Этот перевод выпал мне по той единственной причине, что я один среди всех "извозчиков" знал и русский, и немецкий языки. В Реймсе меня прикомандировали к разведке, в ее немецкую секцию, под начало британского полковника Джона Остина. На четвертый день Остин вызвал меня к себе. "Судя по вашим документам, — сказал он, — вы свободно говорите по-немецки. Считаете ли вы свои знания достаточными, чтобы работать переводчиком при генерале Беделле Смите во время его переговоров с немцами?" Я судорожно сглотнул и ответил, что считаю.

Глава разведки, генерал Стронг, к которому направил меня Остин, начал с того, что протянул мне захваченное немецкое военное донесение и приказал перевести его тут же на месте, с листа. "Ну, что ж, — сказал он, когда я кончил. — Думаю, вы справитесь. Доло-

житесь сегодня в десять вечера в поезде генерала Эйзенхауэра”.

Беделла Смита я встретил на следующее утро в вагоне-ресторане. “Где вы изучали языки?” — спросил он. Я рассказал, что начал колледж по древнегреческому, а все остальное пришло само собой. Упоминание о древнегреческом навело генерала на рассуждения об археологии, и весь завтрак прошел в его рассказах об археологических сокровищах Сицилии. Чуть позже появился русский генерал Иван Суслопаров — и все началось заново, только на этот раз оседлал своего конька русский гость: Суслопаров был артиллеристом и потому подробнейшим образом распространялся о деталях наведения орудий. Впрочем, он не преминул при этом подпустить и немного политики. “Коммунизм, — объяснил он, — сводится к простой формуле: кто хорошо работает, тот хорошо ест”. Судя по его виду, Суслопаров “работал” хорошо — он был огромным, краснощеким и жизнерадостным субъектом. Это был единственный русский генерал высокого роста из всех, которых я видел, все прочие были почему-то низенькие, и у нас шутили, что русские своих генералов укорачивают на голову, зато полковникам позволяют расти.

Смиту предстояло вести переговоры о капитуляции немецкой армии с генералом Альфредом Густавом Иодлем, прибывшим от адмирала Деница. Союзники настойчиво добивались от Деница, который сменил Гитлера на посту рейхсканцлера, чтобы он уполномочил Иодля подписать капитуляцию на обоих фронтах. Немцы же и раньше уже пытались капитулировать только на западном фронте и любой ценой избежать капитуляции на восточном. И хотя Иодлю дано было понять, что ни о какой односторонней капитуляции не может быть и речи. Дениц продолжал играть на оттяжках. Поэтому первые два дня прошли в препирательствах вокруг чисто технических деталей. 6 мая весь день обсуждался вопрос о том, как определить “государственную собственность”, причем русские настаивали на максимально широком определении, — имея в виду будущие репарации. Подлинно серьезные переговоры шли за кулисами, между генералами Смитом и Суслопаровым, а точнее — между американцами и русскими с помощью Суслопарова как посредника. Я метался между штабом Смита, располагавшимся в бывшей школе, и суслопаровским штабом в гостинице “Лион”, и всякий раз, когда я появлялся у Суслопарова, он встречал меня словами: “Я только что послал телеграмму в Москву...” Ни разу однако я не услышал, что он получил из

Москвы ответ, и невозможно было понять, уполномочивает ли его Москва принять капитуляцию.

Наступила ночь с 6 на 7 мая. Мы напряженно ждали телеграмм — из Москвы и от Деница. Наконец около двух часов утра из штаб-квартиры Деница пришел ответ, уполномочивающий Иодля подписать акт о капитуляции на обоих фронтах. Телеграммы из Москвы все еще не было. Я был уверен, что мне предстоит тяжкая задача выманить Суслопарова к Смиту для подписания акта. Но к моему удивлению через какие-нибудь полчаса все участники церемонии, включая Суслопарова, собрались в отведенном для нее зале.

Вся церемония длилась не больше, чем понадобилось Иодлю, чтобы просмотреть условия капитуляции. Когда генерал Севе, представлявший Францию, последним поставил свою подпись, Иодль неожиданно поднялся и сказал, что хочет сделать заявление. Он прочитал заранее подготовленную речь, в которой говорил, что отныне Германия отдает себя на милость победителей, что немецкий народ преуспел, но и пострадал больше всех прочих народов и потому надеется, что победители отнесутся к побежденным с должным благородством.

Речь его повисла в воздухе. Никто не дал себе труда ее перевести, да никто и не просил об этом. Заявление Иодля показалось мне неуместным, в особенности его упоминание о страданиях и успехах немецкого народа. В руках нацистов этот народ превратился в орудие страдания сотен миллионов европейцев. К чему выпячивать свои страдания, а тем более "успехи"? Тем не менее я ощущал досаду от того, что эта речь, оставшись непереведенной, пропадет для истории. Опасения мои были напрасными: Иодль сделал свое заявление именно для истории, заранее договорившись со Смитом, что оно будет внесено в протокол. Тот факт, что Смит на это согласился, показал мне, что он делает различие между немецкими генералами и нацистскими военными преступниками. Позже, в Нюрнберге, судьи этого различия уже не проводили.

Когда Иодль закончил, нас всех пригласили в кабинет Эйзенхауэра. То ли из-за значительности момента, то ли просто по причине оптической иллюзии (его кресло стояло на возвышении), но Эйзенхауэр показался мне гигантом, словно само его физическое присутствие символизировало мощь и силу западного союза. Это впечатление массивной мощи еще более усили-

лось, когда он повернул голову и туловище в сторону Иодля, который остановился перед ним, как провинившийся школьник, ожидающий выволочки от учителя. Через генерала Стронга Эйзенхауэр спросил, понял ли Иодль условия капитуляции. Иодль произнес: "Йа" — и с этим немецкая делегация покинула кабинет.

Загадка московского молчания разрешилась на следующий день. Советское правительство заявило, что "не признает" проведенную в Реймсе церемонию, и потребовало, чтобы капитуляция была подписана заново — в занятом русскими войсками Берлине. Москва даже не удосужилась упомянуть Сухлопарова. Он вылетел вместе с представителями союзников в Берлин и исчез в тот же момент, как вышел из самолета. На все последующие расспросы о нем русские отвечали недоуменным пожатием плеч.

Я узнал о требовании русских в пять тридцать вечера, когда меня вызвал к себе генерал Смит. Он протянул мне листок с советскими условиями капитуляции с просьбой приготовить семнадцать машинописных копий с него к восьми утра следующего дня. Увы, единственная пишущая машинка с русским шрифтом находилась в нашей школе офицеров связи в Париже. Смит дал мне свою машину и шофера. До Парижа мы добрались за два часа, но по самому городу пробирались целых три — улицы были запружены французами, праздновавшими победу. Школа была, разумеется, пуста. Еще три часа ушло на розыски наших офицеров по всем близлежащим бистро. Когда мы с трудом нашли пятерых, выяснилось, что двое слишком пьяны, чтобы соображать, и ни один не умеет печатать. В этом бедламе, продолжавшемся еще несколько часов, мы перепортили около двухсот листов бумаги, но в конце концов ухитрились изготовить семнадцать вполне приличных копий. Совершенно измученный сорока шестью бессонными часами, я ввалился в машину и велел шоферу гнать в Реймс. Когда я проснулся, мы стояли в Шалон-де-Марн. Шофер проскочил нужный поворот. Из-за этой оплошности мы попали в Реймс с двадцатиминутным опозданием, но все еще с достаточным запасом времени, чтобы перехватить Смита у самого трапа самолета и вручить ему весь материал. В завершение истории меня поймал комендант штаба и отчитал за то, что я был без головного убора (какая-то восторженная француженка в Париже сорвала с меня мою шапку). Я сослался на то, что только что до-

ставил семнадцать прекрасных экземпляров документа капитуляции на русском языке. “Вот как? — сказал комендант. — Но согласитесь, сами вы отнюдь не блестящий экземпляр офицера”. Эти слова он произнес по-русски.

Переговоры в Берлине шли на основе реймского варианта капитуляции. Но официальные советские историки не упоминали о Реймсе вплоть до 1968 года, когда появилась шеститомная советская “История Великой Отечественной войны”. Здесь реймское соглашение было названо “протоколом капитуляции” (в отличие от “Акта капитуляции”, подписанного на следующий день в Берлине) и охарактеризовано как “неудавшаяся вероломная попытка западных союзников заключить сепаратный мир” и объединиться с немцами против СССР. Но эта версия содержала очевидный изъян: она не упоминала о Суслопарове. Если реймская капитуляция была сепаратной, вероломной, незаконной и неполномочной, что тогда делал в Реймсе Суслопаров?

Ответ на этот вопрос дала статья главного маршала артиллерии Воронова, появившаяся в советском журнале “История СССР” в июле-августе 1965 года. Подпись Суслопарова под реймским документом, по утверждению Воронова, ничего не означала. “Суслопаров действовал по собственной инициативе, не имея на это никаких полномочий”. Воронов упоминает о телефонном звонке Сталина, который запрашивал, чем отличился Суслопаров (“Чем таким он знаменит?”). Воронов очевидно ответил, что ничем особенным. “Тогда как он смел подписать документ такого громадного международного значения?” — возмутился Сталин, добавил несколько “крепких словечек” в адрес советской артиллерии и закончил требованием “сурового наказания” Суслопарова. Воронов пишет, что был глубоко обеспокоен этой историей. “Я не знал, как и почему Суслопаров оказался в Реймсе”.

Я знаю. До своего прибытия в Реймс Суслопаров был руководителем советской военной миссии при штабе союзников в Италии. Его присутствие в Реймсе было продолжением его предыдущей миссии — подписания немецкой капитуляции на итальянском фронте. Тогда отказ союзников допустить советских офицеров к секретным переговорам с генералом СС Вольфом в Берне едва не испортил отношений с Москвой. Сталин фактически бросил Рузвельту в лицо обвинение в измене. Естественное желание союзников сохранить тайну переговоров показалось русским стремлением к сепаратному миру. С тех пор и союзное, и совет-

ское командование настаивали, чтобы впредь на любых переговорах с немцами присутствовали и советские представители. Когда Москва обвинила Эйзенхауэра в подписании реймской капитуляции без ее согласия, он ответил, что не принимает обвинения, поскольку советский представитель присутствовал на церемонии и подписал ее протокол. Несчастный Суслопаров оказался между молотом и наковальней. Он имел специальное поручение участвовать во всех переговорах союзников с побежденными. И в то же время он не получил — и теперь ясно, что не мог получить — полномочий подписать “документ такого громадного международного значения”. Но и запретить ему подписать этот документ Москва не могла, не навлекая на себя подозрений, что сама ищет сепаратного мира.

Многие годы я полагал, что Суслопаров, разбуженный в два часа ночи зовом истории, подписал документ о капитуляции в порыве великолепного своеволия. Теперь я понимаю, что у него не было ни малейшего права на подобную экстравагантность. То, что казалось его свободным выбором, в действительности было просто безвыходностью. Он попал в историю как “мальчик для битья”, оказавшись меж двух систем, которые объединяло в этом глобальном конфликте только наличие общего врага.

Тот факт, что церемония капитуляции была проведена дважды и что было подписано два почти идентичных документа, был определен уже самим наличием двух фронтов, двух высших командований и двух верховных главнокомандующих, ни один из которых не хотел участвовать в церемонии на территории, захваченной другим. Когда русские потребовали переподписать капитуляцию в Берлине, Эйзенхауэр сообщил, что “готов прибыть в Берлин в назначенное Жуковым место для участия в формальной церемонии”. Однако в конечном итоге он в Берлин не прибыл. На этом настояли его советники, заявив, что такой шаг “уменьшил бы престиж реймской капитуляции и собственный престиж западного главнокомандующего”.

Этот совет был разумен. Война кончилась; капитуляция была подписана всеми сторонами; реймская церемония была свершившимся фактом. Эйзенхауэр не мог прибыть в Берлин, сделал вид, будто ничего не произошло — он выглядел бы, как мальчишка, который поторопился, был отчитан за это Москвой и признал свою оплошность.

Но для СССР вторая мировая война была “Великой Отечествен-

ной". С советской точки зрения капитуляция должна была состояться не иначе, как в присутствии высшего советского командира (Жукова), именно в столице поверженного советской (Красной) армией врага (Берлине). Я часто пытался представить, что произошло бы, будь Берлин захвачен союзниками. Думаю, Советы пришли бы в бешенство — это сорвало бы им весь спектакль, задним числом лишило бы войну всего того значения, которое они ей приписали. Поэтому они должны были принять все меры, чтобы этого не случилось; скорее всего, они поставили согласие союзников на захват Берлина именно русскими армиями условием своего согласия на учреждение ООН. Я никогда не верил, будто знаменитое (или печально знаменитое) нежелание Эйзенхауэра наступать на Берлин было полностью самостоятельным. Сталин наверняка добивался от Рузвельта заверений, что Берлин будет оставлен русским, — и это было записано в лондонском соглашении в сентябре 1944 года.

В итоге война закончилась двумя документами о капитуляции, и это было компромиссом, отразившим двойственность ситуации и позволившим каждой стороне интерпретировать ее по-своему. Ибо центральным фактом второй мировой войны в Европе было наличие не просто двух фронтов, но — двух войн: одну вели союзники против немцев на западе, другую русские против немцев на востоке. Отношения между союзниками и русскими не были союзом в общепринятом смысле этого слова, но лишь координацией, продиктованной исключительно особенностями этой ситуации.

Это объясняет и советское отношение к проблеме Берлина. Советы никогда не согласились бы на оккупацию союзниками Западного Берлина, если бы не желание получить взамен Тюрингию и Саксонию, без которых советская зона Германии была политически и экономически нежизнеспособной. Советы всегда рассматривали Берлин как свою долю военной добычи, которая им полагалась уже хотя бы в силу понесенных ими потерь. По той же причине они были равнодушны к проблеме связи Берлина с Западом. Они вообще считали оккупацию Берлина союзниками явлением временным, вынужденной уступкой.

Было бы неточным сказать, что в 1945 году Германия проиграла войну: она проиграла две войны. В 1918 году Германия потерпела поражение на западном фронте, но победила на восточном. Поражение на обоих фронтах было новым в немецкой

истории. Уже само по себе оно предопределило раздел Германии. И все, что последовало за этим разделом и порой казалось чередой произвольных политических шагов: решение союзников вооружить Западную Германию, советское решение вооружить Восточную Германию, советское решение построить берлинскую стену и решение союзников согласиться с этим — было в действительности следствием фундаментального факта поражения Германии в 1945 году одновременно в двух войнах. Когда две системы, капиталистическая и коммунистическая, объединенные только своей враждебностью к Германии, сошлись в своей исторической “встрече на Эльбе”, результатом в действительности была не встреча, а конфронтация, и иначе быть не могло — по определению. И когда оба фронта вскоре автоматически разгородились железным занавесом, это было естественным следствием того, что они уничтожили единственное, что привело к их временному союзу.

В результате возникла ситуация, при которой воссоединение Германии оказалось возможным лишь при условии, что она присоединится к той или другой стороне. Вплоть до создания берлинской стены немцы — как на западе, так и на востоке — инстинктивно тяготели к западным союзникам. После стены начался медленный, черепаший процесс перемещения их надежд в сторону востока. Эта восточная ориентация оказалась неизбежной, потому что западная культура не приспособлена к идеологической позиционной войне: демократическая система не обладает той жесткостью организации, которая необходима для поддержания долговременной конфронтации, если нет перспективы однозначного решения — военного или какого-нибудь иного.

* * *

Возвращаясь из Лейпцига, я остановился в Веймаре, этой святыне немецкой культуры, возведенной в такой ранг пятидесятилетним пребыванием здесь великого Гете. Я посетил дом Гете и уже собирался отправиться в его загородное поместье, когда знакомый американский лейтенант сказал мне: “Если вы интересуетесь немецкими памятниками, вам следует обязательно повидать еще один, всего в четырех милях отсюда...” — “Что за памятник?” — спросил я. “Бухенвальд”, — ответил лейтенант. Я конечно слышал уже о Бухенвальде, но был потрясен, узнав,

что он находится фактически в пригородах Веймара. Самого Веймара?! Увы, это было именно так.

Лагерь был освобожден американскими войсками дней за десять до моего посещения. Расположившаяся там часть сохранила все таким, каким застала. Американцы заставляли жителей Веймара посещать лагерь, чтобы воочию убедиться в преступлениях их государства. Одна из таких экскурсий проходила по лагерю как раз во время моего визита. Когда "экскурсанты" подошли к открытой массовой могиле, несколько женщин упали в обморок, а две-три девушки от ужаса почувствовали дурноту. В могиле громоздились друг на друге несколько тысяч трупов, застывшие в античных позах внезапной смерти. Это было поистине апокалиптическое зрелище, сцена из ада.

В остальном однако самым удивительным в Бухенвальде было именно отсутствие ужаса. Возле рва, аккуратно уложенные штабелями, лежали несколько тысяч обнаженных тел, но тела эти настолько высохли, что даже не выглядели человеческими, — это были просто обтянутые кожей скелеты, куклы в человеческий размер, брошенные кукольником, унесшим свои веревочки. Бухенвальдские смертники были доведены голодом до такого состояния, когда они начинали выглядеть именно тем, чем были в нацистской Германии, — отверженными, выбракованными из общества. Это зрелище было слишком гротескным, чтобы вызывать ужас или сострадание. Эти жертвы были обесчеловечены. Эти куклы, уложенные аккуратными штабелями, были конечным продуктом медленного, тягостного процесса, в ходе которого их постепенно лишали всех признаков человеческого достоинства и даже человеческого подобия. Единственным, что в них еще оставалось человеческим, были ноги — они не высохли, а напротив распухли. В остальном же эти обтянутые кожей скелеты были не более чем невыразительным свидетельством чудовищного преступления.

Более всего бросалась в глаза в Бухенвальде его деловитая организованность. Именно атмосфера деловитости мешала осознать, что это была деловитость убийства. Здесь был, например, на задах казарм отдельный дом, именовавшийся "конюшней", а в действительности представлявший собой настоящую бойню. Грузовик разгружал у его дверей очередную партию "смертников", которые входили в большое помещение без окон, где раздевались догола и сдавали свои ценные вещи надзирателям. В про-

тивоположном конце здания размещалась так называемая "операционная", из которой выход налево вел в собственно бойню. Она была оборудована поглощающей пули стеной (прикрытой занавесом) и стоком для крови (где, совершенно в духе чикагских боен, кровь смывалась брандспойтом, которым управлял человек, стоявший за деревянной перегородкой). На задах помещения было специальное место для складирования трупов; оно открывалось наружу, где уже ожидал грузовик. По обе стороны от "склада" находились клетушки для хранения соломы и извести. В здании были также комнаты для отдыха и столовая для солдат истребительной команды.

Позже я узнал, что появление лагеря на самых окраинах Веймара не было случайностью. В середине 30-х годов фюрер часто посещал веймарский театр. Проводя так много времени в этом городе, он счел уместным создать неподалеку лагерь для своей охраны, элитарных частей СС. Гиммлер воспользовался местом, которое выделила мэрия, и разместил там только что сформированную дивизию "Мертвая голова", одной из функций которой была охрана лагерей; за охранниками последовали охраняемые, и так возник Бухенвальд.

Но тут была и другая связь. Конечно, соседство Бухенвальда с Веймаром было предельным осквернением культуры, богохульством перед алтарем, чашей святого Грааля, доверху наполненной калом и кровью. И в то же время оно удивительно вписывалось в общую картину. Это соседство символизировало систему, которая его породила. Организация СС была элитой внутри нацистской элиты. Но то была ложная элитарность, базирующаяся на искажении исходных принципов. Искажение было чудовищным. Когда-то Гете почти походя — он говорил о французской литературе 18-го века — коснулся этого явления. "Утонченность, — сказал он, — в сущности означает отбрасывание". Любая чрезмерная "избранность" деформируется по мере того, как формируется. В ней скрыто что-то угрожающее, некий процесс отбраковки, который конечным своим продуктом имеет крайнее состояние забракованности — труп.

Роясь в немецких архивах, я часто сталкивался с массовой нацистской "литературой". Как раз незадолго до приезда в Бухенвальд я прочел классический нацистский антисемитский роман — "Преступление против крови" Артура Динтера. В этом романе еврейский финансист, которого благодарное правительство

наградило званием советника коммерции, внезапно умирает в объятиях трех прекрасных блондинок в любовном гнездышке, которое он оборудовал и содержал наряду с еще пятью такими же — в Мюнхене, Бреслау, Дрездене, Гамбурге и Франкфурте. Поскольку молодые наложницы не знают, кем является их любовник (тщательно скрывающий свое имя), они вынуждены сообщить в полицию. И тут раскрывается дьявольский план еврея. Выясняется, что этот финансист занимался соблазнением и порчей молодых девственных немецких блондинок, и ко времени своей смерти был уже отцом по меньшей мере сотни полукровок-бастардов, большинство которых в точности походило на отца. Он обеспечивал всех мамаш пенсией, позволявшей им выращивать ребенка, но сам к ним больше никогда не возвращался, устремляясь на поиски новых жертв и девственных пастбищ. Его план, как усиленно намекает автор, основывался на результатах опытов по скрещиванию животных: он считал, что одна "нечистая" беременность навсегда портит чистокровную арийскую женщину так, что она уже не сможет родить расово чистых детей, каким бы "чистым" ни был ее следующий партнер. Бандитствующий финансист поставил задачей своей жизни планомерное загрязнение великой немецкой расы.

Так и хочется назвать всю Германию нацистских времен одним громадным концлагерем. Но это означало бы напрашиваться на возражения. В одном отношении однако такое сравнение справедливо. Моральная развращенность, как сознательная, так и неосознанная, была так распространена и так заразительна, что влияла на нравы людей не меньше, чем лагерь влиял на психику заключенных.

В результате немецкое творческое начало было полностью порвано. Многие люди, как немцы, так и немцы, ожидали, что после войны выйдет наружу немецкое "литературное подполье" — произведения высокого мастерства, до поры до времени хранившиеся в тайниках. Но ничего не вышло наружу, не оказалось никаких тайных литературных садов, никакого "литературного подполья". Более того, в течение пятнадцати послевоенных лет, вплоть до выхода "Жестяного барабана" Гюнтера Грасса, единственными заметными произведениями, написанными на немецком языке, были пьесы и рассказы Дюренматта и Фриша — двух швейцарцев. Не оправдались и надежды на свершения в других областях искусства: не было создано попросту ничего. Немцы

вышли из войны опустошенными, утратившими все иллюзии, предельно отупевшими от побоища, учиненного ими и над ними. Они вышли из войны в состоянии глубокого психологического шока, от которого лишь десятилетия спустя начали оправляться. Немецкое военное поколение — оно же первое послевоенное — было сломленным поколением моральных инвалидов, заранее съжившихся в ожидании неминуемого вопроса: “Отец, где ты был во время войны?”

Исходя из того, что большинство немцев активно или пассивно поддерживали нацистский режим, союзники приняли на вооружение теорию “коллективной вины”: каждый немец несет ответственность за преступления, совершенные нацистами во имя немецкого народа. “Понятие “коллективной вины” является грубым упрощением, — писал первый президент ФРГ Теодор Хейс. — Оно попросту оборачивает отношение нацистов к евреям, когда самый факт, что человек еврей, уже предполагал его вину. Что в действительности породил и оставил нам в наследство нацистский режим, — это коллективный стыд. Это худшее из всего, что сделал с нами Гитлер: он заставил нас стыдиться, что мы называемся так же, как он и его соратники, — немцами”.

Главным итогом нацизма было то, что немецкий народ дискредитировал себя в собственных глазах. Это куда более тягостно повлияло на все формы его политической или культурной активности, чем 25 лет отверженности, которые последовали за войной. Паралич национальной воли привел к тому, что застой воцарился во всех сферах немецкой жизни, кроме экономической, где действовать заставляла просто суровая необходимость.

Было почти неизбежным, что этот громадный моральный долг немцев перед человечеством будет использован — коллективно и индивидуально — всеми немцами, взявшими на себя роль взыскующих расплаты. Но тот, кто считает себя вправе судить других, сильно рискует сам. Это верно как на личном, так и на общенародном уровне. Оккупация Германии причинила вред всем сторонам, но, пожалуй, самым ужасным аспектом создавшейся в результате ужасной путаницы был тот факт, что вина немцев утвердила победителей в сознании допустимости тех преступлений, за которые они же осудили Германию. Словно все немцы наперед получили отпущение своих грехов, свалив их на преступления нацистов.

Когда летом 1945 года я прибыл в Чехословакию, я стал свидетелем того, как чехи, в приступе затянувшейся этноцентрической мстительности, занимались выселением судетских немцев. Большинство этих немцев жили тут триста и более лет. Теперь они подлежали выселению в 24 часа, — все три миллиона. Чехи не оказывали снисхождения даже женщинам и детям. Каждому выселяемому разрешалось взять с собой лишь то, что он в состоянии был унести. Одним из руководителей этой безжалостной операции был человек с распространенным чешским именем Свобода. Три года спустя, после коммунистического переворота в Чехословакии, я встретил этого Свободу в лагере для чешских беженцев в Баварии.

“Механизм разрушения западноевропейского гуманизма, — писал Розанов, — будет состоять в росте равнодушия к страданиям”. Вина и стыд, ощущаемые немцами, лишили их способности возмущаться. Кто потерял достоинство, не может негодовать: он на это неспособен. Он не чувствует себя вправе. Эта утрата достоинства целой нацией была непоправимой потерей для всего цивилизованного мира. Но еще большей потерей была параллельная с этим утрата стыда победителями, примером которой было поведение чехов. Потеря достоинства побежденными была сравнима с утратой стыда победителями в их обращении с побежденными.

Для меня самым отвратительным и тревожным итогом второй мировой войны было то, что выявление и всеобщее осуждение нравственной извращенности нацистов не только не помешали, но напротив способствовали упрочению нравственной извращенности коммунистов, в частности коммунистов Советского Союза. С точки зрения всего мира и, что важнее, своей собственной, немцы понесли справедливое наказание. Вероятно самое тяжкое их преступление состояло в попытке уничтожить еврейское население Европы. На Нюрнбергском трибунале это обвинение было доказано по всем пунктам. Тем более невероятно, что буквально по стопам этого доказательства Советский Союз начал и продолжает до сих пор, у себя и во всем мире, кампанию преследования евреев — вспомним дело врачей в Москве, показательные процессы Райка в Венгрии и Сланского в Чехословакии, положившие начало этой кампании. Эта непрерывно нарастающая кампания, базирующаяся, в сущности, на тех же “основаниях”, что и преследования евреев нацистами, заставляет

задуматься о глубинном внутреннем родстве нацизма и коммунизма.

* * *

Наши безмятежные дни в Праге были не более, чем короткой передышкой между войнами, танцем на угасшем вулкане, который русские и американцы старались снова расшевелить, вгрызаясь в Волшебную гору с ее противоположных сторон. Нас было четверо или пятеро американских офицеров и примерно столько же чешских девушек, и мы танцевали одни в огромном Белом Зале пражского императорского дворца Градчаны. Наши танцы длились недолго. Две из тех пятерых девушек погибли уже в ближайшие годы: Людмила Лобкович бросилась под поезд на пражском вокзале, в Душана Питова умерла от нервного срыва в Лондоне, в конце 1948 года, когда ей, бежавшей от коммунистического путча, отказали в продлении иммигрантской визы.

Это была кратчайшая из передышек. В сущности, новая война началась раньше, чем кончилась предыдущая. Тем, кто умеет читать знамения, это было ясно уже после освобождения Праги. По условиям Ялтинской конференции честь занятия Праги была зарезервирована за русскими, поэтому американские части, которые оказались на месте намного раньше своих русских союзников, оттянулись к Рокичанам, в тридцати пяти километрах от чешской столицы. Но ход войны не подчиняется решениям конференций. Прага готова была пасть уже в середине апреля. И единственной вооруженной силой, которая оказалась готовой отбить ее у горстки эсэсовцев и солдат вермахта, была так называемая Русская Освободительная Армия генерала Власова, образованная немцами из русских дезертиров и военнопленных как ядро будущего объединения всех антикоммунистических и националистических сил России. Понятно, что главной задачей РОА была борьба против советской армии. В действительности однако она почти не участвовала в сражениях во время войны, и ее единственный -- и одновременно последний -- военный успех состоял как раз в разгроме немцев под Прагой и освобождении чешской столицы. Это создало поистине фантазмагорическую ситуацию. Чехи не знали, как относиться к русской армии, которая в то же время была антисоветской. В конце концов они попросту примирились с фактом. Судьба же самой РОА решилась уже после войны. Она

была выдана русским, которые ее уничтожили. Тем не менее само ее существование было знаменательным — оно свидетельствовало о наличии широкого недовольства внутри СССР. Эта армия была символом антисоветского сопротивления внутри советской системы.

Сопротивление это не исчезло с окончанием войны. Напротив — побег из советской армии стали массовыми даже до того, как война формально завершилась. Уже на вторую неделю моего пребывания в штабе американских оккупационных сил в Пльзене туда явился первый советский перебежчик, который заявил, что хочет сдаться американской армии. “Но ведь вы наши союзники, — возражали мы. — Как же ты можешь сдаться своим союзникам?” “В том-то и дело, — звучал ответ. — Пока шла война, я не мог сдаться, ибо это означало сдаться врагам. Но теперь война кончилась, я выполнил свой долг и могу с честью сдаться своим союзникам”. Постепенно поток перебежчиков через демаркационную линию, разделявшую две армии, нарастал. Они уже приходили по два, по три каждую неделю. Мы не знали, что делать. Инструкция недвусмысленно указывала: возвращать их обратно. Но мы испытывали естественное сопротивление. Какое-то время выдачу удавалось оттягивать, ссылаясь на необходимость выяснения причин побега. Но когда выяснялось, как бывало чаще всего, что перебежчик не совершил никакого преступления, кроме самого акта дезертирства, перед нами вставала тягостная, но неотвратимая обязанность доставить его на ближайший советский пост, заведомо зная, что мы решаем его судьбу. Наказанием за побег было пожизненное заключение, а поскольку Советский Союз все еще находился, по крайней мере формально, в состоянии войны (с Японией), то не исключено, что и смертная казнь.

Еще тяжелее было возвращать солдат, которые не были русскими. В один августовский вечер к нам в штаб доставили перебежавшего советского лейтенанта с несколькими медалями за храбрость на гимнастерке. Его звали Бари Хайрулин. Он участвовал в обороне Сталинграда и во всех последующих сражениях и был трижды ранен. Он был из Туркмении, ненавидел немцев, а вторыми после немцев ненавидел русских. Это был спокойный, сдержанный человек, с прирожденным чувством собственного достоинства, глубоко верующий мусульманин. Мы продержали его у себя три дня. Когда мы в конце концов сообщили ему, что вынуждены вернуть его русским, он впервые потерял вы-

держку. Он бросился на землю и стал умолять: "Застрелите меня!" — сначала по-русски, а затем по-немецки: "Битте, ершисен зи мих!" Он повторял это всю дорогу, иногда громко, иногда шепотом: "Битте, ершисен зи мих!" — пока мы не подошли к советскому посту. Тогда он выпрямился, подтянулся и с достоинством встретил свою судьбу.

Мы переживали тяжелейший моральный конфликт. Именно в тот момент, когда "цивилизованный мир" судил немецких военных преступников, чья вина состояла в подчинении бесчеловечным приказам фюрера, мы, американские офицеры, вопреки своей совести, подчинились приказу о возвращении русским их перебежчиков. Каждый раз мы клялись себе, что следующего перебежчика уже не выдадим, и каждый раз мы не знали, как обойти приказ. Мы снова и снова обращались в штаб с просьбой отменить инструкцию — результат был вполне предсказуем. Легко рассуждать о моральной обязанности не повиноваться "незаконным" или бесчеловечным приказам. Но как отказаться их выполнять, если речь идет о таком деликатном вопросе, как возвращение перебежчиков союзной армии?

Среди нас не было ни одного, кто еще питал бы иллюзии в отношении нашего "великого советского союзника". Более того, мы не могли не понимать, что само существование миссии связи поощряет побег советских солдат. Знакомство с союзниками подрывало советскую пропагандистскую ложь о Западе, а контакты с западными офицерами создавали — или казалось, что создавали — практическую возможность побега. Стремясь воспрепятствовать этому, Сталин в сентябре 1945 года запретил все контакты между представителями Красной армии и союзниками, кроме строго официальных. К ноябрю "медовый месяц" нашей миссии связи был на исходе.

Но все это лишь осложняло ситуацию. Чтобы обойти нашу инструкцию, нужно было располагать соответствующей организацией — по крайней мере, зародышем такой организации, но создать ее в рамках столь жесткой структуры, как армия, не подвергая себя риску разоблачения, представлялось исключительно трудным. На моей памяти единственная успешная попытка такого рода была предпринята офицером польской миссии связи (из армии Андерса) капитаном Лисовским. Формально он занимался репатриацией польских перемещенных лиц. Но постепенно мы

стали замечать, что все его подопечные — почему-то сплошь молодые люди с явной военной выправкой; они исчезали из кабинета, едва там появлялся кто-нибудь чужой. Как-то ночью четверо советских офицеров с револьверами в руках устроили Лисовскому засаду в Праге. Им не повезло — Лисовский был отличным стрелком. Он убил всех четверых на месте. После этого инцидента Лисовский внезапно покинул штаб-квартиру. Последующее расследование установило, что он занимался переправкой поляков, бежавших из Красной армии, в лагерь для перемещенных лиц во Франции.

Покажется, возможно, неуместным и даже мелодраматичным сравнение американских офицеров из миссии связи с подсудимыми на Нюрнбергском процессе, но нам самим от этого сравнения было не уйти. Подобно нюрнбергским подсудимым мы выполняли приказ, который означал смерть или пожизненное заключение для людей, к которым этот приказ относился. Вдобавок мы имели то "преимущество", что безошибочно понимали аморальность наших действий. Советские солдаты и люди, общавшиеся с ними так тесно, как мы, не могли ошибаться в понимании того, чем является Сталин. Это знание, понятно, не облегчало нам общение с теми обреченными "врагами народа", которых нам предстояло доставить под конвоем к ближайшему советскому посту. В сущности, мы, как и нюрнбергские подсудимые, помогали силой подавлять любое сопротивление тирану. И на мой взгляд, мы делали то же самое, когда в последующие два года отправляли поездами в Россию десятки тысяч власовцев. Эти массовые "репатриации" неизменно сопровождались самоубийствами и попытками побега, которые кончались смертью — спрыгнуть на ходу с мчащегося поезда означало верную смерть. Мы, понятно, утешали себя тем, что выполняем свой солдатский "долг", — хотя прекрасно понимали, что этот "долг" в данном случае глубоко аморален. В общем, мы делали "героическое дело", и многие из нас даже получили за это ордена и медали.

Мое отвращение к самому себе в эпизоде с Хайрулиным было столь глубоко, что с годами я выработал для себя спасительный миф, будто после этого эпизода мы уже никогда больше не возвращали перебежчиков. Но мой собственный послужной список свидетельствует, что это не более, чем самообман — мы продолжали их возвращать и после этого, сотнями, а в случае власовцев — тысячами. И так продолжалось, пока приказ оставался в силе,

то есть вплоть до берлинской блокады, когда советских перебежчиков внезапно стали принимать и даже официально чествовать.

* * *

Я прибыл в Нюрнберг на следующий день после того, как американские и советские войска оставили Чехословакию и как раз вовремя, чтобы услышать вступительное слово лорда Лоуренса: "Начинающийся сейчас процесс представляет собой уникальное явление в истории мировой юриспруденции и имеет величайшее значение для миллионов людей во всем мире". Сам я видел в этом процессе — точнее, в совокупности процессов, проводившихся в Нюрнберге — усовершенствованный вариант ритуального наказания. Я имел слабое представление о юриспруденции. Но сам размах процессов обнаруживал очевидные слабости в основании той структуры, которая призвана была поддерживать ритуал. Я (как, уверен, и многие другие) ощущал, что все, предназначенное стать юридическим основанием процесса, было в действительности не более чем маскировкой массовой эмоциональной потребности. Легальная сторона Нюрнбергского процесса была лишь формой этой маскировки.

И эта маскировка казалась тем более странной, что едва ли не главные усилия обвинения на процессе были направлены на то, чтобы сорвать маску с государства как такового и с нацистского государства в частности. И обвинение, и защита, и присутствующие бились над одним и тем же парадоксом и чудовищными возможностями, которые он в себе таил. Сравнительно небольшая группа лиц сумела захватить машину власти и укрыться в "величественной тени государства", как когда-то сказал Кант. Они сумели воспользоваться всей той чудовищной властью, которую дает современное индустриальное государство. "Обвинение, — как сказал один из немецких защитников, — исходило из концепции заговора с целью завоевать мир, и немецкое государство при этом представлялось как орудие этого заговора". В свою очередь защита основывала свою линию поведения на принципе государственного суверенитета и абсолютного приоритета приказов, получаемых от государственной власти. Это была "ссылка на государство", согласно которой действия, совершенные по приказу лиц, облеченных государственной властью, не подлежат суду. Защита утверждала, что если лидеры побежденного

народа будут наказаны, это составит нарушение "фундаментального принципа международного права, запрещающего насильное вмешательство одной национальной юридической системы в сферу правомочий другой национальной юридической системы".

Международный военный трибунал отверг эту "ссылку на государство". Он не мог ее принять, если хотел предъявить свое обвинение. Но чтобы предъявить его обоснованно, трибунал был вынужден сослаться на некий "корпус международных соглашений", якобы запрещающий и объявляющий преступлением планирование и совершение агрессии. В качестве образцов этого "корпуса" обвинение привело протоколы и резолюции Лиги Наций и в частности пакт Келлога-Бриана.

Но в пакте Келлога-Бриана война не была названа преступлением и осуждение ее не предусматривало никаких санкций. Более того, не только все эти резолюции никогда не были ратифицированы, но все они в свое время были отвергнуты и игнорированы одним из победителей, восседавших на Нюрнбергском трибунале — Советским Союзом. Кому было это знать лучше самих немцев?! СССР совершил вместе с ними агрессию против Польши, он начал агрессивную войну против Финляндии, он аннексировал три прибалтийских государства, с которыми до того заключил пакты о ненападении. Поэтому обвинение фактически игнорировало реальность, когда провозглашало, что "индивидуум имеет международные обязанности, которые превосходят национальную обязанность повиновения своему государству". В сущности, победители в Нюрнберге подрывали самую концепцию индивидуального государства, настаивая на высшей ответственности перед абстракцией, которую они назвали "международным правом" — абстракцией, которой любой победитель мог отныне манипулировать в свою пользу. Как заметил защитник Диница, "после Нюрнберга суды такого рода будут проводиться только над побежденными народами".

Но фон Фритц был прав: люди жаждали какого-то "драматического возмездия", и пропаганда союзников (особенно русская пропаганда) только разжигала это желание. Беспрецедентное выделение нескольких индивидуумов в качестве подсудимых было приглашением свалить всю вину на нескольких нацистских лидеров. Но разве только нацистское руководство было повинно в злодеяниях Третьего рейха? Для танца всегда нужны двое. Человечество, не имеющий последователей, лидером быть не может. Что

же, немецкий народ состоял из нескольких чудовищных преступников и миллионов невинных простаков?

Самым потрясающим открытием процесса было доказательство намеренного катастрофического уничтожения шести миллионов евреев. Никто не мог поверить, что нюрнбергские подсудимые не знали хотя бы частично об этой чудовищной бойне. Что более существенно, сами подсудимые выражали — или демонстрировали — недоверие. Один лишь Геринг отказался поверить тому, что увидел в фильме о концлагерях. Он заявил, что фильм этот снят вражеской стороной, а у него нет возможности проверить факты. Он заявил также, что показанное в фильме не согласуется с тем, что он знал о ситуации. Он признал однако, что понятия не имел, что скрывается за термином “окончательное решение”.

“Окончательное решение еврейской проблемы” было водоразделом в истории нацистских преступлений и преступления вообще. Все прочее, что случилось во второй мировой войне, еще можно было как-то “оправдать” — по крайней мере, с немецкой точки зрения. Можно было “объяснить” различные немецкие агрессии и вторжения, вплоть до нападения на СССР (советская “мобилизация” на границах Польши, советское вторжение в Финляндию и, наконец, требование Молотова предоставить СССР контроль над Скагерраком и Дарданеллами). Но намеренное уничтожение евреев по заранее тщательно продуманному и реализованному плану ничем оправдать и объяснить было невозможно. В этом единственном пункте нюрнбергские подсудимые обнаружили явное замешательство: никто из них, включая Геринга, не мог отрицать, что “окончательное решение” было преступлением.

В своей защитительной речи на процессе бывший гауляйтер Голландии Зейсс-Инкварт отослал судей к своим речам, где объяснялось его отношение к евреям. В одной из них он говорил: “Национал-социализм рассматривает евреев как врагов. С момента своей эмансипации они стремились к разрушению национального духа и моральных ценностей немецкого народа. Они хотели подменить сознательную национальную философию идеями космополитического нигилизма. В первой мировой войне они воткнули немецким армиям нож в спину. Это враги, с которыми не может быть мира или перемирия. Мы будем уничтожать евреев всюду, где мы их найдем, и пусть те, кто выбирает их компанию, будут готовы нести ответственность за свой выбор”.

Эту идею “войны не на жизнь, а на смерть” с еврейским наро-

дом Зейсс-Инкварт подхватил не от Гитлера. Она носилась в том воздухе, которым он дышал с 1918 года. Злобный антисемитизм большинства нацистских лидеров зародился в результате поражения в первой мировой войне, но зачат он был задолго до того. Трудно даже сказать, как задолго. В этом смысле наиболее интересные показания дал на Нюрнбергском процессе Юлиус Штрейхер, редактор печально знаменитой антисемитской газеты "Дер Штюрмер":

Доктор Маркс: Участвовали ли вы в подготовке так называемых "расовых законов", принятых в Нюрнберге в 1935 году?

Штрейхер: Да, я думаю, что участвовал, поскольку я многие годы писал, что всякое смешение немецкой крови с еврейской является опасным. В своих статьях я указывал, что евреи должны служить образцом всякой расе, ибо именно они изобрели расовые законы сами для себя — так называемые законы Моисея, который сказал: "Приходя в чужую страну, не берите в жены женщин этой страны". Этот Моисеев закон стал моделью для нюрнбергских законов. Когда спустя столетия еврейский законодатель Эзра увидел, что, вопреки этому закону, многие евреи женились на нееврейках, он расторг эти браки. Так родилось еврейство, которое благодаря своим расовым законам просуществовало столетия, в то время как другие расы и цивилизации исчезли с лица земли.

Доктор Маркс: Кроме вашей газеты, существовали ли другие немецкие издания, которые трактовали еврейский вопрос в антисемитском духе?

Штрейхер: Антисемитские публикации существовали в Германии на протяжении столетий. Доктор Мартин Лютер вероятно сидел бы сегодня рядом со мной на скамье подсудимых, если бы обвинение приняло во внимание его книгу "Евреи и их ложь". В этой книге доктор Лютер пишет, что евреи — это змеиное отродье и поэтому нужно уничтожать их синагоги и их самих..." (В этом месте обвинитель предложил Штрейхеру прекратить свои безответственные заявления.)"

Но даже если корни немецкого антисемитизма столь глубоки, остается вопрос, почему немцы стали на службу этому абсолютному злу? Конечно, можно сказать, что они были преданы, обмануты, зачарованы: Гитлер оказался дьяволом, которого они приняли за провидца. Но и эта версия по-прежнему требует объяс-

нить колдовство: немцы в ней предстают в лучшем случае беспрецедентными простофилями. Однако какова бы ни была версия произошедшего, нельзя не согласиться с одним: прошлое должно быть преодолено. А чтобы преодолеть прошлое, его нужно прежде всего понять...

Д. Бейли — американский журналист, специалист по Германии, в последние годы — руководитель радиостанции "Либерти" ("Свобода") в Мюнхене.

ПЯТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ САХАРОВСКИЕ СЛУШАНИЯ

Пятое Международное Сахаровское Слушание состоится в Пресс-Центре Лондона по адресу: 76 Shoe Lane EC4, 10 и 11 апреля 1985 года.

Таким образом, они проводятся незадолго до десятой годовщины подписания Акта Хельсинки, и главное внимание участников будет сосредоточено на том, какие изменения произошли за этот период в ситуации с правами человека в Советском Союзе и Восточной Европе.

Темы, отобранные для выступлений и дискуссий на **ПЯТЫХ СЛУШАНИЯХ**, касаются изменений во внутренней политике с 1975 по 1985 год, особенно изменений в законодательстве; политики по отношению к инакомыслящим; отношения к религиозным и национальным меньшинствам, групп **ХЕЛЬСИНКИ**, цензуры, глушения иностранных радиостанций, эмиграции.

Исполнительный комитет Сахаровских Слушаний стремится к сотрудничеству с правительственными, неправительственными и частными организациями, которые связаны с процессом **ХЕЛЬСИНКИ**, а также с организациями по защите прав человека. Могут быть использованы и показания отдельных лиц, знающих по опыту о нарушении прав человека в какой-либо из стран, подписавших **СОГЛАШЕНИЯ**.

Исполком был бы рад получить материалы по предложенным темам. Умеренные расходы на поездки и жилье могут быть возмещены, но только по усмотрению Исполкома.

Просьба направлять письма по адресу: Dr Allan Wynn, Chairman, Fifth International Sakharov Hearing, Apartment 1, 44 Cranley Gardens, LONDON SW7.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В одном социологическом журнале было отмечено недавно, что "социологии Катастрофы еще не существует". Если не считать нескольких специальных исследований, социологи в целом куда охотнее занимаются антисемитизмом и ему подобными проблемами, чем Катастрофой как таковой. Возможно, квазисоциологическая работа Ханны Арендт о банальности эйхмановского зла отвратила многих от темы — особенно после ее утверждений, что жертвы сами в значительной части были повинны в своей судьбе. Возможно также, что травма Катастрофы, задевшая всех евреев, в том числе евреев-социологов, вытеснила стремление к логическому анализу. Известный еврейский социолог недавно сказал мне: "В отношении Катастрофы самое разумное — это молчание".

Но это не так. Социологические исследования могли бы существенно дополнить исторические объяснения того, почему и как произошла Катастрофа. Они помогли бы понять, в чем состояла ее уникальность и что в ней допускает обобщение. Они могли бы показать, какие силы ведут к массовому экстремизму и какие силы этому экстремизму противостоят.

В этой статье я хотел бы

Фред Кац

КАТАСТРОФА
КАК
БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ
РУТИНА

обсудить такой аспект Катастрофы, как превращение чудовищного поведения в рутину. Ведь сам тот огромный размах, с которым осуществлялась Катастрофа, в значительной мере означает, что пытки и убийства стали для нацистов рутинной. Процесс массового истребления евреев превратился в один из элементов "ординарной", каждодневной, рутинной деятельности германской государственной машины. Он стал элементом "обычной" карьеры чиновников и офицеров. И в большой своей части он зависел также от специально подготовленных сотрудников лагерной администрации, специалистов по массовому уничтожению. "Специалистом" такого рода был, например, комендант лагеря Освенцим Рудольф Гесс.

Случай Гесса весьма труден. На суде Гесс утверждал, что он чувствительный человек и что зверства в Освенциме вызывали у него отвращение. Мы склонны не доверять таким утверждениям. Принять их означало бы поверить в благие намерения дьявола. Нормальный рассудок не может совместить эти утверждения Гесса с его действиями. Но есть одна причина, побуждающая спросить: "А что, если мы поверим Гессу?" Причина эта состоит в том, что таким образом мы можем понять нечто существенное.

Существенно понять, как геноцид мог превратиться в рутину. С точки зрения социологии рутина означает, что некие сложные социальные процессы, вроде воспитания молодежи или ведения войны, организованы так, что могут проводиться упорядоченно, даже если включают чьи-то индивидуальные страдания и насильственное прекращение чьей-то жизни.

Государственная бюрократия всегда имеет тенденцию к такой рутинизации. Бюрократия как раз и представляет собой социальную машину, осуществляющую сложные процессы относительно упорядоченным образом. И как правило она действует в моральных шорах. Типичный чиновник сосредоточивается на своей специфической задаче, не оценивая ее возможные последствия, в том числе моральные. Его заботят, главным образом, средства, а не цели. Возможная аморальность этих средств, как правило, выходит за рамки его каждодневных размышлений. В результате, когда он организует транспортировку евреев в лагерь уничтожения, проблема моральности или аморальности попросту находится вне круга его внимания. В этом круге пре-

обладают чисто технические вопросы — например, наличие или отсутствие поездов для транспортировки истребляемых.

Важной специфической чертой процесса рутинизации является участие в нем относительно “обыкновенных” людей, которые работают увлеченно и творчески. Особенно интересны в этом смысле люди, стоявшие на промежуточных ступенях нацистской иерархии. Как они оказались вовлеченными в геноцид? Обычное объяснение исходит из того, что бюрократ — это крайний пример двух распространенных синдромов: традиционного подчинения начальству и современной тенденции к специализации. Оба эти объяснения были использованы нацистскими чиновниками в их попытках избежать ответственности за свои действия. Оба положили начало мучительным и извращенным научным спекуляциям на тему о том, что “все мы — немного нацисты”.

В действительности однако, нацистское движение, подобно многим другим экстремистским движениям, не имело заранее и открыто сформулированной программы. Например, план истребления евреев складывался постепенно, шаг за шагом, уже после прихода нацистов к власти в 1933 году. До этого он никогда не уточнялся в деталях. До начала систематического уничтожения в 1942 году антиеврейские преследования включали лишь многочисленные случаи нападения на отдельных евреев и оркестрованную сверху кампанию очернения еврейства. Главным же орудием преследований была череда все более ужесточавшихся антиеврейских законов. С их помощью евреи лишались все большего числа гражданских прав. В техническом смысле большая часть преследований была, следовательно “легальной”, то есть осуществлялась через наличную юридическую машину государства. Для них не создавалась никакая особая система — ни специальные суды, ни особая адвокатура. Иными словами, эти преследования осуществлялись с минимальным ощущением новизны происходящего. Ведь в конечном счете их осуществляла наличная государственная машина, и потому они выглядели как выражение воли государства, реализуемой с помощью установленных и проверенных государственных механизмов. Для каждого отдельного чиновника, более привыкшего к проведению в жизнь, а не к инициированию политических решений, в этих действиях нацистского государства могло и не быть ничего принципиально нового. Это было особенно верно в тех слу-

чаях, когда такой чиновник втягивался в нацистскую политику постепенно, путем последовательных небольших шагов.

Но постепенный (“инкрементальный”) характер наращивания репрессий скрывал не только их новизну. Он скрывал также их размах. В 1930-х годах мало кто, включая самих евреев, мог представить, что речь идет о реальной перспективе истребления всего европейского еврейства. Для многих евреев отдельные законы, вроде требований об обязательном наличии особого удостоверения личности или смене имени и фамилии на чисто еврейские, были именно отдельными, изолированными требованиями. Постепенность камуфлировала истинную направленность процесса. Когда в конце концов был отдан секретный приказ о физическом уничтожении всех евреев на оккупированной нацистами территории, он сам по себе был тоже лишь очередным небольшим добавлением к тому, что уже было, в общем-то, известно и принято. Он не находился в кричащем противоречии с тем, что делалось ранее. Короче говоря, постепенность процесса — вот что делало его приемлемым для немцев, поскольку скрывало экстраординарность и экстремизм.

Был в этом процессе и другой аспект, — связанный со служебной карьерой отдельных чиновников. Многие — возможно, большинство — из них начинали отнюдь не как профессиональные убийцы. Как же в таком случае они приходили к столь ревностному участию в программе истребления человеческих существ? Ответ состоит в том, что для многих людей и выбор профессионального пути, и продвижение по службе определяются не одним каким-то судьбоносным решением, принятым в тот или иной момент жизни, а длинной серией небольших, локальных решений, принимаемых по мере необходимости. Каждое такое решение касается непосредственно сейчас возникшей проблемы. Такой постепенный процесс, состоящий из серии локальных шагов, может исподволь предопределить всю жизнь человека. Этот процесс может постепенно втянуть его в действия, которые поначалу его вовсе не привлекали. Человек может стать учителем, не имея никакого призвания преподавать; он может стать врачом без всякого желания лечить. Он может стать врачом и исполнять свои обязанности хорошо и даже с энтузиазмом и в то же время по-прежнему не иметь никакого призвания к другим аспектам своей деятельности, включая исходное стремление помочь больным людям.

История нацистских чиновников ярко иллюстрирует эту схему. Исследования показали, что многие из этих чиновников пришли к нацизму постепенно. Эйхман, например, присоединился к нацистскому движению, потому что это считалось "принятым". Поначалу он, по всей видимости, был весьма далек от антисемитизма. В ходе своей эсэсовской карьеры он обнаружил исключительную вовлеченность и значительную изобретательность в деле уничтожения евреев. Но есть достаточно свидетельств тому, что в подогревании этого энтузиазма соображения карьеры играли не меньшую роль, чем благоприобретенный антисемитизм. Разумеется, это не освобождает Эйхмана от ответственности за массовые убийства. Но это позволяет понять, что не только слепая ненависть способна толкнуть на чудовищное поведение.

Сами по себе постепенные процессы ни хороши, ни плохи. Они являются частью многих обычных социальных процессов. Они весьма типичны для существующих социальных систем. К примеру, многие политические решения американской администрации обусловлены сиюминутными оценками шансов предстоящих выборов в конгресс. И многие новые законы обычно рождаются в ходе организованных "по случаю" обсуждений, зачастую заканчивающихся компромиссом между конкурирующими партиями и группами давления, и конечные формулировки этих законов не являются идеальными ни для одной из этих групп. Они возникают как результат целой серии локальных, небольших изменений и компромиссов.

Как же объяснить тот кажущийся парадокс, что многие нацистские чиновники, включая Эйхмана и его начальника Гиммлера, порой высказывали отвращение к отдельным аспектам массового уничтожения, в котором они же участвовали столь активно и с энтузиазмом? Легче всего было бы предположить, что, говоря о своем отвращении, они лгали — то ли себе самим, то ли окружающим. Но столь же возможно и другое объяснение: эти люди были преданы нацистской идее в целом.

Нацистская идея в целом была кульминацией немецкого национализма, который утверждал, что 1) немецкая нация не только отлична от всех других, но и выше всех других наций и 2) личность может наиболее полно выразить (осуществить) себя только через подчинение себя нации.

Уничтожение евреев и другие неблагоприятные действия были, таким образом, частью индивидуального долга перед всеобъемлю-

щей, великой идеей, воплощенной в Третьем Рейхе. Преданность этих людей принадлежала не какому-либо частному делу, вроде уничтожения евреев, а более великому — общегерманскому — идеалу. Можно было считать некоторые из его аспектов неприятными и в то же время видеть в них позитивный вклад в более значительное и — в целом — приемлемое дело. Это дело, таким образом, представляло собой своеобразную “пакетную сделку”.

Нацизм как идеология имел множество различных аспектов. В него входил и антисемитизм (значительно расширенный вариант давно существовавшего немецкого антисемитизма), и возвышенный национализм (включавший план возвращения земель, потерянных Германией в результате первой мировой войны), и этничность (основанная на давних темах немецкой культуры, утверждавших превосходство немецкой расы), и экономическое возрождение (которое должно было дать работу ныне безработным, а также развитие и процветание всей нации). Каждый из этих аспектов затрагивал свою проблему, но все вместе они составляли единый сплав. В своей пропаганде и практике нацизм объединял их в о б щ и й “ п а к е т ”.

Можно сказать и иначе: различные аспекты нацизма были обращены к различным группам населения — безработным и промышленникам, кадровым армейским офицерам и чиновникам-карьеристам, антисемитам и националистам. Поскольку нацистский режим представлял собой жесткую диктатуру, ни одна из этих групп не располагала тем специфическим влиянием (в качестве “группы давления”), каким подобные группы располагают в западных демократических обществах. Нацизм, таким образом, представлял собой наименьший общий для всех идеологический знаменатель, объединявший эти группы в их преданности режиму.

Из этого вытекают три важные особенности. Во-первых, отдельные люди могли быть привлечены к нацизму тем или иным аспектом его идеологии, а не обязательно всем “пакетом” в целом. Во-вторых, благодаря объединению всех аспектов нацистской программы в единый “пакет”, отдельные нацисты были вынуждены участвовать в реализации этого “пакета” в целом, даже если отдельные его аспекты не вызывали у них особого восторга. При этом, поскольку весь “пакет” принимался ими с энтузиазмом, они воплощали его весьма ревностно, включая и те компоненты, к которым не испытывали особого влечения. В-третьих, наличие идеологического “пакета” помогало включить действия

индивидуума в некий осмысленный контекст, надежно защищавший от оценки их в контексте других — например, традиционных этических или религиозных — идеологий.

Как уже отмечалось, многие преследования — евреев и других — осуществлялись бюрократической машиной немецкого государства. После войны многие нацисты на Нюрнбергском и прочих процессах искали оправдания в этом факте. Они утверждали, что попросту исполняли приказы; что они были чиновниками, обязанными подчиняться законам государства, или армейскими офицерами, обязанными подчиняться приказам вышестоящих командиров, короче, — что они занимали строго определенные посты в четко разграниченной иерархии. В таком положении, утверждали они, человек не располагает особенной свободой действий. А в силу этого он не несет ответственности за эти действия.

В таких рассуждениях сознательно обходится тот факт, что ситуация бюрократа, как правило, двойственна — она предусматривает и подчинение, и автономию. Бюрократическая организация — не просто механизм для контроля за поведением людей. Это также механизм, дающий известную автономию людям, участвующим в проведении данной политики. Иными словами, бюрократия не только требует услуг от своих чиновников, но и дает им возможность делать карьеру. Чтобы сделать карьеру, чиновник должен делать больше, чем просто подчиняться инструкциям. А это возможно только, если он может проявить относительно автономную активность.

Чиновники всегда располагают довольно существенной автономией действий. Это доказывают социологические исследования. Но и без них любому, кто имел дело с чиновниками, известно, что они не только “знают” законы — они еще имеют значительную свободу в интерпретации этих законов. Чиновник может интерпретировать их так буквально, что это уничтожает сам дух этих законов и тех идеалов, которые в них воплощены. И напротив, он может интерпретировать их в духе этих идеалов (вернее, того, что данный чиновник понимает под их “духом”). Именно в результате этого реформы и новшества любой новой администрации зачастую обречены на провал (несмотря на то, что она ставит своих людей во главе бюрократической машины), если им противодействуют чиновники среднего и низшего уровней. Это верно и для Германии времен на-

цизма. Нацистские чиновники, начиная с гауляйтеров и ниже, были немалыми мастерами в деле самосохранения и использования своей автономии во внутрибюрократических интригах.

Отдельные эсэсовские чиновники, руководившие массовым истреблением, находили способы использовать эту автономию при осуществлении государственной политики. Так, генерал Отто Олендорф, руководивший одной из "эйнзатцкомманд", на Нюрнбергском процессе признался в убийстве свыше 90 тысяч человек, но тут же с гордостью добавил, что, пользуясь своей автономией, сделал это максимально "гуманным" образом — применяя средства и методы, настолько ускорявшие процедуру, что ни жертвы, ни палачи не испытывали излишних "душевных терзаний".

Существенно здесь не только наличие известной самостоятельности чиновника, но и то, каким образом она используется. Генерал Олендорф использовал ее для достижения двух целей. Во-первых, для реализации нацистской политики истребления. Этого он достигал, изобретая новые средства и методы массового уничтожения, которые позволяли ускорить это уничтожение. Во-вторых, для примирения этого уничтожения с некоторыми традиционными немецкими ценностями. Этого он достигал, изобретая методы, которые якобы вносили элемент "гуманности" в абсолютно бесчеловечный процесс. Жалобы немецких солдат на зверства, совершаемые на восточном фронте, достигали тыла и могли породить требования "гуманизировать" негуманные действия. Неизвестно, действовал ли Олендорф под давлением этих требований или по собственной инициативе. Сам он, во всяком случае, считал, что действовал в соответствии с немецкой традицией, которая высоко ценит человеческую жизнь.

На деле оба варианта использования им своей чиновничьей автономии вели к одному и тому же результату — осуществлению нацистской политики истребления евреев. Это был добровольный вклад нацистского чиновника в реализацию нацистской программы. Трудно сказать, в какой мере нацистам удалось бы осуществить эту программу, если бы не многие такие добровольные вклады чиновников и бюрократов на всех уровнях немецкой государственной машины.

Самым изученным примером использования свободы действий, даваемой своей должностью, для реализации программы истребления является, вероятно, случай Эйхмана. Он проявил

в этом недюжинный энтузиазм и изобретательность. Все данные свидетельствуют о том, что уничтожение евреев стало для него почти навязчивой идеей. Всю свою автономию он использовал для осуществления этой идеи. Например, под конец войны, когда терпевшей поражение Германии не хватало поездов, Эйхман настаивал на том, чтобы поезда использовались для транспортировки евреев в лагеря уничтожения. Это приводило его к конфликтам с начальством, которое требовало, чтобы поезда использовались для переброски войск. Был случай, когда Гиммлер лично приказал Эйхману прекратить перевозку евреев в лагеря. Эйхман ухитрился саботировать этот приказ и продолжать перевозку евреев.

Действия Эйхмана демонстрируют степень чиновничьей автономии. Чиновник может с энтузиазмом выполнять приказы, но может их и саботировать. Он может концентрировать ресурсы такими способами, которые не упоминаются в существующих предписаниях. Обычно эти предписания формулируются достаточно широко, чтобы допускать различные интерпретации на уровне исполнения. Тем самым создаются "зазоры автономии" индивидуальных исполнителей, в пределах которых эти исполнители несут личную ответственность за свои действия. Именно характер использования чиновником этого "зазора" между приказом и исполнением и определяет, с одной стороны, степень успеха в достижении целей, стоящих перед бюрократической машиной в целом, а с другой — меру личной ответственности чиновника за этот успех.

Другим примером ординарного чиновника, ставшего ревностным исполнителем экстраординарного преступления, был упомянутый ранее комендант Освенцима Рудольф Гесс. Гесс родился в 1900 году, получил строгое католическое воспитание, участвовал в первой мировой войне, присоединился к Гитлеру в 1922 году, был арестован по обвинению в политическом убийстве в 1923 году, выпущен из тюрьмы в 1929 году, после чего женился и занялся сельским хозяйством. В 1934 году Гиммлер убедил его присоединиться к СС и назначил в лагерную администрацию. Поднимаясь по служебной лестнице, Гесс в 1940 году получил назначение комендантом Освенцима и, за небольшими перерывами, провел там все время до конца войны. Двое из его пяти детей родились в лагере во время его службы там.

В своих воспоминаниях Гесс описывает свою детскую любовь

к растениям и животным и унаследованную от родителей абсолютную покорность начальству. Он называет полученный от Гимmlера приказ подготовить лагерь для массового уничтожения людей "экстраординарным и чудовищным", но считает для себя совершенно исключенным отказ от исполнения такого приказа. Можно жаловаться на трудность приказа, но выполнять его необходимо.

Люди, подобные Гессу, идеализируют свою готовность к подчинению, особенно — к подчинению "трудным приказам", которое доставляет им глубокое удовлетворение. Чем труднее приказ и подчинение ему, тем глубже удовлетворение. Любопытно, что приказы, получаемые Гессом, вовлекали его в дело массового уничтожения постепенно, шаг за шагом. Когда в 1941 году он получил указание построить в Освенциме камеры для уничтожения людей, он "не имел ни малейшего представления о размерах задуманного уничтожения". Не размышлял он и о том, "необходимо ли массовое уничтожение евреев". Его обязанности, как он их понимал, были более узкими — выполнять получаемые приказы. Он сосредоточился на их выполнении и не отвлекался на обсуждение моральных проблем. Гесс был предан в нацистском "пакете" лишь одному его аспекту (хотя способствовал осуществлению всего "пакета" в целом) — возможности восстановления "нормальной" военной службы и военной карьеры. Вспоминая о приглашении служить в лагерях, он пишет: "Для меня это был вопрос возобновления активной военной службы, возобновления военной карьеры".

Гесс отмечает, что во время службы в Дахау (до Освенцима) он испытывал отвращение к поркам заключенных и старался не присутствовать на них. Однако шаг за шагом, постепенно, он свыкся с этим. Рассказывая о службе в Освенциме, он отмечает, что порой и он сам, и его подчиненные испытывали ужас, тем не менее они продолжали свое дело. Если это не ложь, то такое противоречие может иметь двоякое объяснение: самоуважение, возникающее из синдрома подчинения "трудному приказу", и включение происходящего в специфический контекст. Гесс не скрывает, что видит нечто почетное в исполнении чудовищных приказов: "Нет ничего труднее, чем, стиснув зубы, делать подобные вещи — холодно, безжалостно, беспощадно". Что касается "пакетной сделки", то Гесс, не будучи, по его словам, антисемитом, тем не менее был уверен, что уничтожение евреев

необходимо для сохранения немецкой нации; Гесс, далее, стремился поддерживать в Освенциме определенные моральные стандарты — например, наказывал за воровство или сексуальные отношения с заключенными; он также стремился — с помощью современной технологии — минимизировать страдания заключенных. (Гесс восторгался эффективностью газовых камер в сравнении с примитивными расстрелами.) Своих сомневающихся подчиненных Гесс заверял, что “все делается по приказу фюрера” и что “все это необходимо для защиты немецкой расы”. Таким образом, то, что совершалось в Освенциме, помещалось им в определенный контекст (из которого предварительно были устранены многие ценности и моральные нормы прежней немецкой культуры), защищенный от возможного воздействия других контекстов. Такая контекстуализация способствовала эскалации зла. Нечего и говорить, что безжалостность и беспощадность Гесса порождали безжалостность и беспощадность его подчиненных, а это, в свою очередь, порождало аналогичное поведение среди “капо” и других исполнителей из среды самих заключенных. В результате Гесс мог справедливо сетовать на жестокость “капо”, якобы вынуждавшую его к еще большей жестокости. Так получалось, что поставленное в контекст зло порождало еще большее зло.

Сам Гесс утверждал, что он пытался бороться с жестокостью, но не имел для этого возможностей. Это не так абсурдно, как кажется. Более высокая должность в иерархии означает не столько количественное увеличение автономии, сколько ее качественное изменение. Самостоятельность Гесса была не больше, чем самостоятельность его подчиненных, — она была иной. Гесс не мог освободиться от обязанностей своей социальной роли: в этом смысле его подчиненные могли иметь больше свободы. Автономия Гесса была в его привилегиях — в частности, в его возможности вести (вместе с семьей) обеспеченную жизнь высокопоставленного чиновника и, одновременно, средневекового феодала, располагающего безграничными ресурсами человеческих услуг.

Оба существования Гесса — как коменданта лагеря и как главы вполне буржуазной семьи — проходили рядом, но почти не пересекались. Случай Гесса, таким образом, демонстрирует способность человека сосуществовать одновременно в двух таких противоположных мирах. В значительной степени такое двойное существование было характерно тогда для всей нацистской

Германии. История Гесса показывает, как могут сосуществовать резко различные социальные структуры; в какой степени вполне человеческие чувства (забота о семье, о близких и детях) могут существовать параллельно с безжалостностью и беспощадностью (по отношению к другим человеческим существам); как обычные формы приспособления к требованиям профессии и карьеры могут быть использованы на службе безграничной жестокости; и как все это способствует рутинизации чудовищного поведения.

* * *

Катастрофа остается ужасной, но она не должна оставаться загадочной. Тот факт, что она оказалась возможной, в значительной мере обусловлен современной бюрократизацией жизни. Действительно, осуществимость массового уничтожения людей во многом опиралась на ту упорядоченность, которая характерна для современной бюрократической машины. Эта машина способна успешно поощрять бесчеловечные действия своих чиновников и одновременно изолировать эти действия от всей остальной жизни индивидуума. Эта изоляция оказывается столь эффективной, что Гесс (и ему подобные) могут вести подобие нормальной семейной жизни, одновременно участвуя в чудовищных жестокостях. Тут, в предельной форме лагерного микрокосмоса, воплощается то, что происходило в нацистской Германии вообще.

Социологический урок Катастрофы состоит в том, что зло может стать рутинной, когда "ординарное" человеческое поведение впрягается на службу "экстраординарным" — и чудовищным — целям.

ЛОНДОНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОРИ

Вадим Делоне

ПОРТРЕТЫ В КОЛЮЧЕЙ РАМЕ

Вступление Владимира Буковского

Премия им. Даля за 1984 год (присуждена посмертно)

Место действия книги — уголовный лагерь, в котором Вадим Делоне отбывал срок за участие в демонстрации на Красной площади. Трогательное повествование Вадима Делоне выделяется из жанра лагерных воспоминаний уже хотя бы тем, что автор предоставляет слово уголовным преступникам, и среди них — безвинно осужденным. Лагерный быт описан живо, с беззлостью и искренностью.

217 стр. 4-50 ф. ст.

Социалистический режим давно перешагнул границы одной страны, и сегодня в мире существует уже немало социалистических государств. Среди них судьба Китая является особенно примечательной. Наряду со странами Восточной Европы, Китай прошел уже несколько фаз социалистического развития: здесь был не только свой террор, но и своя оттепель, сложилась своя литературная традиция, как либеральная, так и прямо диссидентская.

Сходство между китайским и советским социализмом общеизвестно и неоднократно обсуждалось на страницах печати, в том числе и эмигрантской. Этот акцент на сходстве преследует весьма определенную цель. С его помощью стараются доказать (главным образом — западным либералам, многие из которых были великими поклонниками Культурной Революции), что те или иные особенности социализма не суть следствие русской специфики или личных качеств тех или иных вождей, а органически вытекают из системы как таковой. Хотя этот акцент на сходстве и полезен, он не освобождает от обязанности искать не только то, что сближает китайскую революцию с русской, но и то специфическое, что их разделяет. Но такого рода исследований в рус-

Дмитрий Шляпентох

**ИОВ СОВЕТСКИЙ
И
ИОВ КИТАЙСКИЙ**

скоязычной литературе пока, практически, нет. В данной работе мы попытаемся сделать первый шаг в этом направлении, взяв за основу некоторые из произведений китайских писателей, вышедших за последние годы.

Сборник "Раненые"¹, изданный в Гонконге в 1979 году, включает произведения, созданные сразу же после разгрома "Банды Четырех". Все они написаны в стиле хрущевской оттепели и обстоятельно повествуют о мытарствах "честных коммунистов" в период Культурной Революции. Героев отправляют на "перевоспитание физическим трудом", от детей требуют отречения от родителей, заподозренных в тех или иных ересьях, мужьям вменяется в обязанность быть судьями своих жен, книги сжигаются и так далее. Все это происходит только потому, что "мудрые и гуманные" указания председателя Мао искажаются "Бандой Четырех", узурпировавшей власть.

Гораздо больший интерес представляет собой книга китайской писательницы Чен Ио-хси "Казнь майора Иня и другие рассказы о Великой Пролетарской Культурной Революции"². Свою книгу Чен Ио-хси написала на Тайване, куда ей удалось выбраться.

В центре книги — рассказ "Казнь майора Иня". Он повествует о судьбе офицера гоминдановской армии, который живет бедно (конечно, по китайским стандартам того времени), но однажды задумывается над смыслом существования и приходит к выводу, что ведет недостойную жизнь. Решив придать смысл своему существованию, майор Инь переходит с подчиненным ему отрядом на сторону красных и принимает активное участие в гражданской войне в их рядах. Он становится образцовым коммунистом, склонным даже к некоторому социальному самобичеванию: чтобы быть абсолютно честным перед партией, он объявляет своим начальникам, что происходит из кулацкой семьи, хотя на самом деле его семья вполне могла быть причислена к средняцким и даже бедняцким. В результате такой чрезмерной социальной скромности майор Инь оказывается в "плохой пятерке". Тем не менее он сохраняет твердость убеждений и продолжает верно служить партии. Однако во времена Культурной Революции его, несмотря на преданность, зачисляют в "контрреволюционеры" и приговаривают к смерти. Решение суда удивляет многих из товарищей Иня по революционной работе, ибо все они хорошо знают его как убежденного и преданного коммуниста. Среди них

ходят слухи, что Инь в конце концов будет помилован. Этого однако не происходит, и Инь в положенное время оказывается перед стволами карабинов. Тут он начинает кричать: "Да здравствует председатель Мао!" Никто не осмеливается стрелять в человека, который кричит такие слова, и тогда из рядов палачей выходит какой-то человек и носовым платком затыкает Иню рот. После чего Иня, естественно, расстреливают.

В своих рассказах писательница выводит и тех, кто вернулся в революционный Китай из китайской диаспоры, чтобы принять участие в строительстве новой жизни на исторической родине. Таков герой рассказа "Ночная служба". Свои студенческие годы он провел в Америке, где увлекся "возвышенными идеями". По ночам он изучал произведения Ленина и Мао, полагая при этом, что рискует своей свободой, поскольку агенты ФБР давно, якобы, отслеживают его. Дабы не дать им улики, герой прячет произведения классиков под подушку. Решив, наконец, что он достаточно подготовлен к строительству социализма, герой возвращается в континентальный Китай, где вместе со всеми терпит голод и лишения. Он живет в одной из коммун, и его главная работа — охрана кухни от голодных товарищей.

Сходная судьба и у другого героя книги — Кен Эра, окончившего американский университет и отправившегося затем в Китай "служить людям". Во времена Культурной Революции он встречает в Пекине своего бывшего однокашника, тоже китайца, прибывшего в страну в качестве туриста, и тот с восхищением говорит Кен Эру, какое впечатление произвел на него "культурный уровень" трудящихся и "успехи образования" в стране. Кен Эр не пытается разубедить приятеля в превратности его представлений — не только из страха, что власти узнают о беседе, но также из нежелания чернить свою историческую родину.

Во всех своих рассказах Чен Ио-хси демонстрирует черную неблагодарность коммунистического Китая к тем, кто первоначально так страстно любил его. Ситуация эта не нова. Мировая литература давно знает образ "многострадального Иова", до конца преданного тому, кто не только не разделяет его чувств, но даже с каким-то садистским наслаждением мучает своего верного палача. Множество таких Иовов можно найти и в русской литературе и публицистике, где ими часто оказываются правоверные коммунисты, ничего, кроме шишек, от своей политической возлюбленной не получающие. Итак, повторяю, ничего нового в книж-

ке Чен Ио-кси нет, — разве что в семье Иовов оказался Иов китайской национальности. Это, может быть, и любопытный факт, но сам по себе он не заставил бы меня взяться за написание этой статьи. Заслуживает же внимания китайский Иов по другой причине. В отличие от своих русских собратьев, он полностью лишен их оптимизма. У него нет никакой положительной программы. Он в абсолютном тупике. И в этом-то он уникален.

Действительно, если мы окинем взглядом судьбы русских Иовов, то увидим, что никто из них не был по-настоящему приперт в угол. В подавляющем большинстве случаев у них всегда есть эмоционально-философская альтернатива. Советский Иов, как правило, участвовал в гражданской войне, коллективизации и индустриализации, верным левитом истреблял всех, кто вздумал поклоняться еретическому “тельцу” или был заподозрен в таких намерениях. За это Иов ожидает похвал и вознаграждений, но тут дьявол (под ним обычно понимается жестокий диктатор — вождь, или агенты иностранных разведок, желающие истребить одних коммунистов руками других, или даже национальные особенности страны, в которой происходит строительство социализма) начинает провокационную беседу с богом и делает так, что бог “трогает” Иова. И вот вместо приобретения новых и еще более тучных стад, Иов оказывается в рубищах, то есть без работы, в лагере и так далее. Нестойкая жена предлагает ему проклясть бога, но Иов продолжает упорствовать в своей вере и несколько раз патетически восклицает: “Бог дал — бог взял, нагими и голыми из чрева матери мы вышли, нагими и голыми помрем” — или что-нибудь иное в этом роде. В русской своей разновидности Иов продолжает сохранять верность марксизму-ленинизму и своей социалистической родине. Даже в лагере или ссылке он продолжает защищать их от наскоков настоящих, истинных контрреволюционеров, которые, в отличие от него, попали в лагерь или ссылку “за дело”. Бог, в конце концов, сознает, какую непростительную ошибку он совершил, покарав Иова, и возвращает ему свои милости: Иов реабилитирован и с триумфом возвращается к своим стадам, ставшим еще более тучными, чем прежде, к своим детям и жене, то есть к престижной, хорошо оплачиваемой синекуре и общественному признанию. Это — наиболее оптимистический вариант жизни русского Иова, взятый на вооружение советской литературой сразу же после двадцатого съезда партии; он прямо

списан с библейского прототипа, хотя составители советских жизнеописаний об этом, конечно, могли и не подозревать.

В этом варианте, как мы видим, Иов отделяется сравнительно легко. Возможен, однако, и другой вариант. В этом случае никакая прижизненная реабилитация Иову "не светит", и он должен с неизбежностью погибнуть. Однако и этот исход отнюдь не лишает советского Иова оптимистического, вернее — трагически-оптимистического видения мира и своего места в нем. Личная судьба со всеми ее превратностями не загоняет Иова в тупик беспросветного отчаяния. Иов верит, что в конечном итоге он все-таки будет реабилитирован (хотя, быть может, и посмертно), а злодеи, его мучавшие, будут наказаны (хотя бы презрением потомства). Потомство же, в этом случае, покончит и со всеми социальными извращениями, погубившими Иова.

Существует, наконец, и третий вариант. В этом случае провокационные призывы ("прокляни" и т. п.) оказывают свое действие: у Иова раскрываются глаза. Он начинает понимать, что бог вовсе не бог, не спаситель человечества от рабства и тирании, а поганый "телец"; с другой стороны, прежний "телец" превращается в достойное почитания божество. Иными словами, Иов превращается в убежденного диссидента, но — как и прежде — сохраняя при этом весь свой социальный оптимизм. Разница лишь в том, что Иов в этом случае верит в неизбежное торжество "теляца". Итак, эмигрантско-диссидентская и либерально-подцензурная советская литература одинаково видят мир в ключе "оптимистической трагедии".

Ничего подобного мы не находим в "Раненых" и особенно в книге Чен Ио-хси. Здесь нет никакого оптимизма. Можно, конечно, понять героев, не пытающихся активно сражаться со столь малопривлекательным для них режимом: режим суров, шутить с собой не позволяет, и нет никакого отступления от правды жизни в том, что писатель выбрал своих героев не из категории борцов. Практической невозможностью эмиграции можно объяснить и тот факт, что ни один из героев рассмотренных книг не пытается выбраться на Тайвань или эмигрировать на Запад. Но вот что никак, с первого взгляда, нельзя объяснить, так это того, что никто из героев не желает гибели режиму и, соответственно, не указывает на альтернативу ему (что почти всегда делают герои русской литературы). Вот тут-то китайские и русские авторы обнаруживают абсолютное различие.

Есть и другой элемент, отличающий художественно-философскую манеру повествования Чен Ио-хси от русской. Русский автор-диссидент видит в существующем социалистическом режиме не естественное явление, а историческую аберрацию, отклонение от "нормального" общества. (Какое общество является для него "нормальным", естественно, зависит от его политических взглядов.) В силу этого защитники социалистического режима также представляют собой в его глазах отклонение, аномалию и таковыми обычно и изображаются. Ничего подобного в книге, например, Чен Ио-хси мы не находим. Слуги режима — не уроды, не маньяки и не идиоты. Они не вызывают отвращения или ненависти. Ничего драматически-извращенного чаще всего в их действиях нет. Это не антилюди, живущие в антимире, по своему характеру враждебному миру нормальных людей, но интегральная часть "нормального" мира. Их образы отличаются каким-то эпическим спокойствием, простотой, прозрачностью. Зло, ими воплощаемое, органически вписывается в мир, оказывается его составной частью, столь же необходимой, как и добро. Возникает даже ощущение, что автор отделяет зло от добра лишь условно, что они для него не разнотелные явления, а свои различные наименования получили исключительно для удобства читателей, позволяя им расчленив образ мира на составные элементы.

В чем причина этого глубокого пессимизма, этой абсолютной покорности режиму? Почему во всем такая безысходность? Почему даже в мечтах своих герои не тешат себя картинами неизбежной гибели строя, предвкушениями его конца? В первую очередь, естественно, возникает искушение свести все к той культурно-исторической традиции, которая вскормила авторов "Раненых" и Чен Ио-хси, то есть к специфической культуре народов юго-восточной Азии. Известно, что христианское видение мира, а оно (наряду с античной культурой) лежит в основе европейской, в том числе и восточноевропейской, цивилизации, предполагает наличие прогресса — во всяком случае, конца истории со страшным судом и установлением идеального общества. Восточно-буддийское видение истории, наоборот, предполагает вечное круговращение, из которого никакого выхода нет. Христианская традиция с ее верой в идеальное общество, в рай, наступающий в конце истории, с ее акцентом на загробное воздаяние за добро и зло предполагает также четкое разграничение между добром и злом и в этой жизни, существование их в двух полярных этических

измерениях. Буддизм, видя мир как круг-сансару, делает освобождение от зла практически невозможным, ибо ставит акцент не на их разграничении, а на слиянии, на их взаимной обратимости в вечно движущемся круге мирового бытия. А отсюда вытекает то эпически-спокойное отношение ко злу, то отсутствие какой-либо альтернативы, которое характерно для героев Чен Иохси.

Подобное объяснение пессимизма героев имеет свои основания. И тем не менее нельзя свести все к одним лишь культурно-историческим отличиям, которые сами по себе достаточно условны. Ведь уже само принятие Китаем марксизма с его европейско-христианскими корнями свидетельствует о том, что восточная культура не отгорожена от западной "китайской стеной". И потому глубокий, безысходный пессимизм героев упомянутых книг не есть лишь следствие культурно-исторической подосновы их мышления. Он порожден также их глубочайшим разочарованием в китайской революции — феноменом, качественно более глубоким, чем разочарование русских интеллектуалов. Чтобы понять характер этого разочарования, необходимо рассмотреть некоторые общетеоретические аспекты данной проблемы, рассмотреть разочарование как социальный феномен.

В истории победа зачастую гораздо опаснее поражения. Это особенно верно для политического учения, и даже не столько для него самого, сколько для людей, его исповедующих. Действительно, всякое философское учение, всякая политическая конструкция утопичны уже в силу хотя бы того, что они всегда претендуют на законченность, слаженность. Конечно, философ-эссеист может написать работу, полную противоречий и парадоксов и усмотреть в этом даже некий своеобразный шик. В этом случае само плетение логических кружев и жонглирование аргументами являются не средствами, а целью. От такого автора никто не потребует связанности и законченности каждого элемента проекта, как никто не подходит к абстрактной картине с мерками анатомического атласа. И претензии автора такого философского эссе в плане реальной, практической реализации его идей обычно весьма ограничены. Его вполне удовлетворяет похвала публики, награждающей его аплодисментами за демонстрацию высокой интеллектуальной ловкости.

Иное дело политик, стремящийся к практической реализации своего плана. Здесь кристальная ясность является жизненно важ-

ной: должно быть ясно изложено, что ожидает последователей в день их окончательного торжества и какими путями они должны стремиться к поставленной цели. В этой ситуации интеллектуальные игры противопоказаны и предпочтительна максимальная ясность, а главное — абсолютная слаженность всех элементов доктрины. Тезис и антитезис не должны тут сталкиваться лбами, высекая фейерверочные, пусть и эффектные искры эрудиции, — нет, они обязаны мирно разрешаться прилизанным и благонамеренным синтезом во фразной паре, от которого не приходится ждать никаких неожиданностей.

Кроме законченности, без которой, я повторяю, политическая доктрина не может быть понята и принята последователями, она должна обещать им кардинальное изменение их жизни, прыжок в качественно иное бытие, в котором произойдет примирение всех противоречий этого мира. Ибо никто не соберет под знаменом последователей, никто не мобилизует их на долготелную, часто кровавую борьбу, если с самого начала заявит им, что цель, к которой они стремятся, ограничена и сводится лишь к некоторому улучшению, например, жизненного уровня. Никто не пойдет умирать на баррикады ради лишнего рубля или доллара, а поэтому политический деятель, мобилизующий своих сторонников, всегда приукрашивает конечный результат своих стремлений, указывая последователям, что увеличение зарплаты должно привести к большему, чем просто к лишней паре штанов в гардеробе. Если же он и не приукрасит победу аксессуарами идеального общества, то этим займутся его последователи, которые домыслят и доскажут за него и опьянят себя предвкушением конца национальной или мировой истории со всеми ее горестями. Этот элемент немало способствует превращению политической доктрины в утопию.

Итак, всякое политическое учение, объявляющее решительную борьбу старому порядку вещей, ориентирующее своих сторонников на длительную борьбу, с неизбежностью становится утопией. Но реальная, полная противоречий жизнь не признает утопий, и идеальная конструкция начинает разваливаться, как только соприкасается с действительностью. Наступает эпоха разочарований. Степень же этих разочарований часто зависит от полноты реализации плана. Политический план, реализованный только частично, может породить иллюзию того, что несовершенство его реального воплощения суть следствие этой незавершенности, неполноты по-

беды, а вот когда наступит “полная победа”, тогда-то и следует ожидать рая земного. Еще более оптимистично настроены зачастую те, кто потерпел полное поражение в реальной жизни. Идеи, план идеального общества, совсем не коснувшись земли, не запятали грязной реальностью свою девственно-белую теоретическую фату. Разгромленные, умирающие на крестах и кострах люди сохраняют веру в то, что реализация их плана немедленно освободила бы человечество от тысячелетних оков. Сокрушить крепость их убеждений ссылками на то, что цели всякого социального переустройства, каким бы радикальным оно ни казалось, ограничены и порой даже прямо противоположны задуманным, невозможно, ибо если теория чем и опровергается, то только практикой, живым эмоциональным отрицанием созданного. “Ум, — верно заметил Ларошфуко, — всегда в дураках у сердца”.

Если практическое поражение, таким образом, часто оборачивается теоретической победой, то полная реализация политической программы может оказаться для нее губительной. Здесь уже нельзя оправдаться ничем, а если к тому же следствия победы прямо противоположны заранее предвкушаемым, то “истинно верующий” оказывается полностью поверженным во прах. Смещается вся система его политических, философских и нравственных координат, и он погружается в абсолютный пессимизм. Понимание этого соотношения и дает нам возможность разобраться в том чувстве безысходности, которым пронизаны рассматриваемые книги. Оно дает нам возможность понять, почему в них нет и намека на альтернативы, богатый запах которых имеется в интеллектуальной кладовой почти каждого русского писателя. Суть дела здесь в том, что в отличие от русской интеллигенции китайским интеллигентам удалось практически полностью реализовать свою главную политическую программу.

Оптимизм русских диссидентов может быть объяснен тем, что ни одна из оппозиционных партий дореволюционной России не одержала победу, ни одной не удалось реализовать свою программу. Все партии оппозиции — от либералов до меньшевиков — были сметены сразу же после Октября. Даже старая ленинская большевистская гвардия вскоре перестала быть правящей партией. После смерти Ленина Сталин, как известно, нанес удар за ударом сначала по троцкистам, затем по зиновьевцам, бухаринцам и, наконец, завершил сражение генеральной чисткой тридцатых годов. Можно, конечно, утверждать, что сталинская

Россия — ни что иное, как производная от ленинской, что никакого различия по существу здесь нет, что большевики полностью реализовали свою программу и получили то, что заслуживали. Все это так, — однако, те, кто отправлялся в сталинские лагеря, вовсе не были согласны, будто режим, который они создали, и режим, который их уничтожает, — это одна и та же политическая система. Они не признавали эту социально-политическую преемственность. Они видели между ленинским и сталинским режимами не преемственность, а разрыв, уничтожение прежнего, триумф “термидора”, контрреволюцию. Итак, повторяю, ни одна из политических партий России не продержалась достаточно долго, чтобы полагать, будто она полностью реализовала свои планы. Даже многие большевики могли говорить себе (и действительно говорили), что не успели они закончить гражданскую войну и приступить к построению социализма, как были сметены предательской сталинской контрреволюцией.

Эта нереализованность планов, этот политический пессимизм, вызванный реальным поражением партий, оборачивался в идеологической сфере полной победой, оптимистическим видением истории. Все эти поверженные партии, вернее — их представители, в силу, повторяю, того, что они не находились у власти вовсе или же находились сравнительно короткое время, видели Россию, а часто и весь мир, перестроенный на основе их рецептов, земным раем. Элемент “незавершенности”, пронизывающий всю новую и новейшую историю России, породил у оппозиционной интеллигенции то же оптимистическое, вернее — трагико-оптимистическое видение будущего, которое не в силах поколебать никакие превратности судьбы.

Иная судьба была у китайской интеллигенции. Специфика ее заключалась в том, что ей во многом удалось реализовать свою политическую программу, получить то, к чему она стремилась.

Центральным в настроениях китайской интеллигенции издавна было чувство национального унижения — чувство, практически неведомое дореволюционной интеллигенции России. А потому центральной идеей китайской интеллигенции была идея национального возрождения, и все социальные идеи привязывались к последней.

Как известно, Китай — одна из древнейших цивилизаций мира. В течение тысячелетий Китай был одним из сильнейших и, во всяком случае, культурнейших государств региона. Численное

и культурное превосходство китайцев над окружающими племенами и народами приводило к тому, что Китай, даже завоеванный и расчлененный (что неоднократно случалось в его древней и средневековой истории), очень быстро из побежденного превращался в победителя. По прошествии нескольких поколений завоеватели либо изгонялись вовсе, либо же, что чаще всего и бывало, совершенно окитаивались — как этнически, так и культурно. Разрозненные, расчлененные завоевателями части Китая быстро срастались, так что империя выходила из испытаний еще более мощной и процветающей, чем прежде.

Это этнически-культурное, а часто и политическое превосходство Китая над окружающими народами и племенами, способность переварить, окитаить любого пришельца, воспитало в сознании китайского интеллектуала чувство национальной гордости, даже некоторого презрения ко всем некитайцам.

В середине девятнадцатого века в истории Китая происходит, однако, перелом: у его берегов появляется английская эскадра и начинается так называемая "опиумная война" (в этой войне англичане требовали от китайского правительства разрешение на свободную продажу опиума в стране). Китай был разбит и подчинился. Затем натиск европейцев и соседей-японцев усилился, и к концу девятнадцатого века Китай превратился в полуколонию. В начале двадцатого века, после свержения Маньчжурской династии, он практически распался на несколько полунезависимых, а то и просто независимых княжеств, управляемых различными генералами. Генералы эти не переставали враждовать друг с другом и с так называемым центральным правительством. Затем в эту войну включились коммунисты, а с начала тридцатых годов — и японцы. "Война всех против всех" продолжалась практически без перерыва до 1949 года, то есть до полной победы коммунистов. Страна была унижена до крайности, и китайский интеллигент, привыкший традиционно рассматривать себя гражданином великой державы, вдруг оказался жителем страны, не имеющей никакого политического веса. Национальное унижение тесно переплеталось в его сознании с социальными бедствиями. Для китайской интеллигенции стало естественным полагать, что нищета, голод и произвол суть непосредственные следствия господства иностранных держав и раздробленности Китая. В силу этого идея национального возрождения оказалась в двадцатом веке одной из центральных идей интеллектуальной жизни

Китай. Она стала неотъемлемым элементом политических программ главных партий Китая — коммунистов и гоминдановцев.

Гоминдану, появившемуся на политической арене в начале двадцатого века, удалось к концу двадцатых годов по крайней мере формально объединить страну. Хотя многие генералы оставались практически независимыми, они — во всяком случае, на словах, признавали за главой Гоминдана Чан Кай Ши роль национального лидера. Вдохновленный успехами, Гоминдан мечтал о превращении Китая в мощную державу наподобие тех, которые существовали в тогдашней Европе тридцатых годов. Теоретики Гоминдана утверждали, что Китай должен стать тоталитарным государством и завоевать себе место под солнцем. Рука об руку с решением национальных проблем должны быть решены и проблемы социальные. Дело не ограничивалось только благими пожеланиями: в начале тридцатых годов с благословения Гоминдана в Китае возникает движение “голуборубашечников”, прямо скопированное с итальянского и немецкого фашизма. Один из лидеров “голуборубашечников” откровенно заявлял, что Китаю необходимы свои Муссолини, Гитлеры и Сталины, чтобы вывести нацию из тупика унижения³.

Национализм пронизывал не только идеологию Гоминдана, но и программу китайских коммунистов. Китайский коммунизм и возник, во многом, как национальное движение, видевшее в социальных преобразованиях путь к национальному возрождению, к созданию мощного Китая. Один из отцов китайского марксизма Ли Та Чао⁴ прямо указывал в своих работах, что обратился к марксизму как к идеологии, способной вывести Китай на дорогу национального возрождения. Вдохновленный примером Октябрьской революции, Ли Та Чао писал, что Россия, подняв знамя марксизма, совершила революцию, превратившую ее в лидирующую державу мира. И лидирующей она стала не в силу своего экономического развития, а в силу своего духовного преобразования: погрязшему в индивидуализме Западу она противопоставила новые культурные и этнические ценности и благодаря этому стала мировым лидером, учителем европейских народов, несмотря на свою экономическую отсталость и военную слабость. Благотворность марксизма, с точки зрения Ли Та Чао, заключалась в том, что он позволил облечь традиционные коллективистские идеи русского народа в форму, делающую возможным ус-

воение этих идей западной цивилизации. Кроме того, марксизм, утверждал Ли Та Чао, является незаменимым идеологическим орудием еще и потому, что он вдохновил активное, деятельное меньшинство на захват власти. Китай должен взять на вооружение опыт русской революции и превратиться в социалистическую страну. Активное, деятельное меньшинство должно сплавить марксизм с традиционными коллективистско-семейными ценностями Китая и превратить его в конкурента или соратника России в деле духовного перерождения европейской цивилизации, превращения ее из индивидуалистской в коллективистскую.

Отношения между китайскими и советскими коммунистами во многом определялись националистическими мотивами. Первоначально советское правительство, сделав широкий жест, передало китайцам всю собственность бывшей Российской империи, находившуюся на китайской территории, в том числе и знаменитую КВЖД⁵, что благотворно отразилось на отношении китайской общественности, в том числе и китайских коммунистов к СССР. Но уже в 1924 году советское правительство потребовало возвращения КВЖД, что проложило первую трещину в советско-китайских отношениях.

Национализм во многом определял политику китайских коммунистов и в тридцатые годы, когда компартия стала для значительной части народа символом национального возрождения. В 1927 году союз Гоминдана с компартией, к которому последнюю побуждала Москва, распался, и гражданская война возобновилась с новой силой. Коммунистические войска в поисках более удобного и безопасного места двинулись на север, поближе к советско-китайской границе. Это был знаменитый в китайской революционной истории "Великий поход". В 1931 году в события в Китае оказались вовлечены и японцы, традиционно рассматриваемые народами Юго-Восточной Азии как смертельные враги. Японцы быстро захватили изрядную часть северного Китая, образовав там марионеточное государство Манжоу Го, а затем стали продвигаться на юг, грозя поработить весь Китай. Угроза полного порабощения вызвала новый подъем национального чувства, и ни одна из китайских партий не могла игнорировать его, планируя свою политическую игру. Китайская компартия сделала правильный вывод из сложившейся ситуации и выступила с инициативой создания единого фронта со всеми партиями, готовыми сражаться с иноземными захватчиками. Призыв этот был брошен

1 августа 1935⁶ года и действительно привел к прекращению гражданской войны на три года. И хотя в 1938 году единый фронт распался и гражданская война возобновилась, компартия приобрела важный политический капитал: ее авторитет, как одной из главных сил национального возрождения, резко вырос. Необходимо добавить, что политика коммунистов в занятых ими областях первоначально отличалась известным либерализмом, что признавалось и западными журналистами, посетившими эти районы.

Поражение японцев во второй мировой войне не привело к окончанию военных действий на территории Китая. Гражданская война между коммунистами и гоминдановцами продолжалась до 1949 года. Придя к власти, коммунисты тоже не сразу завинтили все гайки, и послевоенный Китай пережил две оттепели — 1953 и 1956 годов⁷. Но не только сравнительный либерализм режима привлек к нему значительную часть китайской интеллигенции. Главным для нее было то, что коммунисты решили задачу, над которой почти столетия безуспешно бился Гоминдан — задачу национального строительства. Впервые с начала двадцатого века Китай был объединен и превратился в мощное государство, с которым считаются на международной арене, а не третируют как полуколонию.

Таким образом, цель, к которой стремились китайские интеллектуалы различных партий в течение поколений, была достигнута. И эта победа обернулась для них трагедией. Для китайской интеллигенции государственное могущество было не целью в себе, но средством достичь процветания нации, что обещали и коммунисты, и гоминдановцы. Маоцзэдуновские “Великий Скачок” и “Культурная Революция” были поэтому для китайских интеллигентов ударом обуха по голове, ибо оказалось, что объединение страны не только не предотвратило эти катастрофы, но прямо во многом способствовало им. Действительно, не будь в руках Мао централизованной бюрократической машины власти над всей страной, он не смог бы заниматься своими экономическими экспериментами в масштабах всего Китая и “Великий Скачок” ограничился бы разорением только северных провинций — вотчины коммунистов. Культурная Революция тоже не могла бы достичь такого размаха, если бы страна оставалась разъединенной на враждующие генеральские сатрапии.

Некогда Ключевский, характеризуя развитие русской госу-

дарственности, писал, что в России "государство пухло, а народ хирел", то есть имперское могущество было прямо пропорционально несчастью подданных. Милюков, завершая свое исследование о Петре Великом, резюмирует, что Россия стала великой державой ценой социально-экономического разорения. Эта связь между имперской мощью и угнетением отдельного гражданина, столь очевидная для многих русских интеллигентов, начиная с Пушкина (вспомним хотя бы его характеристику "государственника" Петра в "Медном Всаднике"), была откровением для многих китайских интеллигентов, традиционно отождествлявших величие их униженной историей государственности с процветанием народа. Отчуждение судьбы государства от судьбы нации означало для них ломку основ их мировоззрения, смещение системы всех социально-философских координат, абсолютную безысходность.

Есть здесь еще и другой очень важный момент, усугубляющий это трагическое видение мира китайской интеллигенцией. Национальная идея нашла свое воплощение не только в социалистическом континентальном Китае, но и на буржуазном Тайване. И опять-таки эта достаточно полная ее реализация не способствовала росту оптимизма среди китайских интеллектуалов, ибо лишила их альтернативы. Действительно, разочаровавшись в едином социалистическом Китае, они могли бы выдвинуть иную альтернативу — единый националистический Китай. И тут опять же можно было бы приукрасить этот будущий националистический Китай, увидеть в нем осуществление мечты о социальной справедливости. Но этими мечтами можно было бы тешиться только в том случае, если бы националистический Китай не существовал, если бы он был только проектом, мечтой. Однако режим в Тайване был не мечтой, а реальностью. И реальность эта тоже была очень далека от идеала.

И, наконец, последнее. Китайский интеллигент, как, например, та же Чен Ио-хси, мог побывать не только на Тайване, но и в Америке, на Западе. И здесь он, в отличие от русского интеллигента, не бывавшего на Западе вовсе или посещавшего его в качестве "привилегированного" туриста, мог — на собственной коже, а не теоретически — убедиться в том, что Запад тоже "не сахар".

Итак, специфика современной китайской истории заключается в том, что главная мечта китайской интеллигенции оказалась осуществленной: единый и мощный Китай был создан, и вдобавок она могла на личном опыте испробовать все альтернативы со-

циализму — националистический Тайвань и демократический Запад. Это кардинально отличало китайского интеллигента от интеллигента русского, политические программы которого оставались всего лишь теоретическими программами или же (в лучшем случае) имели судьбу бабочки-однодневки. Китайский интеллигент все эти программы и альтернативы эмпирически испробовал, и вот это опробование, это превращение практически всех мыслимых программ, всех возможных политических альтернатив в реальность завершилось для большей части китайской интеллигенции эмоциональной катастрофой. Все слова были сказаны, и все они оказались ложью, ибо, видимо, не может быть правдой сказанное, воплощенное в жизнь слово. Победа обернулась величайшим поражением, ибо политическая реализация планов совлекла с идеальной модели одеяния, сотканное надеждой и верой (так украшавшие модель и так согревавшие сердца ее поклонникам), и оставила ее во всей ее неприглядной наготе — наготе реальности. И уже не осталось нереализованных альтернатив, за которые можно было бы спрятаться. Осталось только полное отчаяние и буддистская вера в то, что зло имманентно этому миру и что никакого прогресса нет, не было и быть не может.

Я думаю все же, что это отчаяние, несмотря на всю его абсолютность, — временно. Дойдя до предела, оно взорвется и породит тертуллиановскую веру, уже незыблемую, ибо построенную не на хрупком каркасе логических силлогизмов, ежесекундно опровергаемых фактами, а на гранитном фундаменте абсурда. Ибо как иначе назвать непобедимые человеческие эмоции, вечно ищущие утешения вопреки безнадежной реальности.

1) "The Wounded. The New Stories of the Cultural Revolution 77—78". Hongkong, 1979.

2) Chen Jo-hsi "The execution of Mayor Yin and the other stories from the Great Proletarian Cultural Revolution", Indiana University Press, 1978

3) L. Eastman. "The Abortive Revolution. China under Nationalist Rule, 1927—1937". Cambridge, Harvard, 1974.

4) M. Meisner. "Li Ta-Chao and the origin of Chinese Marxism", Cambridge, Harvard, 1967.

5) A. Whiting. "Soviet Policies in China, 1917—1924", Stanford, 1968.

6) M. Selden. "The Yen-an Way in revolutionary China", Cambridge, Harvard, 1972.

7) M. Goldman. "Literary Dissent in Communist China", Cambridge, Harvard, 1967.

Цзяо Шу-Джен

С ТОВАРАМИ В СЕЛО

(Комическая опера; сокращенный перевод с английского Леонида Ицелева)

Действующие лица: Ду Цзюань, 20 лет, продавщица уездного снабженческо-сбытового кооператива; Яо Сань-юань, 53 лет, бывший частный торговец; сестрица Ван, 30 лет, член народной коммуны.

Действие происходит в наши дни.
Место действия – горный район.

(Входит Ду Цзюань с коробками, укрепленными на перекинутом через плечо шесте.)

Д у Ц з ю а н ь : Я хожу с товарами

От села к селу.

Три года назад я окончила среднюю школу.

Сейчас я продаю товары для кооператива.

Нет такой горной тропинки, которая была бы недоступной для меня.

Нет такого склона, который был бы крутым для меня.

Чтобы помочь развитию сельского хозяйства,

Я весело путешествую по горным районам.

На восточном склоне пшеница золотится на солнце.

На западном склоне густо растет рис.

Близится богатый урожай.

Он ускоряет мои шаги.

И вот я в деревне Ван.

(Она опускает на землю коробки с товаром, складывает ладони в рупор и кричит.)

Эй! Члены народной коммуны! Наш кооператив прислал вам товары. Подходите и покупайте.

(Входит сестрица Ван с дезинфекционным распылителем на спине. Она радостно улыбается при виде Ду Цзюань.)

С е с т р и ц а В а н : Вот и опять ты у нас, Ду Цзюань. Пойдем скорее ко мне, отдохнешь.

Д. Ц.: Спасибо, я не устала. Всего несколько дней назад я у вас была, сестрица. Что мне вам продать?

С. В.: Только что я купила гребень,

Крепкий, красивый и дешевый.

Моя племянница захотела такой же;

И я куплю ей что-нибудь подобное.

Д. Ц.: У нас есть несколько видов пластмассовых гребней.

Какой бы вы хотели?

Посмотрите, что вам больше подойдет;
Если эти вас не устраивают,
Я принесу другие в следующий раз.

(Ду Цзюань раскладывает перед ней гребни, и сестрица Ван берет один из них.)

С. В.: Вот этот в точности такой же.
Этот гребешок такой красненький,
Гладенький, чистый и яркий.
Я возьму его.

Вот пятьдесят юаней.

Получите.

Д. Ц.: Пятьдесят юаней.

С. В.: У вас есть сдача?

Д. Ц.: Я должна дать 33 юаня сдачи.

(Она протягивает их.) Вот 33 юаня.

С. В.: (Пересчитывая деньги.) Не ошиблась ли ты, Ду Цзюань?

Д. Ц.: Гребешок стоит 17 юаней. Это значит 33 юаня сдачи.

С. В.: О? Подожди минутку.

(Она убегает и тотчас возвращается.)

Торговец, который здесь только что был,

Просил 33 юаня за этот гребешок.

Оба они совсем одинаковые,

Почему же у них разные цены?

Посмотри. (Она показывает гребешок.)

Д. Ц.: (Сравнивает два гребешка. С удивлением.) Сестрица Ван!

Наша промышленность быстро развивается,

Поэтому цены падают.

Он продал вам гребень по старой цене –

Это же мошенничество.

С. В.: Неужели у нас еще есть торговцы, обманывающие людей?

Слава богу, что ты его разоблачила.

Продавать по старой цене, когда цена понизилась, –

Это обман.

А такое в нашем обществе случается редко.

Д. Ц.: У нас еще встречаются отдельные жулики.

Скажите мне скорее, сестрица Ван, как выглядел этот человек?

С. В.: Как он выглядел?

Ему за пятьдесят,

У него тонкие брови, глубоко посаженные глаза.

Д. Ц.: А!

У него худое лицо с двумя островками усов?

С. В.: Вот-вот.

Высокий, сутулый мужчина.

Д. Ц.: В безрукавке?

С. В.: Да!

Д. Ц.: С кушаком?

С. В.: Верно!

Д. Ц.: Когда он здесь был?

С. В.: Всего несколько минут назад.

Д. Ц.: Он спустился по северному склону или по южному?

С. В.: Он пошел прямо на север.

Д. Ц.: Я пойду, догоню его.

С. В.: Не стоит.

Зачем так волноваться

Из-за нескольких юаней.

Сейчас полдень, на солнце жарко;

Ты можешь утомиться и не найти его.

Д. Ц.: Раз он работает в одной из наших торговых организаций, сестрица, я должна его разоблачить. Вот что я вам скажу.

Возьмите эти 16 юаней, на которые он вас обсчитал.

(Она дает ей деньги.)

С. В.: Зачем это?

Ты и он – все равно, что день и ночь,

Он жулик, ты честная;

Он меня обманул,

Почему же ты должна платить за него?

Ты за него не отвечаешь, Ду Цзюань.

Д. Ц.: Сейчас на карту поставлено больше, чем несколько юаней.

Он и я идем разными дорогами,

И пути наши никогда не сойдутся.

Если этот жулик не будет разоблачен,

Он будет продолжать обманывать людей.

С. В.: То что ты сказала – верно,

Я тебя больше не держу.

Иди. (Ду Цзюань собирается уходить.)

Но ведь уже полдень.

Я дам тебе что-нибудь поесть.

Д. Ц.: Нет, спасибо. Я не голодна.

С. В.: Подожди немного. Это займет не больше минуты.

(Сестрица Ван со своим распылителем уходит.)

Д. Ц.: (Поднимая свою ношу.) Это, должно быть, Яо, бывший частный торговец. Только что в деревне Чао мне сказали, что кто-то, продавая ткани, пользовался коротким метром. Это, наверное, один и тот же человек. Я должна его догнать.

(Она убегает.)

(Входит сестрица Ван с какой-то едой.)

С. В.: Ду Цзюань! Ду Цзюань! (Она видит, что Ду Цзюань уже далеко.)
Что за девушка!

Эта девушка имеет авторитет и это неудивительно;

Она очень внимательна к нам, членам коммуны;

Она доставляет сюда товары во все времена года,

Невзирая на ветер или дождь.

Она дает дельные советы

По всем интересующим нас вопросам.

Если девушка выходит замуж,
Она знает, какой материал подойдет ей на платье;
Если у кого-то есть маленький ребенок,
Для него всегда найдутся леденцы;
В страдную пору, когда у нас не хватает машин,
Она доставляет мотыги и серпы;
Когда этот старый торговец взял с меня слишком много,
Она заплатила разницу за него.
Неудивительно, что она получила звание образцовой продавщицы.
Она благородная девушка. (С. В. направляется к дому, но внезапно
возвращается.)

Если Ду Цзюань поймает этого негодяя,
Ей потребуются доказательства против него;
Я, пожалуй, пойду тоже
С этим гребнем, как уликой.
Да, я должна торопиться. (Уходит.)
(Входит Яо Сань-юань со своим товаром, очень довольный собой.)

Я о : Мне 53 года.

Меня зовут Яо Сань-юань;

С детских лет я работаю разносчиком товаров.

Нет такой горной тропинки, которая была бы недоступной для меня;

Нет такого склона, который был бы крутым для меня;

Но это не потому, что я люблю трудности,

Просто в горах легче делать деньги.

Благодаря своей смекалке

Я знаю, какие товары более выгодны;

В них нет ничего привлекательного,

Но они стоят мало, а прибыль большая;

Вчера у меня были уцененные товары,

Я продавал их по старой цене,

И денежки посыпались ко мне...

Только что я был в деревне Ван,

А сейчас я иду в деревню Ли.

Я ударю в колотушку и крикну:

(Он трясет трещеткой и кричит.) Кому иглы? Кому нитки? Пудра, пласт-
массовые гребни, дешевые сигареты! Подходите, подходите и покупайте!

Ду Цзюань (в сторону): Эй! Вы не видели разносчика товаров?

(Голос: Да, он только что здесь был.)

Я о : (с тревогой) Почему здесь Ду Цзюань? Что ей от меня надо? Она
из кооператива, я коммиссионный агент; она не имеет права вмешиваться
в мои дела. Может быть, она узнала, что я торговал по старой цене? Дело
плохо. Даже, если она этого не знает, таскаясь за мной, она все напортит.
(Он слышит, как Ду Цзюань зовет его.) Ну, ничего. Я улизну от нее.

Когда я слышу голос Ду Цзюань,

Моя душа уходит в пятки;

Из 36 военных хитростей главное – бегство;

Надо удрать до того, как она сюда придет.

Ду Цзюань (в сторону): Постой!

Я о : Черт возьми! Она преследует меня.

Почему она хочет меня догнать?

Это подозрительно.

Ну, ничего. Я хорошо умею бегать.

Ты меня не догонишь.

Сейчас я перейду через этот подвесной мост.

(Он переходит мост.)

Тебе не удастся догнать меня.

Здесь я перейду ручей по камням.

(Поскользнувшись, он падает в воду и вынужден идти вброд.)

Из-за нее я промочил ноги.

(Яо уходит. Входит Ду Цзюань. Увидев Яо, она смело вступает на мост.)

Д. Ц. : Подвесной мост не заставит меня повернуть обратно,

Высокие горы не остановят полета смелой птицы,

Смелых и упорных не запугать быстрым потоком.

(Она удачно переходит мост, не теряя равновесия. Уходит.)

(Входит Яо. Он взбирается на гору.)

Я о : Еще один крутой склон.

(Входит Ду Цзюань. Она идет следом за ним.)

Д. Ц. : Эта дорога крута, как путь на небо, но мне она не страшна.

Эй! Подожди.

(При виде Ду Цзюань Яо бросает в дрожь.)

Я о : Надо сделать так, чтобы она свалилась.

(Он прячется за деревьями. Она не видит его.)

Д. Ц. : Лес очень густой. Надо как следует посмотреть.

(Уходит.)

Я о (выглядывает из-за дерева и, убедившись, что ее нет, выходит, с облегчением вздыхает) : Чуть не попался!

Ду Цзюань пробежала мимо;

Моя хитрость удалась.

Надо отдышаться и выкурить сигарету.

Наконец-то я от нее избавился.

(Достает кошелек и кладет туда деньги.)

Яо Сань-юаню всегда не везет,

Мои планы нарушены.

Благодаря последнему снижению цен

Можно было сделать отличный бизнес;

Я чуть не задрожал,

Когда столкнулся с этой девушкой;

Я не мог избавиться от нее,

Не мог обогнать ее.

Если бы я ее не перехитрил,

она бы меня догнала.

Что ж гроза миновала,

Но стоило мне это дорого.

С е с т р и ц а В а н (в сторону) : Ду Цзюань!

Д. Ц. (в сторону) : Я здесь!

Я о (прячется): Кому это тут понадобилось ее звать? (Он оглядывается.) А что, если она вернется? Надо уносить ноги. (Поднимая свою ношу, он не замечает, как теряет кошелек. Яо поспешно уходит.)

(Входит сестрица Ван.)

С е с р и ц а В а н : Ду Цзюань хочет догнать торговца, а я стараюсь догнать ее.

(Она находит кошелек и поднимает его.)

Кто оставил этот кошелек на дороге?

(Она открывает его.) Здесь деньги внутри. (Она видит фотографию.) И фотография. А! Да ведь это тот самый торговец, который только что продал мне гребень. Отлично. (Она снова кричит.) Ду Цзюань!

(Уходит.) (Входит Яо.)

Я о : Я иду не по прямой дороге, а по боковым тропинкам.

(Спотыкается и падает.)

Я то и дело падаю,

Свои товары я растерял по земле.

У меня болит спина,

Болят ноги...

(Входит Д. Ц.)

Д. Ц.: Яо!

Я о : (Стараясь сохранять спокойствие.) А, это ты, Ду Цзюань!

Д. Ц.: Да, Яо.

Почему ты не остановился, когда я тебя звала?

Я о : Ты же знаешь мой недостаток —

Я плохо слышу.

Д. Ц.: В самом деле?

Я о : Да.

Д. Ц. (в сторону) : Он хочет провести меня.

Я о (в сторону) : Надо попробовать провести ее.

Д. Ц.: Почему твои товары разбросаны по земле?

(Она хочет поднять их.)

Я о : Я решил их выставить на солнце.

(Д. Ц. улыбается и оставляет товары на земле.)

Д. Ц.: Выставить на солнце?

Я о : Вот-вот, выставить на солнце.

Д. Ц. (в сторону) : Он хочет меня перехитрить.

Я о (в сторону) : Я должен ее перехитрить.

(Обращаясь к Д. Ц.) Зачем ты меня звала?

Д. Ц.: Видишь ли, дело в том, что

Я тебе хочу кое-что сказать.

Я о : Что же?

Д. Ц.: У меня кончились некоторые товары, и я надеялась, что ты одолжишь мне что-нибудь из своих.

Я о (радостно) : Да?

(в сторону) Так это все, что она хотела?

Значит, я напрасно беспокоился.

(Повеселев. Обращаясь к Д. Ц.)

Вчера я был в городе
И основательно запасся товарами;
Ты только скажи, что тебе надо,
Ведь это мой долг – помочь тебе.

Д. Ц.: Можно мне одолжить несколько пластмассовых гребешков и немного пудры?

Конечно, если у тебя есть лишние.

Я о : О, пожалуйста, пожалуйста.

Я дам тебе десять коробочек пудры – 130 юаней

И десять гребешков – 170 юаней.

Д. Ц.: Десять гребешков за 170 юаней?

Я о : По 17 юаней за штуку.

Д. Ц.: Как ты хорошо помнишь новые цены.

Я о : Когда вышестоящие организации объявляют снижение цен,

Наш долг – хорошенько это усвоить;

Малейшая наша ошибка или обман

Могут пагубно отразиться на материальном уровне народа,

А этого нельзя допустить.

Д. Ц. (в сторону) : Какой же он лицемер!

Красивыми словами он пытается прикрыть свое гнилое нутро.

Послушай, Яо!

Я слышала, что кто-то продает товары по старым ценам,

Обманывая покупателей.

Я о (пытаясь скрыть испуг) :

Неужели он не слышал о снижении цен?

У нас постоянно происходят собрания, политучеба.

Каждый стремится перевоспитаться.

Мы должны идти в ногу со временем.

В нашей жизни не должно быть места жуликам и мошенникам.

Д. Ц.: Если человек не смог до конца перевоспитаться,

Значит, он по-прежнему будет ослеплен жадностью.

Я о : Неужели это возможно в наше время!

Д. Ц.: Я могу доказать это.

Я о : Кто же он?

Д. Ц.: Кто бы он ни был – это человек с остальным сознанием.

Я о : Знаешь что? Не огорчайся. Я тебе обещаю...

Д. Ц.: Что ты мне обещаешь?

Я о : Я обещаю... найти этого типа.

(Входит сестрица Ван.)

С. В.: Значит, тебе все-таки удалось его догнать, Ду Цзюань?

(Как мяч, из которого выпустили воздух, Яо медленно садится, обхватив голову руками.)

Д. Ц.: Ты пришла как раз вовремя, сестрица Ван. Тут один товарищ хочет у тебя узнать, кто тебя только что обсчитал.

С. В.: Что? Он еще пытается свалить на кого-то вину?

(Она достает гребень.) Говори правду. Твой гребень?

Я о : Мой.

С. В.: Сколько он должен стоить?

Я о : 17 юаней.

С. В.: Сколько ты за него взял?

(Яо в молчании качает головой.)

Д. Ц.: Почему ты качаешь головой? Ты можешь отвечать?

Я о : Да, я подло поступил с членами коммуны, сестрица. Я верну вам те 16 юаней, на которые вас обсчитал. Нет, нет, я верну деньги всем людям, которых я обсчитал. (Он пытается достать кошелек, но с ужасом обнаруживает, что его потерял.) Куда делся мой кошелек? Куда делись мои деньги?

С. В. (улыбаясь): Не ищи его. Он здесь. (Она протягивает ему кошелек.) Можешь проверить и пересчитать деньги.

Я о : Ага, все точно до юаня. Сестрица...

(Не зная, как отблагодарить ее, он протягивает ей 50 юаней.)

Возьмите эти 50 юаней, купите детям конфетки.

С. В.: Убери это. За кого ты меня принимаешь?

Д. Ц. (улыбаясь): Сестрица Ван не такая, как ты. Деньги ее не ослепляют.

Я о : Верно, верно. Сестрица Ван, разрешите мне вернуть вам только те 16 юаней, на которые я вас обсчитал.

С. В.: Ду Цзюань уже вернула мне эти 16 юаней за тебя.

Я о : О? (Он дает Ду Цзюань деньги.) Ду Цзюань, я... я... (Пытается подобрать верное слово.) Я должен учиться у тебя.

С. В.: Никогда не поздно.

Я о : Да-да. Вы правильно сказали.

Д. Ц.: Торопись. Собери свои вещи. (Она помогает ему.)

Или их все еще нужно держать на солнце?

Я о : Нет, больше не нужно.

Д. Ц.: Я бы тебе советовала не сушить на солнце вещи, а как следует промыть себе мозги.

Я о : Да-да. Вы правильно сказали. А то они заплесневеют.

С. В.: Уже полдень, Ду Цзюань. Пойдем ко мне домой, я тебя накормлю.

Д. Ц.: Я не хочу, сестрица. Спасибо тебе.

С. В.: Нет, уж сейчас ты должна пойти. (Она берет у Ду Цзюань ее носу и направляется к дому.)

Д. Ц.: Сестрица Ван! (Она оборачивается к Яо.) Дядюшка Яо, а ты...

Я о : Я должен вернуться в деревню, чтобы отдать людям их деньги.

Д. Ц.: Дай, я немного помогу тебе нести.

Я о (потрясен): О нет, нет. Вы идите, а я вас потом догоню.

Мы должны учиться у Ду Цзюань, образцовой продавщицы,

Как работать с полной отдачей для членов коммуны.

От переводчика: Эту пьесу я перевел девятнадцать лет назад. Перевел с английского, поскольку китайского не знаю. Перевел, ничего от себя не добавляя, наоборот, многое сократил.

По-английски пьеса была опубликована в пекинском журнале "Chinese Literature", 1966, № 1.

Через год из лондонской коммунистической газеты "Morning Star" я узнал, что переводчица пьесы на английский Глейдис Янг во время культурной революции была арестована как агент британского империализма.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Выдающийся французский этнолог, один из создателей современного структурализма Клод Леви-Стросс в начале этого года участвовал в научном симпозиуме в Иерусалиме и дал интервью для израильского телевидения профессору истории Еврейского университета Шаулу Фридлендеру. Мы воспроизводим это интервью в переводе на русский язык.

Клод Леви-Стросс

В ПОИСКАХ СМЫСЛА МИФА

— Господин Леви-Стросс, вы оказали решающее влияние на целое поколение исследователей во Франции и на Западе вообще. Кто, в свою очередь, оказал влияние на вас?

— В молодости решающее влияние на меня оказали Руссо, Маркс и Фрейд. Воздействие Руссо было, главным образом, в области стиля, хотя я восхищен и тем, что он говорил. Что касается Маркса, то он был, по-моему, первым, кто ввел в социальные и гуманитарные науки метод моделей. Весь его “Капитал” — это грандиозная лабораторная модель, непрерывно проверяемая сопоставлением с социальной действительностью. Но главное — Маркс сделал в этих науках гигантский шаг вперед, сравнимый лишь с тем, который сформировал нашу научную мысль в шестнадцатом-семнадцатом веках. Он показал, что наш способ восприятия мира (как физического, так и социального) с помощью регистрации ощущений, верований, традиций и т. п. является обманчивым и иллюзорным. Чтобы постичь истинную реальность, нужно проникнуть за фасад этих внешних впечатлений, к более фундаментальному уровню сущностей.

Достижения Фрейда в психологии личности сравнимы с достижениями Маркса в социологии, ибо Фрейд тоже поставил под сомнение наблюдаемые дан-

ные о человеческом "Я". Он задал себе вопрос: "Что такое "Я"? — и стал искать ответ на более глубоком уровне. Мне кажется, что для всех этих попыток характерен один и тот же метод мышления, — я бы назвал его критическим отношением к первичным данным, получаемым с помощью чувств или наблюдений.

— Вы тоже исследовали "первичные данные", но, в отличие от Маркса, не в рамках западного индустриального общества, а в так называемых примитивных культурах. В течение многих лет вы изучали мифы индейцев Америки. Не можете ли вы вкратце описать свой метод?

— Я впервые применил этот подход при исследовании законов родства и брака. Мифологией я занялся значительно позднее. Однако проблемы в обоих случаях действительно аналогичны. Возьмем, к примеру, законы брака. Из традиционной этнографии известно, что все примитивные племена имеют исключительно сложные правила брака, которые на первый взгляд кажутся совершенно произвольными. Одно племя считает идеальным брак с дочерью брата матери, другое — с дочерью брата отца, третье — с дочерью сестры отца. Есть множество других, еще более запутанных комбинаций, и все они кажутся произвольными и чуть ли не абсурдными. В самом деле, почему одно племя утверждает, что нужно поступать так-то и так-то, а другое, всего в нескольких километрах, считает такое поведение извращением и предписывает совершенно противоположное.

Иными словами, мы сталкиваемся с хаотическим и непостижимым набором фактов, и это очень похоже на ситуацию в мифологии, где тоже, на первый взгляд, все состоит из бессмысленных и абсурдных сказок, которые люди на протяжении тысячелетий почему-то рассказывали друг другу. Встреча с кажущимся абсурдом и произволом — таков исходный пункт всякого научного размышления.

— И поиска порядка?

— Мы вынуждены признать, что это попросту неправдоподобно. Не могут люди тратить века и тысячелетия на изобретение бессмысленных правил поведения или передачу друг другу бессмысленных историй; в этом должен существовать какой-то порядок; за кажущейся хаотичностью должна существовать логическая структура.

— Является ли она универсальной? Обнаруживаются ли за фасадом

западной жизни те же структуры, которые характерны для примитивных племен?

— Эти структуры, по всей видимости, универсальны. Но мы лишь начинаем их постигать, да и то — в обществах, поддающихся относительно легкому изучению. Примитивные общества сравнительно невелики, их развитие (в общем такое же, как у всех других) проходило медленней, и наконец они далеки от привычных нам культур не только географически, но и по существу, в смысле своих верований и обычаев. Не случайно ведь и первой наукой, которая обрела современный вид, была астрономия. Наблюдая "издалека", легче уловить элементарные и фундаментальные закономерности.

— Вы предпочитаете говорить о формальных "структурах", а не об их "смысле". Можно сказать, что вы синтаксис предпочитаете семантике. Так ли это?

— Я отвечу тем же, чем когда-то ответил журналу "Плэйбой", поместившему статью о моих работах и критиковавшему их с тех же позиций. Я написал им тогда, что глубоко тронут их вниманием, но им "лучше, чем кому-либо, знать, что все начинается с анатомии..."

— Иными словами, все начинается со структуры?

— Конечно, мы стремимся понять, как живет общество, что представляет собой, по выражению Конта, "общественная физиология". Но можно ли достичь такого понимания, если не выяснить предварительно, как это общество построено?

— Этот ваш ответ равносителен фактическому отказу от изучения истории общества в пользу изучения его сложившихся структур. Означает ли это, что ваш метод годится преимущественно для обществ, не имеющих истории?

— Верно, примитивные общества не знают письменности, не имеют архивов. Нам доступна лишь небольшая часть их истории, поэтому приходится применять метод исследования сиюминутного, наличного состояния. Но всякий раз, как мы получаем доступ к прошлому, мы обязаны заняться им в первую очередь. Структурный метод требует максимального знания этнографического контекста: где и когда жили эти племена, каковы были их отношения с окружающей средой и т. д. Все это — история, но без этого нельзя выявить реальную структуру.

Однако отношения этнологии с историей сложились не очень хорошо. Помню, в 1952 году, на симпозиуме в Нью-Йорке, я сказал, что этнологи, в сущности, работают на "свалке истории". Мои американские коллеги обиделись, но я убежден в своей правоте. Этнологи действительно интересуются прежде всего деталями человеческого существования, тогда как историки считают эти детали несущественными, им подавай царствования и государственные союзы... Впрочем, за последние годы положение изменилось, историки поняли значение деталей, родилась так называемая историческая этнология. Сегодня этнология и антропология изучают общество в его, так сказать, пространственном срезе, тогда как история — во временном, но оба подхода прекрасно друг друга дополняют.

— Следовательно, сегодня уже можно включить историю в перечень объектов, пригодных для структурного анализа? Помнится, в вашей книге "Голый человек" в числе таких объектов названы математика, существующие языки, музыка и миф. Где здесь место истории?

— Я не являюсь специалистом-историком, поэтому позволю себе только предположение. История изучает так называемые "исторические изменения" в жизни народов и обществ. Но внимательный взгляд на эти изменения может обнаружить, что они образуют определенную структуру, что в них наблюдается определенная повторяемость, — как будто для каждого народа существует несколько изначальных моделей развития, изначальных "парадигм", которые взаимодействуют друг с другом и образуют "структуру его истории".

— А музыка является для вас тоже объектом со своей внутренней структурой? Каково соотношение этой структуры со структурой мифа?

— Я не стал бы ставить их в один ряд. Между ними существует скорее аналогия. Эта параллель сама пришла ко мне, когда я начал изучать мифы. Я обнаружил, что не могу изложить результаты своего изучения, как это принято в обычных книгах, — главу за главой. Материал не хотел организовываться таким способом. Он сам собой приобретал иную форму — больших всеохватывающих систем, каждая из которых имела свое внутреннее единство и отличалась от других таких же систем.

Тогда я задал себе вопрос: что это за системы? Чему соответствует такая форма. И внезапно я увидел (или мне показалось, что я увидел), что структуры, по законам которых мифы орга-

низуются по собственной воле, на самом деле давно известны. Это структуры, по которым строятся если не все музыкальные произведения вообще, то во всяком случае произведения европейской музыки семнадцатого-восемнадцатого веков.

Это, понятно, ставило новую проблему, — как понять такую связь между мирами американских индейцев и музыкой Баха, Моцарта и Бетховена? И тут я осознал, что зарождение этих музыкальных структур происходило в то время, когда миф в Европе уступал место литературе (роману). Способы повествования, способы организации авторского опыта в повествовании становились другими, миф уже не мог вместить этот опыт, его вытесняла литература. Но структура мифа, его способы организации материала сохранились — они лишь перешли в музыку. Музыка сохранила целостное отражение мира, свойственное мифу, тогда как литература ушла к аналитичности описания, характерной для науки.

Сегодня роман, в свою очередь, переживает кризис. Он перестает быть подходящим средством выражения современной жизни. И вот появляется современная музыка — додекафония и прочее, — которая перенимает у старого романа его структуру, его способы организации материала.

— Многим кажется странным, что вы никогда не занимались теми мифами, которые составляют основу нашей собственной, иудео-христианской цивилизации. Если говорить, к примеру, о Библии, то один из ваших учеников, Эдмунд Лич, пытался ее исследовать с позиций структурного анализа, но вы сами — никогда. Почему?

— Я бы сказал, по двум причинам. Прежде всего, это нелегко. Несомненно, Ветхий и Новый заветы содержат много мифологического материала. Но они не представляют собой мифа в том виде, как он доходит до нас в устной традиции. Здесь мы имеем дело с мифами, обработанными многими поколениями мудрецов и переписчиков. Чтобы проникнуть к первичным слоям, нужны не только исторические, но и филологические знания, которыми я не располагаю.

— Разве это необходимо? Ведь в случае мифов американских индейцев...

— Мифы американских индейцев рассказаны нам теми же людьми, которые являются носителями этих мифов. Я не сомневаюсь, что мифы, стоящие за Библией, тоже существовали некогда в такой форме.

— Но ведь вы сами утверждаете, что структурный анализ применим не только к самим мифам, но и к их интерпретации — например, к музыке. Перед вами Библия и ее талмудическая интерпретация, почему же вы исключаете возможность анализа их структуры?

— Это было бы крайне увлекательно, но я опять должен подчеркнуть, что тут мы имеем дело с высоко литературной цивилизацией, и потому с Талмудом дело обстоит не проще, чем с Библией, — нужен его предварительный филологический анализ, а это дело целой жизни.

Есть и вторая причина, почему я никогда не соглашался с выводами Лича. Как я уже сказал, структурный анализ невозможен, если нет независимого этнографического контекста. В случае Библии нет никаких данных о жизни и культуре древних евреев, кроме тех данных, которые даются самим этим текстом, то есть библейских данных. В случае же американских индейцев у меня есть собственные этнографические наблюдения, которые я могу сопоставлять с мифами. Впрочем, в случае Талмуда такой анализ тоже был бы возможен, поскольку у нас есть контекст для талмудического периода и различных его этапов.

— Каково положение мифа сегодня? Исчез ли он из нашей культуры?

— Вы знаете мои взгляды на этот вопрос. Я считаю, что миф претендует на исчерпывающую глобальность. Он пытается дать единый и простой ответ на все проблемы, даже весьма отличающиеся друг от друга. Миф пытается объяснить происхождение и строение вселенной и общества, характер природы и времени, сворачивая все эти проблемы в одну, предлагая для всех них единое общее объяснение. С нашей же современной точки зрения вместе с развитием происходит развертывание проблем, их дивергенция, разрастание. Начиная с Декарта, мы идем путем расчленения одной проблемы на многие, более частные, и за решением каждой из них обращаемся к той или иной частной отрасли знания.

В этом смысле миф больше не может существовать или играть существенную роль в нашей культуре. Тем не менее понятно, что остатки мифа, остатки мифологических объяснений сохраняются, их можно найти во всех областях социальной и индивидуальной жизни.

— Нельзя ли подойти к вопросу с иной стороны: хотя взрыв научной мысли распространялся во все стороны, но не сохранилось ли все же —

вне его пределов – непреходящее стремление к мифотворчеству, к синтезу, к единому и простому объяснению мира, которое существует наряду с научным объяснением и влияет на все стороны нашей жизни?

– Я думаю, что такая потребность реально существует. В определенном смысле тот век, когда люди полагали возможным найти простые ответы на сложные вопросы, можно назвать “золотым” в истории человечества. Он не повторится. Но потребность в простом объяснении сохранилась во всех нас. Свидетельством тому является наличие в современном обществе множества религиозных сект – в Европе и в США, например, в Калифорнии. Это проявление потребности современного человека в едином, тотальном и “простом” объяснении мира.

– Не думаете ли вы, что тоталитарные режимы, уловив эту потребность людей в простоте и единстве, пошли по пути если не творения мифов (в строгом смысле это почти невозможно), то их воскрешения и воссоздания?

– С этим я полностью согласен.

– И еще вопрос: какова роль мифа как барьера против времени? Считаете ли вы, что обращение режима или общества к мифу почти всегда равносильно попытке остановить движение времени?

– Разумеется. Ведь первая цель мифа всегда состояла в объяснении того, как возник мир. Структура мифа воспроизводила становление вселенной и общества. Эта первичная структура воспроизводится (по крайней мере, в воображаемой форме) и в структуре того современного общества, которое пытается возвратиться к своим мифам, пытается сохраниться таким, каким оно было “создано богами” или “предками” в “начале времен”.

– Но может быть эта попытка “вернуться вспять” по-своему благодетельна? Не казалось ли вам, что исследованные вами примитивные культуры предлагают некий идеал существования, еще не искаженного вторжением индустриализации?

– Это верно. Я хотел бы заметить, например, что эти общества не рассматривают человека, как венец творения. Они, как правило, практикуют очень скромный гуманизм, отводя человеку должное место среди прочих живых существ и запрещая ему уничтожать или истреблять их.

Да, вполне возможно, что все неприятности, постигшие наше общество, были в действительности платой за приобретение нами научного метода. И все же, хотя я чувствую себя весьма неудобно

в столетии, в котором по случаю родился, и часто, вслед за Руссо, обращаю мысленный взор к иным обществам и иным временам, я не отношусь к тем, что свысока смотрит на науку или полагает, как Сартр, что можно игнорировать все ее достижения, поскольку "философия выше".

В конце концов, если что и отличает наше время от века зарождения науки, так именно то, что наука перестала быть служанкой философии. И всем процессом — не скажу: прогрессом, чтобы не вносить оценок, но — процессом развития нашего общества мы более всего обязаны именно свободной научной мысли. Это не значит, что я в восторге от этого процесса. Я глубоко пессимистически оцениваю будущее человечества. Но в то же время я, если и не оптимистичен, то предельно любопытен, ненасытно жажду ко всем достижениям научной мысли. В конечном счете, единственное удовлетворение, которое, на мой взгляд, существует в этом мире, — это удовлетворение нашего любопытства. Благодаря успехам науки мы сегодня чуть лучше понимаем то, что раньше не понимали совсем, а в будущем станем понимать еще чуть лучше. И за это я благодарен современной науке. Я благодарен ей так же за то, что по мере ее развития мы узнаем также, почему она сама имеет границы и почему мы никогда не найдем простых ответов. Ибо следуя этому развитию, мы уходим все дальше от мифологического объяснения и того идеального единства, которое было свойственно мышлению древнего человека...

ЛОНДОНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОРИ

Ален Безансон

РУССКОЕ ПРОШЛОЕ И СОВЕТСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Перевод и общая редакция А. Бабича

Вступительная статья Михаила Геллера

"Заглавие сборника сразу же отсылает читателя к одному из важнейших вопросов нашего времени: в какой связи находятся между собой "русское прошлое и советское настоящее"? Ответ на этот вопрос в значительной степени предопределяет понимание или непонимание советской системы. Подавляющее большинство западных теоретиков и практиков отвечает на вопрос однозначно: октябрьская революция — это революция русская. Ален Безансон принадлежит к числу тех, кто обнаружил универсальность советского феномена — он предупреждает об опасности и говорит о возможности, о необходимости сопротивления". (Михаил Геллер).

388 стр., 7 ф. ст.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

Сергей Шаргородский

ИГРЫ В САДУ

(об одном стихотворении Бродского)

Настоящая статья представляет собой попытку прочтения одного из недавних стихотворений Иосифа Бродского. Рассматриваемое нами стихотворение было впервые опубликовано в еженедельнике "Семь дней" (№1 от 4 ноября 1983 г., Нью-Йорк).

СИДЯ В ТЕНИ

1

Ветренный летний день.
Прижавшееся к стене
дерево и его тень.
И тень интересней мне.
Тропа, получив плетей,
убегает к пруду.
Я смотрю на детей
бегающих в саду.

2

Свирепость их резвых игр,
их безутешный плач,
смутили б грядущий мир,
если бы он был зряч.
Но порок слепоты
время приобрело
в результате лапты,
в которую нам везло.

3

Остекленелый кирпич
царапает голубой
купол как паралич
нашей мечты собой
пространство одушевить;
внешность этих громад
может вас пришибить,
мозгу поставить мат.

4

Новый пчелиный рой
эти улы займет,

производя жилой,
электрический мед.
Дети вытеснят нас
в пригородные сады
памяти — тешить глаз
зрелищем пустоты.

5

Природа научит их
тому, что сама в нужде
зазубрила, как стих:
времени и т.д.
Они снабдят цифру "100"
завитками плюща,
если не вечность, то
постоянство ища.

6

Ежедневная ложь
и жужжание мух
будут им невтерпех,
но разовьют их слух.
Зуб отличит им медь
от серебра. Листва
их научит шуметь
голосом большинства.

7

После нас — не потоп,
где довольно весла,
но наваждение толп,
множественного числа.
Пусть торжество икры
над рыбой еще не грех,
но ангелы — не комары,
и их не хватит на всех.

8

Ветреный летний день.
Запахи нечистот
затмевают сирень.
Брюзжа, я брюзжу как тот,
кому застать повезло
уходящий во тьму
мир, где делая зло
мы знали еще — кому.

9

Ветреный летний день.
Сад. Отдаленный рев
полицейских сирен
как грядущее слов.
Птицы клюют из урн
мусор взамен пшена.
Голова, как Сатурн
болью окружена.

10

Чем искреннее певец,
тем все реже, увы,
давешний бубенец
вибрирует от любви.
Пробовавшая огонь,
трогавшая топор,
сильно вспотев, ладонь
не потреплет вихор.

11

Это — не страх ножа
или новых тенет,
но того рубежа,
за каковым нас нет.
Так способен Луны
снимок насторожить:
жизнь, как меру длины
не к чему приложить.

12

Тысячелетье и век
сами идут к концу,
чтоб никто не прибеж
к бомбе или свинцу.
Дело столь многих рук
гибнет не от меча,
но от дешевых брюк,
скинутых сгоряча.

13

Будущее черно,
но от людей, а не
оттого, что оно

черным кажется мне.
Как бы беря взаиммы,
дети уже сейчас
видят не то, что мы;
безусловно, не нас.

14

Взор их неуловим.
Жилистый сорванец,
уличный херувим,
впившийся в леденец,
из рогатки в саду
целясь по воробью,
не думает — “попаду”,
но убежден — “убью”.

15

Всякая зоркость суть
знак сиротства вещей,
не получивших грудь.
Апофеоз прыщей
вооружен зрачком,
вписываясь в чей круг
видимый мир — ничком
и стойма — близорук.

16

Данный эффект — порок
только пространства, впрок
не запасшего клоч.
Так глядит в потолок
падающий в кровать;
либо — лишенный сна —
он же, чего скрывать,
забирается на.

17

Эта песнь без конца
есть результат родства,
серенада отца,
ария меньшинства,
петая сумме тел,
в просторечье — толпе,
наводнившей партер
под занавес и т.п.

18

Ветреный летний день.
Детская бегодня.
Дерево и его тень,
упавшая на меня.
Рваные хлопья туч.
Звонкий от оплеух
пруд. И отвесный луч
— как липучка для мух.

19

Впитывая свой сок,
пачкая куст, тетрадь,
множась, точно песок,
в который легко играть,
дети смотрят в ту даль,
куда, точно грош в горсти,
зеркало, что Стендаль
брал с собой, не внести.

20

Наши развив черты,
ухватки и голоса
(знак большой нищеты
природы на чудеса),
выпятив челюсть, зоб,
дети их искалят
собственной злостью — чтоб
не отступить назад.

21

Так двигаются вперед,
за горизонт, за грань.
Так, продолжая род,
предает себя ткань.

Так, подмешавши дробь
в ноль, в лейкоциты — грязь,
предает себя кровь,
свертывания страшась.

22

В этом и есть, видать,
роль материи во
времени — передать
в се во власть н и ч е г о,
чтоб заселить верто-
град голубой мечты,
разменявши Ничто
на собственные черты.

23

Так в пустыне шатру
слышится тамбурин.
Так вполыхах икру
мечут в ультрамарин,
Так марают листья
запятая, словцо.
Так говорят "лишь ты",
заглядывая в лицо.

июнь, 1983

По чисто жанровым характеристикам стихотворение "Сидя в тени" может показаться классической элегией. Однако, к этому тексту как нельзя лучше подходят слова самого Бродского: "Если всему, что я здесь написал присущ некий элегический оттенок, то это скорее из-за жанра произведения, чем из-за его содержания, которому больше бы подошла ярость"¹. Нетрудно заметить, что в основу текста положена хрестоматийная пушкинская элегия "Брожу ли я вдоль улиц шумных" (1829), которая у Бродского полемически и несколько пародийно обыгрывается; умиротворенности Пушкина ("И пусть у гробового входа / младая будет жизнь играть") здесь нет и в помине. У Пушкина:

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

У Бродского чуть подросший "младенец милый" награжден самыми нелепными определениями: это "жилистый сорванец, уличный херувим", это "апофеоз прыщей", деградировавшее существо, снабженное — в духе Ломброзо — "выпяченной челюстью и зобом". Пушкинским невинным "играм молодой жизни" противопоставлена "свирепость резвых игр". При этом, Бродский сохраняет основную тему элегии Пушкина, а именно тему индивидуальной, единичной смерти на фоне разномастной, множественной, нацеленной в будущее жизни.

Пейзаж в "Сидя в тени" строится как бы по принципу "географической текучести", примененному В. Набоковым в "Даре" и впоследствии в "Аде"

— что вполне естественно для поэта, покинувшего географические пределы русской литературы. В первой строфе “Сидя в тени” дан намеком некий обобщенный пейзаж этой литературы: ветренный день, лето (в усадьбе), сад, пруд, петляющая тропинка, на которую падает тень плетня (“тропа, получив плетей”). Третья строфа совмещает сей пейзаж с другим, урбанистическим, американским, с “гроздами” домов и криптографической разверткой н е б о с к р е б а (“остекленный кирпич царапает голубой купол”). Сложное определение необходимо Бродскому для новой отсылки к Пушкину, причем на сей раз местность получает точный адрес: Ад. Ибо пейзаж, по сути дела, перенесен из пушкинского подражания Данту — “И дале мы пошли” (1832):

О стекленелый кирпич
царапает голубой
купол...

До свода адского касалась вершиной
Гора стеклянная, как Арарат остра...

Изображенный Пушкиным пейзаж ада предопределяет некоторые детали, например, появление пчелиного роя, заселяющего улы-дома, в четвертой строфе стихотворения Бродского. В этом случае “свирепость резвых игр” можно трактовать и как “проклятую игру бесов:

Тогда я демонов увидел черный рой
Подобный издали ватаге муравьиной, —
И бесы тешились проклятою игрой...

“Муравьиная ватага” становится пчелиным роем, но традиционный мифопоэтический образ пчел, творящих живой мед поэзии, у Бродского искажен — пчелы производят ж и л о й, э л е к т р и ч е с к и й м е д.

Все упомянутые в тексте Бродского летающие существа множественны, как бы олицетворяют роевое, коллективное начало. Ряд их, по нисходящей, выстраивается следующим образом: ангелы — птицы — пчелы — мухи — комары. Образ каждого из крылатых претерпевает ироническое снижение; ангел, первый компонент ряда, приравнен к последнему, комару; пчелы “производят жилой, электрический” мед, птицы “клюют мусор взамен пшена”, а отдельно взятый “уличный херувим” (то есть падший ангел) убивает отдельно взятую птицу — воробья. Одновременно, “электрический” мед есть дальнейший шаг по линии американизации текста — ср. с “электрическим телом”, восплаемым У. Уитменом и, вслед за ним, Р. Брэдбери².

В следующей “пейзажной” строфе, восьмой, начатой едва ли не романсом (“Сирень цветет...”), место Пушкина занимает Тютчев, о котором напоминает беглая характеристика “брюзгливый” и реминисценции знаменитого “Цицерона” (1831). Тютчевская “роковая минута” представляется Бродскому разломом мира, разломом в точке приложения зла: в прежнем, “уходящем во тьму”, гибнущем мире зло было индивидуально направлено, в новом становится всеобщей нормой:

Брюзжа, я брюзжу как тот,
кому застать повезло
уходящий во тьму
мир, где делая зло,
мы знали еще — кому

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель...

Наконец, в последней "пейзажной" строфе, девятой (если не учитывать повторной 18-й) происходит, перефразируя выражение Введенского, "прощание одного со всеми", прощание закономерное, ибо на карте классического пейзажа русской поэзии появляется непосредственный предшественник Бродского — Мандельштам. Потому в этой строфе сладкозвучное пение сирен становится "ревом полицейских сирен" и рев этот обозначен как "грядущее слов": это картина гибели слов, причем ре в противопоставлен мандельштамовскому призыву "слово, в м у з ы к у вернись". Идея гармонического, проникнутого музыкальным ладом мира канула в вечность.

"Гармония сфер" изъята и из космоса. В девятой строфе появляются знаменательные строки: "Голова, как Сатурн / болью окружена". Кольцо Сатурна превращено в кольцо боли; присутствует и скрытая цитата из Мандельштама (об этом ниже). В тексте названа еще одна планета — Луна, где "не к чему приложить жизнь". Мироздание лишено жизни, в нем существует одно только страдание или пустота³.

При том, текст перенасыщен научной или даже научно-фантастической лексикой: "роль материи во времени", "данный эффект — порок пространства", "снимок Луны", "мечта одушевить собой пространство". Напоминает чуть ли не Циолковского или польского фантаста Ежи Жулавского, автора романа "На серебряной планете", где фигурирует супружеская пара, добравшаяся до Луны. Размножившееся новое поколение — чуждое, дикарское: сравним с явными признаками одичания у изображенных Бродским детей (зоркость, развитый слух, выпяченные челюсти, жилистость, хищная мечта об убийстве). Желание попробовать все на зубок — "зуб отличит им медь / от серебра".

Но ни серебро, ни медь на зуб не пробуют — так пробуют лишь з о л о т о. Эта фигура умолчания восстанавливает греческую мифосхему чередования времен — золотой век, серебряный век, медный век. В период золотого века властвует Сатурн—Кронос, смерть подкрадывается к людям незаметно и безболезненно. Окруженный кольцом боли Сатурн—Кронос у Бродского — символ б о л ь н о г о в р е м е н и. В полном соответствии с мифом, дети восстанут на отца (в иконографии изображенный глубоким стариком Кронос именуется "Отец Время"). Вспомним также, что при периодизации русской поэзии расхожими обозначениями являются "золотой век", "серебряный век"⁴.

Многие мотивы стихотворения "Сидя в тени" восходят к Мандельштаму⁵, в частности, к такой центральной для позднего Мандельштама идее, как идея наследственности, преемственности (ср. в "Четвертой прозе": "Дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать..."). Особое внимание уделяет Бродский тексту Мандельштама "Не мучнистой бабкою белой":

Апофеоз прыщей
во оружен зрачком...

И з е н и т н ы х т ы с я ч и о р у д и й —
Карих то з р а ч к о в и л ь голубых —
Шли нестройно — люди, люди, люди —
Кто же будет продолжать за них?

В одиннадцатой строфе "Сидя в тени" вновь заметна переключка с приведенным стихотворением Мандельштама. Так, "жизнь как мера длины" у Бродского явно соотносится с мандельштамовским "позвоночное, обугленное тело / осознавшее свою длину"⁶. Смежная тематика — тематика конца человека и его времени, скончания времен, крушения эры — сближает "Сидя в тени" и с мандельштамовским "Нашедшим подкову". Текстуальные параллели обнаруживаются во множестве.

Мандельштам:

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.

Бродский:

Тысячелетье и век
сами идут к концу
чтоб никто не прибег
к бомбе или свинцу

У Мандельштама "Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой / дети играют в бабки позвонками умерших животных"; у Бродского отмечена "свирепость резвых игр" детей и в той же строфе — л а п т а (здесь вновь принцип "текучести": игра в лапту чрезвычайно напоминает распространенную в Америке игру в бейсбол). Сходно трансформируется и мандельштамовская метафора "срезанной временем" монеты. Мандельштам опускает в перечне металлов серебро, оставляя медь, бронзу и золото; у Бродского остается лишь серебро и медь ("зуб отличит им медь / от серебра"). Сравним у Мандельштама:

Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки
С одинаковой почестью лежат на земле.
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы.
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.

В девятой строфе, где похоронен мандельштамовский призыв "слово в музыку вернись", Бродский вводит следующую деталь: "Птицы клюют из урна / мусор взамен пшена". По первой ассоциации, мы вновь возвращаемся к "Нашедшему подкову": "То, что я сейчас говорю, говорю не я / а вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы".

Однако урна может служить вместилищем не только мусора, но и человеческого пепла, права — вмещать ч е л о в е ч е с к и й м у с о р. В тексте Бродского появляется мотив возможной массовой гибели — размножение, поспешное и предсмертное, приравнивается к "подмешиванию дрови в ноль", то есть к делению на ноль, математическому абсурду, к "предательству крови и ткани". Наконец, говорится и о "подмешивании грязи в лейкоциты"; грязные лейкоциты — признак лейкемии (которая может начаться и в результате лучевого удара — намек на так называемую "чистую", или нейтронную, бомбу)⁷.

В той же девятой строфе, непосредственно после появления птиц-стервятников, следует "сатурнианская" метафора: "Голова, как Сатурн / болью окружена". Как говорилось выше, здесь скрыта цитата из Мандельштама (стихотворение "Венецесской жизни мрачной и бесплодной"): "Тяжелее платины сатурново кольцо"; в том же стихотворении Мандельштама "На театре... умирает человек". Сходный мотив обнаруживается у Бродского в 17 строфе:

Эта песнь без конца
есть результат родства,
серенада отца,
ария меньшинства,

петая сумме тел,
в просторечье — толпе,
наводнившей партер
под занавес и т.п.

Небрежное "и тому подобное" восстанавливает опущенную тему — тему т е а т р а у Мандельштама, в частности, раннее стихотворение "Летают валькирии, поют смычки":

Уж занавес наглухо упасть готов,
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров,
Карету такого-то! Разъезд. Конец.

В вышеприведенном отрывке прослеживается связь с описанием театра в первой главе "Евгения Онегина"; но существенней другое — в театре Мандельштама ставится "громоздкая" опера Вагнера, "Валькирия".

Думается, что для понимания данного текста важно уяснить, с каких позиций он написан. В 22–23 строфах встречаются явные библеизмы типа "вертоград", "шатер" и "тамбурин", выпадающие из общего лексического строя. Существенна 19-я строфа:

Впитывая свой сок,
пачкая куст, тетрадь,
множась, точно песок,
в который легко играть,
дети смотрят в ту даль,
куда, точно грош в горсти,
зеркало, что Стендаль
брал с собой, не внести.

"Та даль", в сочетании со стендалевской формулой р о м а н а ("зеркало на проезжей дороге"), дает искомую сумму — "даль свободного романа": пушкинский подтекст, прямая речь Творца, в романе которого "дети" предстают частью Замысла. Слова о "множащемся песке" уже были однажды сказаны, были они обращены к Аврааму и произнесены Ангелом, что отвел руку отца, занесенную над сыном. Жертвоприношение Авраама, обобщенно — Отец, жертвующий ребенком. Награда за готовность к жертвоприношению такова:

"Я благословляя благословлю тебя, и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих"⁸.

Быт, 22:17

В ранней поэме Бродского "Исаак и Авраам" этот же мотив звучит несколько иначе:

Пойдем туда, где ждут твои стада
травой иной, чем там, что здесь; где снится
твоим шатрам тот день, число когда
твоих детей с числом песка сравнится

Отсюда происходит "шатер", появляющийся в последней строфе "Сидя в тени". Овен, принесенный в жертву вместо Исаака, запутался рогами в чаще кустарника: сравнением стихов и детей объясняется строчка "пачкая к у с т, тетрадь". Итак, упоминание формулы Стендаля далеко не случайно, как мотивирована и тютчевская реминисценция — ситуация жертвоприношения Авраама становится, в подтексте стихотворения, "высоким зрелищем", только тютчевский "собеседник" и "зритель" превращается в равноправного участника, едва ли не инициатора "зрелища":

Мир, где делая зло,
мы знали еще — кому

Видимый сквозь магический библейский кристалл, текст обретает новые грани. Становится понятен, к примеру, мотив заселения “вертограда” (этот архаизм имеет два значения — “плодовый сад” и “виноградник”): библейская метафора “человеческого виноградника”, насаженного Богом⁹ (ср. в книге Исаи, 5:1—7). Приведем строфу целиком:

В этом и есть, видеть,
роль материи во
времени — передать
в с е во власть н и ч е г о,

чтоб заселить верто-
град голубой мечты,
разменявши Ничто
на собственные черты.

Несомненно, разбивка слова “вертоград” — значаща; создается словосочетание “град голубой мечты”, уже само по себе достаточно опошленное, да вдобавок окруженное пародийно-марксистской терминологией: “роль материи во времени” и, наконец, “передать все во власть ничего”. Это вывернутый наизнанку “Интернационал”, где “Кто был никем, тот станет всем”.

Вспоминается еще одна формула: “Жизнь — форма существования белковых тел”, которой Бродский в “Колыбельной трескового мыса” противопоставляет свою: “Жизнь — форма времени. Карп и лещ / сгустки его, и товар похлеще / сгустки”. Но самое время искажено, страдающий Сатурн-Кронос напоминает о б о л ь н о м в р е м е н и. Упоминание формулы Стендаля означает, что Творение (роман) было изначально оформлено неким замыслом Творца, который постепенно размывается, распадается, обнажая изнанку — нитки, пыль и труху. Единичное противостоит множественному: всякий новый распад, всякое новое дробление и деление размывает черты Творца, вплоть до полного их растворения.

Но что же это за “вертоград”, сад, посреди которого произрастает одинокое древо? Развернута вся библейская хронология: Рай и древо познания, “остекленелый кирпич” Вавилонской башни, потоп, жертвоприношение Авраама. Странная путаница с местоимениями (авторский голос как бы постоянно колеблется между “я” и “мы”) получает свое естественное обоснование:

Я смотрю на детей
бегающих в саду...

Прозрачен становится и смысл 20-й строфы:

Н а ш и р а з в и в ч е р т ы,
ухватки и голоса
(знак большой нищеты
природы на чудеса),

выпятив челюсть, зоб,
д е т и и х и с к а з я т
собственной злостью — чтоб
не отступить назад

Вновь история творения: “И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему” (Быт, 1:26). Но как искажен детьми облик Творца! Вплоть до состояния обезьяны, которую труд должен превратить в человека... Дети умножились, словно песок, “в который легко играть” — и “игра” вступает в мире в новую фазу, которая характеризуется краткой формулой: “Ангелы не комары”. Посланик-ангел смог однажды остановить занесенный нож, но “ангелов не хватит на всех”, в будущем нож падет. Творец

начасто исключен из мироздания и может отныне лишь устало констатировать: "Ангелы не комары". Творец заводит — по себе — похоронную песнь:

Эта песнь без конца
есть результат родства,
серенада отца,
ария меньшинства,

петая сумме тел,
в просторечье — толпе,
наводнившей партер
под занавес и т.п.

Вспомним, что строфа эта соотнесена с мандельштамовским театром ("на театре... умирает человек"), театром, где ставится вагнеровская "Валькирия". У Бродского подразумевается другая опера "Кольца" — "Гибель Богов". Разъезд. Конец.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. И. Бродский. "Меньше чем единица", перев. А. Лосева, журн. "Эхо" №1 (9), Париж, 1980, стр. 22

2. Ср. в рассказе Р. Брэдли "О теле электрическом я пою": "В ее электронной памяти, в ячейках-сотах хранится все, что известно людям об истории, религии и искусстве, и о социально-политическом прошлом человечества..." — Вот здорово! — воскликнул Тимоти. — Раз соты, значит, это улей, а в нем, конечно, пчелы. Да еще мыслящие!" — цит. по кн. Р. Б р э д л и, Рассказы, М. 1975, стр. 87—88.

3. Отметим, что обе названные планеты — Сатурн и Луна — имеют четкие астрологические коннотации: это источники меланхолического темперамента и самого чувства меланхолии.

4. У О. Охапкина ленинградская поэзия эпохи пятидесятых—семидесятых годов названа "бронзовым веком". См. его стих. "Бронзовый век" в кн. "Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны", т. 4-Б, ОРП, Нью-тонвилл 1983, стр. 97—99.

5. Некоторые аспекты темы "Бродский и Мандельштам" прослежены в статье З. Бар-Селлы "Все цветы родства" (журн. "Двадцать два", №37, 1984, стр. 192—208). Пользуюсь случаем, чтобы выразить глубокую признательность З. Бар-Селле и М. Каганской, внимательно прочитавшим первоначальный вариант статьи и высказавшим ряд ценных замечаний.

6. Ср. анализ мотива "позвоночника" в статье Бар-Селлы. К сожалению, анализируя эту тему в контексте "афганско-мусульманского" стихотворения Бродского, Бар-Селла упускает из виду такие строки Мандельштама, как: "Здравствуй, здравствуй / могучий / не к р е щ е н ы й / позвонок / с которым нам прожить не век, не два".

7. Ср. у Бродского в "Полонез:вариация" — "Но запишем судьбу очко / в нашем будущем, как бы брегет ни медлил / уже взорвалась та бомба, что / оставляет нетронутой только мебель".

8. Любопытно, что то же "умножая умножу" находим в том же контексте в Быт., 3:16; это дословный перевод древнееврейского "арбе арбе": "Жене сказал: множая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей".

9. Скорее всего, именно эту библейскую метафору подразумевают строки: "Жить становится так же трудно / как строить домик из виноград / или — карточные ансамбли" в разбиравшихся Бар-Селлой "Стихах о зимней кампании 1980 года". Ср.: "У Возлюбленного Моего был виноградник на вершине утучненной горы. И Он обнес его оградой, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды" (Ис., 5:1—2).

ЛЮДИ И КНИГИ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД ПО ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ

(Гершом Шолем. "Основные течения в еврейской мистике". "Библиотека Алия", Иерусалим, 1985)

Перевод книги Шолема на русский язык является большим культурным событием. Издатели, переводчик и редакторы, взявшись за эту книгу, проявили интеллектуальное мужество, достойное всяческого уважения. Хотя книга Шолема уже переведена на многие языки, именно перевод ее на русский (на протяжении многих лет искусственно лишенный соответствующей лексики) представлял особую трудность. С трудностью этой переводчик и редакторы справились вполне.

Гершом Шолем умер три года назад в Иерусалиме, оставив после себя около сорока книг, свыше семисот научных статей, множество споров и не так уж много противников. Почти все его работы посвящены одной теме. Будучи человеком легендарной образованности, Шолем тем не менее сознательно ограничил свою научную деятельность проблемами еврейской мистики. При том отношении к мистике, которое сложилось в иудаизме, это решение, принятое Шолемом в самом начале его творческого пути, может служить примером научной смелости. Учение о таинственном (на иврите "Торат а-сод", что не вполне точно переводится как "еврейская мистика") существует в иудаизме испокон веков, но все это время тщательно скрывается или маскируется рациональными соображениями. Отношение к мистике в ортодоксальном иудаизме подобно отношению добропорядочной семьи к одному из сыновей, бросающему тень на семейную репутацию. Эту тенденцию можно проследить от Талмуда, из которого были изъяты многие "компрометирующие" строки, до Маймонида и других философов-рационалистов средневековья. Позднее предметом нескончаемой полемики стала кабала, а в эпоху просветительства – сабатеянство и хасидизм. В новейшее время примером активного отрицания еврейской мистики может служить вся школа немецко-еврейских апологетиков во главе с Г. Грецем и др. Даже такие хранители еврейского наследия как Бялик и Бердичевский считали своим долгом "подправить" те элементы мистической традиции, которые, по их мнению, не делали чести еврейскому народу.

В то же время, несмотря на эту многовековую полемику, к 20-м годам нашего века, то есть к началу научной деятельности Шолема, еврейская мистика была известна как ее защитникам, так и противникам скорее понаслышке. Шолем первым отнесся к ней как к существующему факту, который подлежит серьезному изучению. В процессе кропотливого исследования и сопоставления произведений, их филологического анализа, сравнения с другими религиозными источниками и т. п., он заложил основы новой науки. Прекрасным примером методов может служить глава пятая рецензируемой книги, где устанавливается авторство основного кабалистического текста "Зохар".

"Основные течения..." были написаны Шолемом в 1941 году, на основе лекций, прочитанных за два года до того в Институте еврейской религии

в Нью-Йорке. К этому моменту Шолом конечно не знал, что его ожидают еще сорок лет непрерывного изучения предмета. Возможно поэтому в книге ощущается некая законченность, особая четкость выводов, некий итог. Сорок четыре года, прошедшие с ее появления, несомненно расширили круг информации, но не отменили предположений и выводов, сделанных в этом, почти "юношеском" труде. По сей день "Основные течения..." являются настольной книгой любого исследователя кабалы и еврейской мистики.

Главы книги посвящены отдельным этапам развития еврейской мистики, начиная с литературы Меркавы (первые годы н. э.) и кончая хасидизмом (18–19 века). Таким образом, книга охватывает полторы тысячи лет еврейской истории и все этапы ее мистической мысли. Невольно возникает вопрос, все ли эти этапы равноценны. Видимо все же влияние литературы Меркавы или экстатической кабалистики Абулафии несравнимо с воздействием книги Зохар, лурианской кабалы, сабатеянства или хасидизма, которые проникли буквально во все аспекты еврейской жизни. Тем не менее Шолом как бы уравнивает рассматриваемые им явления, располагая их в одном ряду. Остается предположить, что им руководили феноменологические соображения, с точки зрения которых каждое из этих явлений было единственным в своем роде.

Как ни странно, самые бурные споры среди исследователей вызывает слово, стоящее в названии книги Шолома – мистика. Что такое еврейская мистика? Совокупность терминов, которыми описывается это понятие в его словарном определении (эзотеризм, экстатика, магия и т. п.) неприменима в целом ни к одному из описываемых Шоломом явлений. В кабале были элементы символики и магии, но не было эзотеризма, в средневековом хасидизме был эзотеризм, но не было других элементов. Ученики Шолома утверждают, что он имел в виду более общее понятие "Торат а-сод", объединяющее все учения, целью которых является познание таинственных аспектов Божества, а термин "мистика" использовал за неимением лучшего эквивалента.

Другой спорный вопрос, затрагиваемый в книге, касается роли гнозиса в иудаизме. В течение многих веков основные гностические произведения считались утраченными, и о них судили по сочинениям их противников. Мизерность информации позволяла приписывать многие непонятные элементы и мотивы в мистике разных религий, включая еврейскую, влиянию гностиков. Такая ситуация сохранялась до 1945 года, когда в верхнеегипетской пещере Наг-Хаммади была случайно обнаружена обширная гностическая библиотека. Последующее ее изучение пролило новый свет на феномен гностической философии и ее влияния на другие учения. Сегодня можно с уверенностью говорить, что влияние гнозиса на еврейскую мистику было значительно меньше, чем считалось во времена написания книги Шолома, и что корни "псевдогностических" элементов этой мистики следует искать в самом иудаизме.

Но даже с этими оговорками книга Шолома не устарела. Она и сегодня остается фундаментальным трудом в области еврейской мистики, сохраняющим свежесть и современность благодаря дару перспективного видения, которым был наделен ее автор.

Ю. Шварцман

ЖДИТЕ ШАФИРА...

Уважаемый господин редактор!

Никогда не пытался пробиться сквозь сомкнутые ряды Ваших постоянных авторов, но после вечера в "Бейт-Ариэла", на котором мне довелось присутствовать (но не выступить, несмотря на мои настойчивые обращения к ведущей), считаю, что имею право сделать некоторые замечания по вопросу, предложенному редакцией для обсуждения.

Прежде всего, как и полагается лицу еврейской национальности, я не согласен. Не согласен уже с самой постановкой вопроса: нужен ли советским евреям Израиль? Как еврей, хочу ответить вопросом на вопрос: нужно ли тонущему стараться выбраться из воды несмотря на то, что берег, может, и топкий, и вообще не совсем такой, как хотелось бы? А ведь именно в этом состоянии тонущего находится сегодня советское еврейство. И как бы ни возражали против такой постановки вопроса некоторые поэтически одаренные оптимисты, факт остается фактом: советское еврейство идет к гибели...

Дело не в том даже, что в СССР идут массовые аресты активистов алии. Такое уже бывало и само по себе не означало, что еврейство идет к гибели. Гибли самые активные защитники национального существования, но народ оставался (иное дело — в каком состоянии...). И не в том дело, что в СССР ведется яростная, совершенно бешеная агитация против еврейского народа. И это бывало. Но вот размах, с которым ведется эта агитация сейчас, ее последовательность и настойчивость, стремление дойти до каждого, начиная с раннего детства, вот это действительно не имеет прецедентов в истории. Никогда еще столь мощный заряд ненависти не нагнетался ежедневно, ежечасно с помощью радио, телевидения, кино, театра, книг, газет, всех средств массовой информации. Никогда еще (за исключением гитлеровской Германии) для этого не использовались средства воспитания и обучения. Многомиллионная армия "писателей", учителей, лекторов, пропагандистов, агитаторов и многих других находит путь к сердцу народа. Никто не забыт, все охвачены... И не нужно обладать слишком большим воображением, чтобы представить, что в один, далеко не прекрасный момент этот заряд взорвется, сметая и круша все, что связано с объектом этой всеобщей ненависти — евреями.

Что же касается самих советских евреев, то столь же нетрудно представить (особенно тем, кто еще помнит 1948—1953 годы), каково это — с содроганием разворачивать утреннюю газету, смотреть кино (а теперь телевидение) и зябко поеживаться, глядя на экран, каково слышать разговоры на коммунальной кухне, на улице, в трамвае, в автобусе, в метро, каково стоять в очереди под далеко не музыкальный аккомпанемент, в котором постоянно звучит одно: евреи, евреи... А каково видеть еврейских детей, возвращающихся из школы или со двора со слезами или с неммым вопросом и укором в глазах? Те, кто начинает все это забывать, пусть постараются вспомнить, что испытывают еврейские парни в армии (даже

если они не доехали до Афганистана), где их окружает глухая враждебная стена, из-за которой то и дело раздается: "Зря вас Гитлер не добил..." Стоит такой ребенок, стоит такой парень перед лицом обнаженной вражды, стоит один, стоит голый среди волков... Приятная картина? Забыли? Вспомните? А каково растить детей, зная, что постепенно перед ними закрывается одна дверь за другой, что сфера приложения их сил все больше сужается? Но даже если молодой человек "с пятым пунктом" закончит какой-нибудь захудалый ВУЗ, — каково ему найти работу? Помните ли вы, куда посылают "молодых специалистов" из евреев? Круг сужается... Далеко ли можно идти по дороге, ведущей в никуда? Видели ли вы молодых людей, доведенных до отчаяния? Знаете ли, на что они могут решиться?

Стоят друг против друга две неравноценные по силам группы: возбужденный неслыханной антисемитской пропагандой и откровенными анти-еврейскими действиями властей народ — и растерянные, запутавшиеся, запуганные, а порой доведенные до крайней степени подавленности и даже отчаяния евреи. Стоят и ждут... Долго ли они еще так будут стоять? Уж наверняка не вечно... Народ знает, что делать. У него есть опыт, исторический опыт. Слово "погром" не из-за границы привезли. Оно свое, исконное. Остается только подождать, пока будет произнесено одно лишь слово: можно! Больше ничего не нужно. Пока решает не народ. Решают власти. Но они начали эту кампанию не случайно. Они ведают, что творят. Понимают, что сказавши "а", придется сказать и "б". И они скажут...

Так что же делать евреям? Ждать? Кто-нибудь возьмется со спокойной совестью посоветовать им такое? Известны случаи, когда люди, послушавшись подобных советов, остались на месте. Долго им ждать не пришлось: они погибли. Об этом мне известно не только из книг — такова была судьба некоторых из моих родственников.

Так что если поставить вопрос несколько иначе и просто спросить, хотят ли советские евреи выехать из СССР, то имеем ли мы право мудрствовать лукаво, зная в глубине души, что вопрос этот давно решен и решен даже не ими, не евреями, а их врагами? Об этом думаю все, даже самые толстокожие, об этом говорят, от этого не уйти. Это висит в воздухе. Недаром же по Москве ходил анекдот, что завидев двух беседующих евреев, третий подошел к ним и сказал, — я не знаю, о чем вы говорите, но я считаю, что ехать надо... И поведут. Если двери казармы, где они сейчас живут, откроются вновь, мы еще станем свидетелями того, что двинутся в путь не только те, кто уже подал документы и находится в положении отказников, но и многие другие, которые раньше не выказывали никаких признаков желания тронуться с места. Что же касается того, в какую сторону двинутся многие из этой новой волны, то думается, что совершенно напрасно некоторые "специалисты" у нас уже твердо решили за них. Вполне возможно, что часть отправится за моря-океаны, но будем надеяться, что только часть, а какая — мы не знаем и не можем знать.

Следует напомнить, что большинство из них будет представлять собой несколько иной человеческий материал, чем тот, который прибыл на Запад раньше, в "наше" время. Это будут не только и не столько люди, сохранившие связь с еврейством или определившие свой путь как сионистский. Новый поток, как можно себе представить, в значительной степени

будет состоять из людей, считающих себя неотделимой частью России, ее судьбы, ее культуры и т. п. Им оторвать себя от России гораздо трудней, но и удар, который им будет нанесен, окажется столь сокрушителен, что им придется решиться на что-то кардинальное, и потому не исключено, что, увидев, что им не дают существовать в рамках того народа, к которому они готовы были всей душой прилепиться, они обратят свои взоры к своему народу и своему государству, как к единственному средству сохранить чувство собственного достоинства и какое-то уважение к себе, а не оказаться снова среди чужих, которые, в лучшем случае, готовы по ка их терпеть.

Есть и еще одно обстоятельство, о котором многие потенциальные репатрианты уже знают. Речь о том, что мы здесь, в нашей стране, как-то больше связаны друг с другом, чем в "великой" Америке и некоторых других местах. Мы даже частично создали для себя некий микроклимат, причем он не имеет ничего общего с одесской Молдаванкой времен Бени Крика, повторением которой стал Брайтон бич. Хорошо это или плохо, но фактом остается, что здесь у нас существует русский микроклимат и некоторым он помогает встать в новый мир.

Поэтому картина не столь уж безрадостна, какой ее представляет похоронная команда бывших идеалистов, бывших сионистов, а ныне трудящихся народов Востока, не желающих "иметь ничего общего с этой компанией" (как выразился один из выступавших). Я абсолютно уверен, что придет час, и мы еще увидим здесь многих из "этой компании", пока живущих в стране под названием "СССР". Я думаю, что эти мои надежды более обоснованы, чем пророчества доморожденных "специалистов", многие из которых действительно никогда не были связаны с "этой компанией", то есть с еврейским народом.

Между прочим, возможно, многие заметили, что порой люди, попавшие в Израиль "случайно", по прошествии определенного времени не только неплохо приспосабливаются к стране, но становятся большими ее патриотами, чем некоторые скороспелые "ура-сионисты". История, к которой мы все время вынуждены обращаться, дает этой мысли фактическое подтверждение. Я хотел бы привести один любопытный документ времен гражданской войны:

"Прослужив в русской армии три с половиной года и в Добровольческой армии восемь месяцев по 22 августа 1919 года, когда я был уволен в отставку только за то, что я еврей, я понял, что Россия для евреев мачеха, и мне, лишнему, выброшенному за борт, остается причалить к другому берегу в надежде, что в другом месте отношение будет по достоинству и не по национальному признаку, а потому прошу распоряжения о выдаче мне документа в том, что со стороны Добровольческой армии не встречается препятствий для моего выезда за границу и что я, прослуживший в рядах Добровольческой армии с 25 декабря 1918 года по 22 августа сего 1919 года — противник большевизма. Представив такой документ английской миссии в Константинополе, я получу от миссии пропуск на выезд в Палестину, где я думаю найти применение своим физическим и духовным силам.

Приложение: нотариально засвидетельствованная копия краткой записи

о службе прапорщика 2-го офицерского генерала Дроздова стрелкового полка Абрама-Хаима Рувимовича Шафира, выданная 27 августа 1919 г. за № 861.

Прапорщик в отставке (подпись) “.

(Из “Архивов Элиаса Чериковера”, документ № 6434.)

А вот и отрывок из послужного списка прапорщика Шафира:

“Прибыл и зачислен в строй рядовым офицером в 3 роту 2 стрелкового полка ————— 1918, дек. 25.

Уволен, как не подлежащий призыву ————— 1919, янв. 6.

Поступил добровольно ————— 1919, янв. 7.

Харьковским уездным начальником уволен как офицер-еврей ————— 1919, авг. 22.

Под судом и следствием не состоял.

Участвовал в боях и походах против большевиков — от 25 дек. 1918 по 18 мая 1919 г.

Ком. полка (подпись).

Полковой адъютант, капитан (подпись) “.

(Там же, документ № 6000—60001).

Вот такой документ. Можно ли себе представить человека, более далеко от идей сионизма (особенно в том виде, как он понимался в те дни в пределах Эрец-Исраэль)? Прапорщик Шафир, как он сам писал в письме к Главнокомандующему Добровольческой армией генералу А. Деникину, был патриотом России (и не просто России, а России великой и неделимой), он сражался за нее в дни первой мировой войны и хотел бороться дальше, а его... выбросили (как и многих других офицеров-евреев). И тогда он заявляет, что хочет порвать со страной, которой он не нужен. И куда он обращает свой взор? В сторону Америки? Европы? Нет! Он хочет ехать в Палестину...

Случайно ли это? Вряд ли.

Мне неизвестна дальнейшая судьба А.-Х. Шафира. Но я уверен, что ход событий выбросит из России множество Шафиров и выбросит их именно на наш берег.

Что же касается хватай-хапайкиных, то меня не так уж беспокоит, в какую сторону их вынесет ветер. Жаль, конечно, если вместе с ними этот ветер занесет не туда и часть слабых и растерявшихся честных людей. Но я никогда не соглашусь признать, что эти две группы составляют большинство нашего народа. Я верю, что большинство — это те, кто сохранил чувство собственного достоинства, и что это чувство приведет их сюда. Но сейчас важно даже не это. Не важно, как о вы люди, оставшиеся в России, куда важнее, что они евреи и что в этом качестве они находятся на краю пропасти. И поэтому надо сделать все возможное, чтобы их спасти, то есть помочь им выбраться оттуда. Вопрос же, куда они поедут, сейчас не должен играть для нас особой роли. По соображениям, о которых я говорил выше, я думаю, что многие из них поедут сюда, потому что Израиль им нужен, потому что в Израиле у них больше шансов остаться самими собой.

Что же до того, нужны ли они — и мы — Израилю, то это вопрос празд-

ный. Мы уже доказали, что нужны, а если мы кому-нибудь не нравимся, то пусть пишут жалобу. Мы у себя дома. У нас на эту страну не меньше прав, чем у Иоси Сариды и Чарли Битона. А для того, чтобы наш голос был слышен, нужно только одно — чтобы нас здесь было как можно больше. И это будет. Глупо надеяться, что среди евреев вообще и среди “русских евреев” в частности наступит полное единство мнений. Но вот став большинством (или самой большой “общиной”), мы действительно обретем голос и обнаружим к нам живейший интерес. Ведь и “марокканцы”, чье влияние растет, так как они сейчас самая большая община, отнюдь не говорят одним голосом — их депутаты в Кнессете представляют и Ликуд, и Маарах, и многие другие силы. Но их слышат. Услышат и нас, когда в путь двинется прапорщик Шафир. А он двинется. И тогда вопрос, нужны ли мы Израилю, приобретет, в основном, историческое значение. Так что — ждите Шафира...

* * *

В заключение несколько слов личного порядка. Чтобы не сложилось впечатление, будто я пытаюсь представить тех, кого сюда занес случайный ветер, скажу только, что отказ на выезд я получил еще в 1957 году и что свои “старомодные” сионистские убеждения менять не собираюсь и сегодня. Мне только претит, когда кое-кто пытается установить монополию на сионизм и пытается смотреть на свой народ (от которого никуда не убежать, нравится это или нет) сверху, со своей кочки. Что же касается того, кто кого представляет, то я думаю, что ответ может быть только один: никто никого не представляет, ибо никто никого не выбирал и не просил представлять. Все мы — бесконечно малая часть той “компании”, с которой нельзя просто так расплеваться, не поставив себя в неловкое положение.

Л. Гуральник

“ТОЧКА ЗРЕНИЯ БЕЗ ОПОРЫ”

(к интервью с Э. Финкельштейном — “Мост, который рухнул...”)

В виде вступления к моей заметке я предлагаю читателям попытаться отгадать, откуда взяты приведенные мною ниже цитаты. Причем ответ предлагаю дать по американской системе: поставить крестик (в уме) перед одним из трех предложенных возможных источников: одна из советских газет (СССР), русско-язычный сионистский журнал (Израиль) и финансируемый палестинцами журнал (Европа). Итак, начинаем экзамен: “Идея эмиграции (из СССР) как способа решения своих проблем для этой массы (советских евреев) сошла с повестки дня”. “В 1973—1974 гг. в Советский Союз пошел массовый поток писем, в которых выражалось разочарование, неудовлетворенность. Тогда же началась значительная (подчеркнуто мною. —

В. П.) эмиграция советских евреев — уже из Израиля. Ну кто же станет переселяться в дом, жильцы которого разбегаются?” “Если говорить об Израиле, как о направлении эмиграции, то этот вопрос, на сегодняшний день, решен массой советских евреев отрицательно. Сложилось глубокое и стойкое предубеждение против эмиграции в Израиль”. “Советские евреи не нашли себя в Израиле”. “Для многих уехавших она (эмиграция) обернулась трагедией. Такое отношение распространяется, в первую очередь, на Израиль”. “Сегодня рядовой советский еврей понимает, что здесь (в Израиле) ему придется быть таким же эмигрантом, как и в любой другой стране”. “Оказавшись в эмиграции, многие поняли, как это тяжело, и по их письмам оставшиеся рассудили, что игра не стоит свеч”. “Израильский истеблишмент с легкостью расправился с активистами алии, которые “ушли в небывшие”.

Думаю, что приведенных выше цитат достаточно. Позволю себе теперь привести правильный ответ: цитаты взяты из опубликованного в 38-м номере журнала “22” интервью с Э. Финкельштейном, приехавшим в Израиль год назад после четырнадцати лет отказа.

Впервые я ознакомился с текстом интервью на квартире Э. Ф. в центре абсорбции. В конце дискуссии по поводу интервью я спросил: “Не смущает ли тебя, что этот материал может быть перепечатан в Москве и использован как пропагандистский материал против алии и эмиграции евреев из СССР?” Ответ был кратким: “Меня это не волнует!” Я был поражен этим (как мне показалось — искренним) равнодушием.

Это интервью, несомненно, поможет тем, кого нервирует ведущаяся организациями многих стран многолетняя кампания за предоставление советскими властями евреям СССР права свободно эмигрировать. Автор интервью берет на себя ничем не обоснованную смелость и ответственность заявить, что он знает “действительные настроения основной массы советского еврейства” (стр. 150), что он знает лучше, чем сами советские евреи, что “они хотя бы только русскими евреями, но ни в коем случае не израильянами, ни американцами” (стр. 151).

Трудно поверить Э. Ф., что в 1984 году советские евреи столь невежественны в политическом отношении, что еще лелеют надежду на “демократизацию советского общества”, на равноправие евреев (?!), восстановление еврейской культуры и прочее (стр. 150). Даже на Западе давно уже вывелись наивные советологи, разделявшие подобные иллюзии. А уж приписывать такие “мечты” советским евреям просто неуместно. Подобные рассуждения толкают на абсолютно бесплодный путь поиска решения проблемы советского еврейства. Да и откуда мог Э. Ф. узнать об истинных настроениях советских евреев? Разве его утверждения основаны на достоверном социологическом исследовании (опросе), которое в СССР немислимо?

Э. Ф. категорически отрицает за другими право попытки сформулировать мнение советских евреев, проживающих в СССР, но, не смущаясь, оставляет это право за собой и высказывается категорично: “Идея эмиграции... сошла с повестки дня”. Э. Ф. назидательно возвещает, что, сами того не сознавая, ни по отдельности, ни в коллективе, евреи СССР хотят оставаться русскими евреями (?).

Оказывается, что и ехали все мы (и не мы) в Израиль только потому, что “надеялись найти здесь тот русско-еврейский центр, в котором бы чувствовали себя, как в СССР”. А так как пресловутого русско-еврейского центра в Израиле, естественно, не оказалось (как, впрочем, нет и “польско-еврейского”, “румынско-еврейского” и прочих “гойско-еврейских центров”), то в этом Э. Ф. видит “главную причину провала нашего движения”. Как, оказывается, просто выявилась главная причина прекращения алии! Столь же несложным оказалось для Э. Ф. обнаружить и виновных: “Те наши активисты и лидеры, которые репатрировались в Израиль и не сумели создать здесь такой центр. В этом я их и обвиняю” (стр. 152).

На следующей странице Э. Ф. поясняет, что он имеет в виду под “русско-еврейским центром”: “Сегодня единственный привлекательный центр создало для себя одесское еврейство... Одесские евреи создали на Брайтон бич вторую Одессу, и сегодня одесский еврей едет туда, как к себе домой!” Брайтон бич — вот образец, к которому, по Э. Ф., мы должны стремиться в стране алии. Мы должны были, оказывается, создать мини-Вильнюс, мини-Киев, мини-Москву, мини-Тбилиси, мини-Кишинев и т. п. Другими словами, построить внутри Израиля мини-Россию, где есть в избытке продукты и свобода и нет КГБ и МВД. “Полная электрификация минус советская власть”! Недурная схема! И в этом сионист Э. Ф. (как он себя называет) видит истинный путь интеграции репатриантов на новой Родине? Кстати, уже известен печальный конец одной из попыток строить “чисто русский Израиль”, предпринятой Э. Диамантом десять лет назад: многолетние усилия государственного поддержания (в виде заказов министерства обороны) русско-еврейского научного поселения рухнули, а сам инициатор поселения начал (с десятилетним опозданием) интегрироваться в нормальном израильском научном учреждении. Подобная же судьба постигла “русский” научный центр в Цфате.

Э. Ф. искажает и саму историю развития еврейской эмиграции 60-х–70-х годов, утверждая, что “двери никогда не были открыты”, а были лишь приоткрыты давлением большого числа заявлений о выезде. Он забыл (или не знает), что поток заявлений о выезде начал расти лишь после того, как с в е р х у, в силу необъяснимых причин, в конце 60-х годов (до ленинградских процессов), властями были сняты ограничения, закрывавшие возможность подачи заявлений лицами, не имеющими в Израиле детей или родителей. И только п о с л е принятия властями такого решения поток заявлений о выезде стал расти. Таким образом порядок развития событий был обратным изображенному Э. Ф.

Я убежден, что сегодня в ОВиРах лежит (с резолюцией “отказать”) гораздо больше заявлений о выезде, чем в 1970 году, когда “на верхах” было принято решение начать массовый, но контролируемый выпуск. Но теперь советские власти выдают только 1000 разрешений в год, то есть вернулись к уровню 60-х годов, до “великого исхода”.

Интервью Э. Ф. кончается категорически уныло. Мост СССР–Израиль, олицетворяющий алию советских евреев “рухнул”, поскольку “рухнула” его недостроенная опора в Израиле. Таким образом ни наличие 150 тысяч уже интегрировавшихся в Израиле репатриантов из СССР, ни готовность и способность страны абсорбировать новых олим не мешают Э. Ф. утвер-

ждать, что для алии из СССР в Израиле нет базы и опоры. Э. Ф. обладает умением не видеть положительное и выпячивать отрицательное. При этом количественные соотношения им не принимаются в расчет. Явление относительно незначительного процента реэмиграции среди евреев из России он выдает за массовое движение: "Эти проценты еще ничего не означают", — утверждает он, рисуя картину массового бегства из страны: "Многие (!) его (советского еврея) знакомые, близкие, родственники уже реэмигрировали из Израиля, а другие (остальные — ?) хотят уехать и ему об этом пишут".

В итоге, интервью оставляет горький осадок. Горький — не от самих фактов, а от их искаженного толкования. Из самого духа интервью чувствуется, что автор — человек сломленный, разочарованный, потерявший веру в то, что нынешний кризис алии из СССР будет преодолен и движение снова наберет силу.

Виктор Польский

* * *

Редактору журнала "22".

1. Разрешите отметить, что я должным образом оценил последовательность журнала "22" по отношению ко мне и моим книжкам, которая началась с рецензии одного из членов редколлегии журнала на мою первую книгу "Ленинград—Иерусалим с долгой пересадкой" и закончилась (а может быть, и нет) письмом другого члена редколлегии по поводу моей второй книги "Время молчать и время говорить".

2. Действительно, редактор моей второй книги Ф. Розинер почти никакого отношения к ней не имеет (если не считать отрицательного). Гонорар редактора не в счет. Я приношу глубокие извинения Ф. Розинеру, что не позволил ему "улучшить" книжку и она так и осталась скучной и серой. Если когда-нибудь напишу третью, позабочусь, чтобы ее редактором был менее великий писатель, но зато друг книги, которую он берется редактировать.

Гилель Бутман, Иерусалим, 25.1.1985

От редакции: рецензия на первую книгу господина Бутмана была написана не членом редколлегии, а журналистом Л. Гримм. Письмо по поводу второй книги господина Бутмана было написано не членом редколлегии, а писателем Ф. Розинером. Но мы обещаем господину Бутману, что о его третьей книге действительно напишет кто-нибудь из членов редколлегии, раз он так добивается этой чести.

Объявляется подписка на журнал "Двадцать два" на 1985 год

Стоимость годичной подписки: в Израиле – до выхода следующего номера – 19500 шекелей, после этого – в соответствии с новым уровнем цен; за рубежом – 40 долларов (авиапочтой в Европу – 50, в США – 56 долларов), для организаций – 50 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей журнала:

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 71 Mile Drive, Pacific Grove, Ca. 93950, USA
A. Zeide, 455 West 43 th St., Apt. 38, New-York, N. Y. 10036

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettingenstr am Englischen Jarten, 8 Muenchen 22, BDR
L. Gerstein, 12 Muehlbauerstr, 8 Muenchen 80

Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW 4

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Мы призываем всех, заинтересованных в сохранении нашего журнала, помочь нам пожертвованиями, которые будут приняты с глубокой и искренней благодарностью независимо от их размера.

В январе-феврале журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: Л. Веретник (Иерусалим) – 1825 шек., А. Годес (Яхуд) – 1825 шек., Н. Залкинд (Кфар-Саба) – 6825 шек., Х. Иоспин (Таль-Эль) – 3000 шек., А. Любовник (Бней-Брак) – 825 шек., Д. Певзнер (Безр-Шева) – 800 шек., Д. Проектор (Бен-Дор) – 6825 шек., В. Шапиро (Кирият-Ям) – 2825 шек., А. Шифман (Хайфа) – 6825 шек., Х. Шацкий (Тель-Авив) – 6000 шек., М. Тверской (Цфат) – 1825 шек., И. Финкельштейн (Ашдод) – 11825 шек., Ш. Хен (Неве-Шарет) – 825 шек., С. Гурмарник (США) – 25 долл. Редакция выражает искреннюю благодарность этим друзьям журнала.

КО ВСЕМ АВТОРАМ

Редакция не возвращает отвергнутые рукописи и не вступает в переписку по их поводу.

Фонд Розы Этингер

התנועה לזכויות האישה



ДИПЛОМ

За редакционно-издательскую
деятельность
премией Р. Этингер
1984 года
награждается

ЖУРНАЛ "22"

Иерусалим
5745 הולד

Председатель
правления Фонда

А. Фробениус